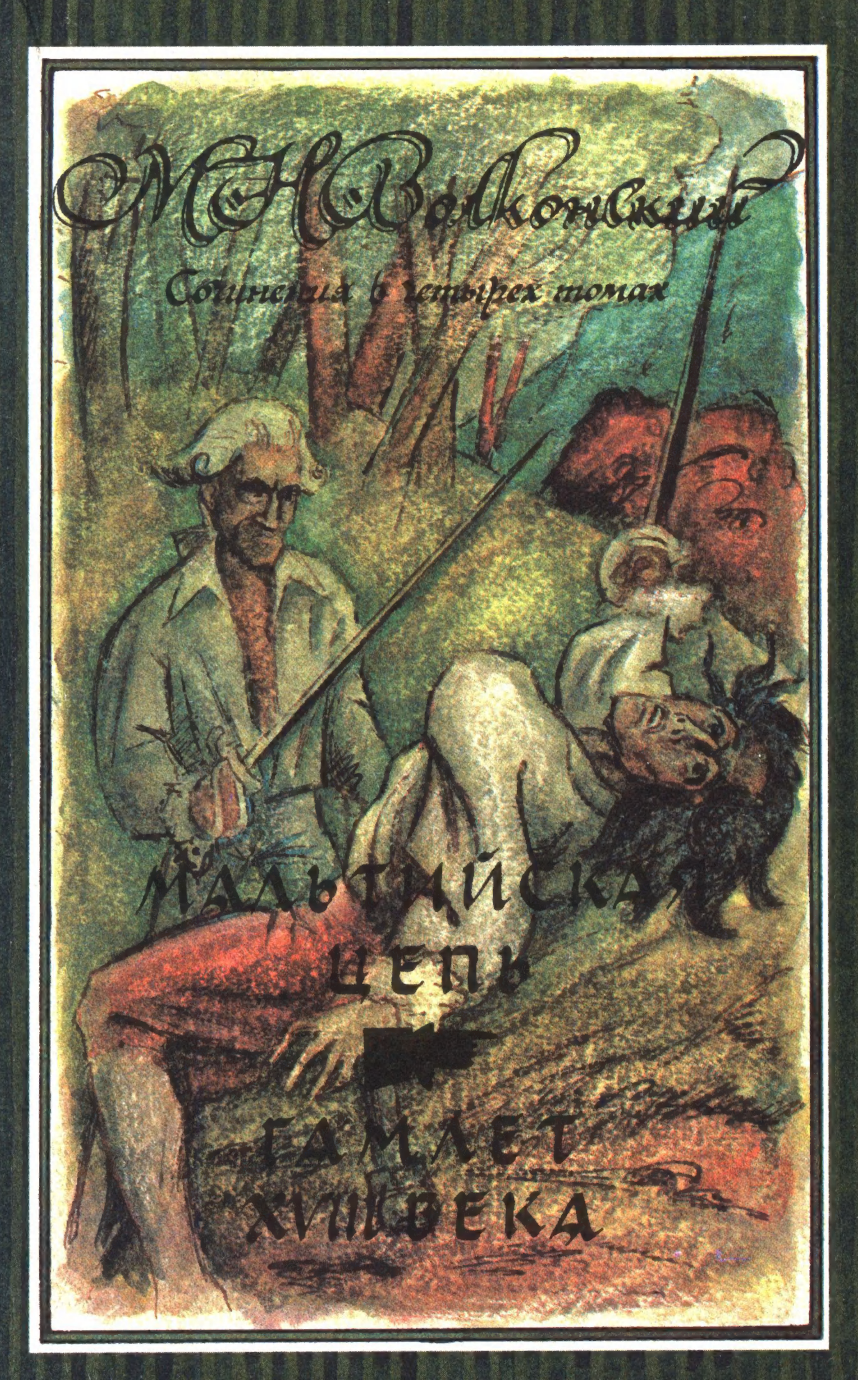

М.Н. Волконский
Сочинения в четырех томах
МАЛЬТИЙСКАЯ ЦЕПЬ
ГАМЛЕТ XVIII ВЕКА

М.Н. Волконский

М. Н. Волконский

Сочинения
в четырех
томах



Москва
Издательство „Пресса"
1992

М. Н. Волконский

том четвертый

МАЛЬТИЙСКАЯ ЦЕПЬ

ГАМЛЕТ XVIII ВЕКА

Москва,
Издательство „Пресса"
1992

84 Р 1
В 68

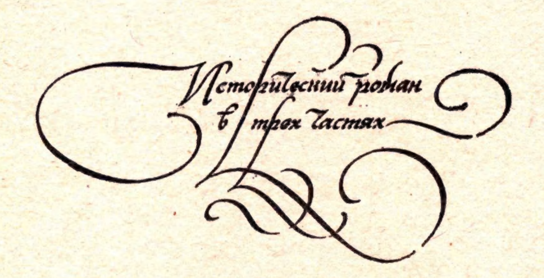
СОСТАВЛЕНИЕ
Т. Ф. ПРОКОПОВА

В $\frac{4702010101-2779}{080(02)-92}$ 2779—92

ISBN 5-253-00591-9



МАЛЬТИЙСКАЯ ЦЕПЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I
ПЕРВЫЙ ПРИСТУП

Солнце с утра поднялось зловеще-багровым, словно докрасна накаленное ядро, шаром, предвещая непогоду. Попутный ветер, задувший было сначала, засвежел и с каждым порывом становился все упорнее, настойчивее и словно нетерпеливее. К полудню закрепили брамсели и грот. Через час пришлось взять еще по два рифа у марселей — к трем часам начался шторм с ливнем. Огромные, как горы, валы высоко поднимали свой белый гребень, вырастая и рушась, как прозрачные, бурливые, клокочущие живые стены. Они распадались и падали с шумящим, стонущим гулом. Снасти скрипели, дерево трещало. Резкий свист ветра не давал отдыха уху. Погода разыгрывалась.

— Отдать бизань-гитовы! — громким, молодым, радостным голосом кричал в рупор Литта, чувствуя уже в себе тот восторг, который охватывает его, когда начиналось или могло еще начаться настоящее дело, настоящая борьба с любимою, грозною и давно привычною ему стихией.— Тя-яни бизань-шхот...

— Эчеленца [1] хочет привести к ветру? — спросил его старый штурман, приближаясь.

Литта, опустив рупор и придерживаясь и упираясь ногами в скользкую, облитую водою палубу, следил за бросившимися исполнять его приказание матросами.

— Эчеленца...— начал было опять штурман.

[1] Ваше сиятельство.

На этот раз Литта оглянулся на него и удивленно посмотрел, как бы не понимая, зачем был сделан этот лишний вопрос: для штурмана должно было быть ясно и без того, что значит, когда ставят бизань.

Старик сдвинул на сторону губы и прищурил один глаз, но хитрое выражение его лица сейчас же изменилось, потому что в эту минуту качнуло сильнее и он должен был удержаться.

Он всегда относился к распоряжениям командира с каким-то затаенным недоброжелательством. Ему чрезвычайно хотелось, чтобы командир почувствовал наконец необходимость в его, старого штурмана, помощи или указании, хотя он узнал при этом, что Литта, несмотря на свою молодость, не нуждается в нем. Но он именно не доверял этой молодости и отваге командира и ревновал его к той власти, которою сам не был облечен.

— Сходите посмотреть, как работают помпы! — приказал ему Литта.

— У меня есть дело у руля, эчеленца, я здесь нужнее,— попробовал возразить штурман, желая успокоиться хоть на том, что он по крайней мере необходим и что без него все-таки не справятся.

— Ступайте, куда вам велят! — крикнул Литта.

Старик, слегка вздернув плечами и как бы снимая с себя всякую ответственность, повиновался.

Волны между тем поднимались выше прежнего и то поддевали корвет, став вдруг грозною громадой у одного борта его, и, ухнув, разом вырастали у другого, то, сломившись, упадали с размаха и били с шумом палубу, рассыпаясь по ней пеной, брызгами, ручьями и каскадами, и обдавали своею едкою, крепкою соленою водой все, что попадалось им.

Литта, торжествуя свою борьбу, уверенный в своем «Пелегрино», каждый последний гвоздик которого он давно знал и любил, стоял с развевающимися по ветру длинными, мокрыми прядями черных волос и, высоко закинув голову, отдавал приказания, заставляя повиноваться своему голосу не только копошившихся вокруг него людей, но и исполнявший его желания поворотливый, ловкий корвет. В такие минуты его «Пелегрино» всегда казался ему каким-то живым, действующим существом, понимавшим его и связанным с ним одною, неразрывною жизнью. Ему казалось иногда, что он понимает, как человека, скрип и треск своего «Пелегрино», который, трепеща и напрягая

снасти, разговаривает с ним, жалуется или ободряет и сознательно борется с ветрами и волнами.

Первый приступ бури становился все грозней и грозней. Ветер, точно порешивший на этот раз доканать-таки «Пелегрино», рвался на него с ожесточенною, злобною яростью. Волны, вторя ему, кидали, охватывали, били и качали корвет, стараясь, словно вдруг выпрыгнув из засады, неожиданно наброситься на него и смыть с палубы бесстрашных, маленьких, почти неприметных в сравнении с их громадой людей.

Литта закрепил веревками двух матросов, ворочавших руль, и себя к палубе. Борьба завязывалась не на шутку.

На передней мачте лопнули два верхних паруса, и лоскутья их трепались, щелкая, как пистолетные выстрелы. Корвет выбивался из сил, но жалобный, просящий защиты стон его все-таки смешивался с по-прежнему бодрым и громким голосом командира.

II

БУРЯ

Старик штурман, осмотрев помпы и узнав, что вода в трюме прибывает, бросился к борту и с нахмуренным, сосредоточенным лицом, держась правою рукою за вант, послал матроса за «освященными хлебами».

Матрос, оторванный от работы, точно очнувшись, испуганно посмотрел на него.

— За хлеб...— начал было он, но нагрянувшая волна не дала ему договорить.

Штурман видел только, как матрос схватился за протянутую по палубе веревку и скользнул. Когда волна, разбившись и журча, раскатилась, его уже не было.

«Смыла, верно»,— решил штурман и невольно взглянул в сторону, где должен был находиться командир — не захватила ли и его волна с собою.

Но тот остался на своем месте, у руля. Теперь там происходила заметная и торопливая суетня — видимо, старались исправить что-то.

«Так и есть — руль!» — мелькнуло опять у штурмана, но он не пошел помогать, считая то дело, для которого он остановился здесь, у борта, еще более важным.

Матрос, уцелевший под натиском волны, явился с тремя маленькими хлебцами, бережно прижимая их к груди, чтобы не растерять. Штурман схватил один из них и, уси-

ленно шевеля губами и шепча какие-то слова, перекинул его за борт, потом схватил другой, третий и тоже выкинул их.

— Что там делает Энцио? Скажите ему, что рано еще — дело вовсе не дошло до этого! — закричал Литта, увидев, что штурман, по старинному поверью и обычаю, бросает в минуту опасности за борт хлебы, нарочно освященные и приготовленные для этого случая.

— Энци-о-о! — сквозь шум и рев бури послышалось на палубе,— командир зовет к себе.

Как бы в ответ штурману на его брошенный хлеб новая волна с новою силою накатилась на корвет и, ударив со всего маха, разбила катер в щепы.

— Мало ему этого! — проворчал сердито Энцио, стискивая зубы.— Тоже «рано», как же! — и он оглянулся, как бы ища, не найдется ли кто-нибудь, кто выразит ему сочувствие.

Но все были заняты своим делом. Казалось, им некогда было раздумывать, каково положение и насколько оно опасно, хотя Энцио со своими хлебами чуть было не заставил опомниться, оглянуться, прийти в себя и, может быть, вследствие этого потерять голову. Однако резкий крик командира о том, что «рано» еще прибегать к крайним средствам, снова дал толчок общему движению.

Сам Литта в увлечении борьбы, требовавшей одновременно и телесной силы, и крайнего умственного напряжения, весь был охвачен этою борьбою и сосредоточенно следил за тем, что нужно было делать, что приказать и где и кто ждал его приказания или ободрения.

— Не бойся, держись! — беспрестанно раздавался его звучный голос, и при звуках его матросы работали дружно, смело и споро.

Волны, не унимаясь, громоздясь друг на друга, продолжали швырять несчастный «Пелегрино». Однако их бешеные остервенелые размахи и усилия казались напрасными — Литта твердо и уверенно вел свой корвет и каждый раз вовремя предупреждал опасность, и «Пелегрино» снова выплывал и качался как бы назло ожесточенному морю.

И вдруг, точно и на этот раз признав свое бессилие и выражая свой гнев безвредною, но страшною бранью, буря сверкнула молнией. За ней раздался трескучий громовой удар, раскатившийся по бурному пространству.

Литта поднял голову и улыбнулся, точно поняв, что непогода била теперь отбой.

Самою большою опасностью угрожало показавшееся увеличение воды в трюме. Литта несколько раз посылал к помпам узнать, как они работают. Воды было по-прежнему много. Уровень ее не понижался, хотя и не шел уже на прибыль. И этого было достаточно: течи не оказалось. К вечеру вода стала заметно упадать. Буря унималась.

III

НОВАЯ ПОБЕДА

Граф Литта, усталый и измученный, провозившись целый день на палубе, только к вечеру мог успокоиться. Он сам, когда буря пронеслась, осмотрел корвет, велел при себе заменить изорванные паруса запасными, исправить то, что можно, и, отпустив вместе с Энцио большинство экипажа на отдых, остался с выборными охотниками управлять ходом.

Корвет сильно пострадал во время бури. Многое можно было исправить, но требовалась и серьезная починка в гавани. Несмотря на это, Литта решил все-таки идти прямо в Неаполь и, добравшись до этого города, бросить якорь и тогда лишь начать чиниться.

Уже поздним вечером, когда море, совсем утихнув, ласково плескало, как будто не оно целый день бурлило сегодня, и Литта убедился, что всякая опасность исчезла, он разбудил старика Энцио и, сменив людей, ушел в свою каюту. Он вымылся, переоделся, натер целительною мазью свои исцарапанные, распухшие руки и лег на койку, завернувшись легким одеялом.

Всего лет восемь тому назад он в 1780 году, пятнадцатилетним подростком по годам, но по развитию окрепшим уже юношей, поступил в число рыцарей Мальтийского ордена, принеся с собою значительное имение Северной Италии. С тех пор началась его служба ордену, и мало-помалу, несмотря на свою молодость, он достиг звания командира корвета.

Мальтийский орден, окончив свою долголетнюю давнишнюю войну с Оттоманскою Портою, не слагал оружия и посылал свои суда на крейсерство по Средиземному морю для поимки турецких пиратов, беспощадно грабивших христианские суда. Одним из таких крейсеров был корвет «Пелегрино», которым командовал граф Литта.

Литта заснул на своей койке не скоро. Он слишком устал. А когда наконец заснул он, сон его был тяжел и не спокоен.

Вдруг он приподнялся, широко раскрыл глаза и протер их. В окно каюты гляделся беломолочный туман, слабо освещенный, должно быть, еще восходящим солнцем. Светало.

Сколько времени проспал он — Литта не знал и не мог понять тоже, отчего он так вдруг, словно его толкнул кто, проснулся, и проснулся с каким-то нехорошим, неприятным предчувствием.

Он, не отдавая себе еще хорошенько отчета, что делает, вскочил, бросился к двери и, выйдя на палубу, остановился, невольно пораженный тем, что случилось в его отсутствие.

Энцио, придя на смену и почувствовав себя полным распорядителем корвета, заходил по юту с сознанием всей важности своего положения.

Ночь была лунная, светлая, море не грозило, но послушно расстилалось вширь, и «Пелегрино» скользил при попутном ветре легко и скоро. Энцио ничего не оставалось делать, как добросовестно и спокойно следить за его ходом; но бездействие томило его.

На его счастье к утру поднялся туман, становившийся все гуще и гуще по мере того, как корвет врезывался в него. Энцио не приказывал сбавлять парусов и шел прежним ходом. Ему казалось веселее управлять, чувствуя возможность опасности и идя, не меняя скорости, не боясь натолкнуться на берег. Он так твердо был уверен в своем знании моря, в своем долгом опыте и в безошибочности курса, которого держался, что желал показать всем и каждому, а главное — самому себе, будто ему все нипочем и решительно все равно — туман или не туман,— и, что бы там ни было, он не только не уступит молодому командиру в уменье управлять судном и вести его, но еще может поучить и тех, кто постарше.

Энцио долго стоял, скрестив руки на груди, и торжествующе улыбался, чувствуя, как скользит ходкий «Пелегрино». Он вспоминал подробности вчерашнего бурного дня и видел себя главным действующим лицом его, твердо уверенный, что буря миновала благополучно, благодаря выброшенным им за борт хлебам.

Наступил рассвет. Туман начал редеть. Энцио самодовольно продолжал улыбаться, оглядывался по сторонам,

делая вид, что не дает даже себе труда обращать внимание на те пустяки, которые выпали теперь на его обязанность. Он лениво зевал и потягивался, глаза его смыкались несколько раз и голова опускалась.

С бака в это время неожиданно раздался крик и тотчас замолк. Энцио, вздрогнув, поднял голову. Несколько матросов, стоявших на палубе, замерли, смотря все в одну сторону. Прямо, сквозь быстро редевший туман, виднелся крутой, почти отвесный каменный берег.

Литта вбежал на палубу как раз в эту минуту. «Пелегрино» несся беззаботно, вольно, как ночная бабочка на огонь,— на верную гибель, красиво распустив паруса и быстро сокращая расстояние, оставшееся до каменного берега, о который суждено ему было разбиться с налета.

Энцио, бледный, держался за волосы, глаза его были неподвижны, бессмысленны. Остальные люди, притихнув и съежившись, уставились вперед, понимая опасность, и чувствуя, и зная невозможность избегнуть ее. Время, казалось, было потеряно; повернуть, лавируя, было немыслимо — не хватало места, и всякий маневр мог только изменить, пожалуй, ту точку, где должен был разбиться корвет, но отнюдь не спасти его.

Этот миг молчаливого, невысказанного, но ясного для всех сознания постепенно, на виду у всех, приближавшейся гибели и полного бессилия избежать ее вдруг сменился ужасом и суетней людей, бросившихся в отчаянии к гребным судам, самое большое из которых было, однако, разбито вчерашнею бурею. Еще секунда, и эти люди потеряли бы совсем рассудок, и тогда исчезла бы всякая надежда.

Литта схватил рупор и, широко размахнув рукою, крикнул тем голосом, которым привык бороться с ревом бури:

— Долой паруса!

Люди дрогнули. Как молния, промелькнуло у Литты впервые в жизни опасение, что они, оробев, не услышат его приказания; но привычка взяла свое: почуяв командира, матросы дрогнули и бросились к мачтам.

— Лево руля! — скомандовал Литта, и «Пелегрино», сразу лишенный парусов, но разогнанный прежним своим быстрым ходом и сохраняя его еще, послушно повернулся от берега.

Корвет был спасен, и Литта стал лавировать, отдавая приказания и забыв об Энцио, который сейчас же исчез в своей каюте.

IV

В НЕАПОЛЕ

Литта благополучно довел свой корвет до голубого тихого Неаполитанского залива, и «Пелегрино» вошел в гавань, распустив свою красную мальтийскую хоругвь с большим белым восьмиконечным крестом.

Исполнив береговые формальности, Литта спустился на шлюпке в город. Более месяца провел он в море, ни разу не сходя на берег; впрочем, последний и теперь не особенно тянул его к себе, но нужны были кое-какие закупки для корвета: необходимо было освежить запасы, побывать у банкира и узнать, нет ли каких-нибудь писем с Мальты.

Оказалось, однако, что время было слишком позднее — все было заперто, и Литта никуда не попал. Только широкая Толедская улица кишела, как всегда, народом праздным, веселым, смеющимся и кричащим на все лады и наречия.

Сначала Литта с удовольствием, как старому знакомому, обрадовался этому вечному, беззаботному шуму и глядел на непрерывный ряд экипажей, гладко катившихся по твердым, пыльным плитам лавы, которою была выложена улица, на мелькавшие носилки со спущенными шторками и на пеструю толпу, откровенно, не стесняясь, показывавшую свою будничную жизнь. Полуголые лаццарони [1], красиво, однако, драпируясь в свои лохмотья, спали тут же на улице; рабочие раскинули балаганы и занимались своим делом; продавцы макарон, жареных каштанов, кукурузы, примостившись у маленьких очагов, беспощадно дымивших, наперерыв стараясь перекричать друг друга, хвалили и предлагали каждый свое. Менялы и публичные писцы выдвинули свои столики; аквайолы [2] приставали со своею холодною водой, кричали и звенели стаканами.

Все это сразу охватило Литту и перенесло его в совершенно другую, непривычную жизнь, в которой он почувствовал себя чужим, но ему приятно было видеть незнакомые, добродушные лица и слушать вместо плеска и шума однообразной волны этот неумолчный, стоявший теперь вокруг него, говор.

Он прошел всю Толедскую улицу и только тогда заметил, что голова его слегка закружилась и глаза устали от

---

[1] Нищие. *(Здесь и далее примеч. автора.)*
[2] Разносчики воды.

двигавшейся все время пред ним пестроты. Но ему хотелось теперь, когда он был уже на берегу, все-таки пройтись по твердой земле, от которой отвыкли его ноги, и размять их. И он повернул в узкий переулок, стараясь придумать себе какую-нибудь цель, куда идти.

Маленькие неправильные улицы и переулки, в лабиринте которых очутился теперь Литта, были в противоположность главной улице тихи и пустынны. Высокие белые дома с плоскими крышами, с балконами вместо окон, сдавливали их, как коридоры, своими стенами. Здесь было душно и грязно. Мостовые никогда не мелись и не чистились.

На набережной в Вилла-Реале было теперь, вероятно, хорошо и дышалось легче, но Литта не шел туда из нежелания встретиться с большинством неаполитанского общества, знакомого ему. Завтра он наденет парадный узкий камзол, стянет горло кружевным жабо и с перчатками и шляпой в руках появится в гостиных; но сегодня он спустился на берег в будничном, простом платье и хотел оставаться сам с собою, свободным... И он нарочно стал выбирать безлюдные, молчаливые улицы.

По странной случайности или просто потому, что он не старался быть внимательным и невольно шел все по прежней дороге, Литта раза два, желая, впрочем, избежать этого, возвращался все на одно и то же место. Оно было знакомо ему.

Домой, на корвет, казалось рано возвращаться — там Энцио опять станет надоедать с чем-нибудь,— и, подумав про Энцио, Литта вспомнил место, где находился теперь.

Пред ним был низенький домик с такою же плоскою, как и остальные, крышею и так же выкрашенный белою краскою. Окна выходили не на улицу, а на противоположную сторону, должно быть, в сад. С улицы были только толстая, обитая железом дверь с каменной приступочкой и небольшое решетчатое квадратное оконце.

Литта устал; ему хотелось пить.

Штурман как-то случайно, в одну из прежних их остановок в Неаполе, говорил ему, что здесь живет старик француз Лагардин-Нике, давно приобретший некоторую известность своим таинственным даром сибиллических предсказаний людям, совершенно ему незнакомым. Впрочем, и, кроме Энцио, многие знали Лагардина-Нике и рассказывали про него интересные вещи.

Литта узнал домик француза.

«Во всяком случае, он даст мне кружку воды»,— подумал он и, взявшись за привешенный на цепочке к дверям молоток, ударил им по вделанному в нее железному кругу.

Сухой, резкий стук заставил дверь слегка дрогнуть. Какая-то птица, испуганно чиликнув, слетела с возвышавшегося за каменным забором темного кипариса, и все опять смолкло.

Литта подождал. Никто не шел отворять. Литта, прислушиваясь, постоял еще некоторое время с поднятым молотком. Ему показалось, что по ту сторону двери тоже стоит кто-то и прислушивается. Литта ударил еще два раза. Большой железный засов с лязгом отодвинулся, потом стукнул замок, и дверь, заскрипев петлями, слегка приотворилась.

— Лагардин-Нике? — спросил Литта.

Дверь отворилась совсем, и гладко выбритый старик с большими, круглыми серебряными очками на остром носу появился пред посетителем. На нем были довольно потертый от времени черный камзол, высокие черные же чулки и башмаки с серебряными пряжками. Совсем седые его волосы блеснули той белою, ровною, не желтеющею сединой, которая свидетельствует об опрятности, требующей внимания и привычки к ней.

V

ЛАГАРДИН-НИКЕ

Старик ввел Литту по двум ступенькам прохладных, полутемных, узких — так что два человека не могли пройти рядом — сеней в небольшую сводчатую комнату, всю заставленную кругом книгами на деревянных полках. Тут были также склянки с разноцветными жидкостями, маленькие, пузатые, и большие, длинные, астрологическая сфера, свитки пергамента, глиняные горшки и несколько чучел животных.

От всего веяло внушающей к себе уважение древностью, но на всем лежал тот же отпечаток опрятности, которою белели седые волосы Нике, и вовсе не было заметно запаха пыли, ссохшегося дерева и затхлости, того совсем особенного запаха, который свойствен старинным вещам. Большой дубовый стол на четырех витых ножках, высокие кресла, обтянутые кожей, книги в деревянных и пергаментных переплетах были вычищены, убраны, перетерты и размещены в заботливом порядке. Из-за решеток откры-

тых в сад двух узких окон несло олеандром, лавром и миртою. В углу, вроде готического очага, возвышался камин с жаровнею.

Литта, как рыцарь Мальтийского ордена знакомый с оккультными науками, с первого же взгляда узнал эту не чуждую ему обстановку и большинство книг библиотеки Нике. Большой том Альберта Великого сейчас же бросился ему в глаза. Единственно уцелевшее творение Тота-Трисмегиста лежало на почетном месте. Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский и целый ряд новейших оккультистов были здесь налицо. Литта увидел, что он имеет дело с человеком, которому действительно могло быть известно нечто.

Нике молча указал ему на кресло у стола и сам сел против него, терпеливо сложив руки и смотря сквозь свои большие очки прямо в лицо своему гостю.

— Говорят, вы способны давать сибиллические ответы? — начал Литта по-французски, выдавая, однако, произношением свое южное происхождение.

— Мало ли что говорят! — ответил старик, пожав слегка плечами и улыбнувшись одними только губами, так что его лицо осталось по-прежнему спокойным.

— Ну, так вот я пришел спросить у вас...

«Я это знаю»,— сказал взглядом Нике и, продолжая улыбаться одними губами, наклонился над ящиком в столе, достал оттуда пачку квадратных из чистого картона карточек и подал их Литте.

— Напишите ваш вопрос на латинском языке, если можете,— пояснил он,— или на французском, но только по одной букве в каждом квадрате. Если не хватит карточек, я дам еще.

«Что ж мне ему написать?» — невольно спросил себя Литта, взяв пачку беленьких квадратиков, и, подумав, решил задать самый общий вопрос — что ему вообще предстоит впереди?

Нике отодвинул свое кресло, встал и, закрыв ящик, отошел к окну.

Литта обмакнул перо в чернильницу и начал ставить на каждом билетике по букве: q, u, i, d, m, a... Он написал таким образом целую фразу:

«Quid manet Julium Pompeium Litta?»

— Готово? — спросил Нике от окна.

— Да!

Написав буквы на билетиках, Литта стал тасовать их, чтобы изменить порядок букв.

Старик опять сел на свое место и, опираясь пальцами повернутой руки на стол, ждал, наклонив голову и уставившись глазами поверх своих очков на своего гостя.

Литта, стасовав билетики, передал их ему.

— На каком языке вопрос? — спросил Нике.

— На латинском.

Нике кивнул головою и, быстро перетасовав видимо привычным движением еще раз билетики, начал раскладывать их в большой круг на столе. Буквы были совсем перемешаны. Две і легли рядом, потом m, потом l и т. д. в совершенно произвольном порядке. Обложив круг, Нике взглянул на него, потом точно мельком вскинул взор снова на Литту и, взглянув еще раз на буквы, стал поспешно, быстро, как бы бессознательно, выбирать их, складывая билетики на ладонь левой руки и прижимая их пальцами. Так он очень скоро собрал почти все карточки. На столе осталось только пять. На них были буквы: q, d, m, p, m. Нике взял пачку отобранных им букв и стал раскладывать опять их на столе, но в ряд и в том порядке, в котором отобрал их.

Первые два слова вышли: «Multi limi».

— Multi limi,— прочел вслух Литта.— Это что же: «много грязи»? кажется, так? — спросил он.

— Да, много всяких неприятностей, гадостей,— подтвердил Нике, продолжая раскладывать.

«Ну, это — довольно расплывчатый ответ»,— подумал Литта, следя за тем, как слагаются остальные буквы.

Из них вышло еще два слова: «Nuptiae volutivae».

Литта, прочтя эти слова, вдруг откинулся на спинку кресла и рассмеялся, взявшись рукою за грудь. Это предсказание было неудачно до смешного.

— Nuptiae volutivae — «желанный брак»?! — повторил он сквозь смех.— Ну, этого быть не может, этому трудно поверить.

Нике строго взглянул на него и показал на оставшиеся в кругу пять букв.

— Тут еще остаются пять так называемых «немых» букв q, d, m, p, m,— сказал он, еще раз останавливая взглядом смех Литты, и продолжал: — Они значат: «Quereretur dux: minister primus Malthae», то есть: «Понадобился бы вождь: первый министр Мальты».

Литта перестал смеяться.

— Позвольте! — спросил он.— Кто же это будет первым министром Мальты?

— Тот, о ком вы задали свой вопрос... я не знаю,—

ответил Нике равнодушно.— Когда потребуется вождь, он будет избран в трудную минуту министром Мальты.

— Позвольте! Если вы знаете, что я принадлежу к Мальтийскому ордену,— иначе как же я могу быть министром? — то почему же вы предсказываете мне «желанный брак»? Ведь это — два несовместимых обстоятельства.

— Я ничего не знаю,— медленно, качая головою и тихо проговорил старик,— я не знаю даже, о ком вы спрашивали и в чем состоял ваш вопрос... Я говорю, что вышло...

— Я спрашивал про себя,— перебил его Литта.— Правда, я состою рыцарем ордена Мальты, следовательно, ваше лестное предсказание о моем повышении возможно; но вместе с тем, как член духовного ордена, я должен был дать обет безбрачия и дал его с глубоким убеждением, которое едва ли изменю... Значит, брак, да еще «желанный», едва ли возможен для меня. Положим, настанет время, что я изменюсь... допустим это. Хорошо. Но обстоятельств ведь не изменишь... из ордена выйти нельзя; а если бы я каким-нибудь путем и вышел даже из него, что невозможно, то как же я буду министром?.. Согласитесь, что одно с другим совсем не вяжется.

И Литта, уверенный, что доказал старику французу всю его несостоятельность и нелепость его слов, встал со своего места. Он убедился, что Нике вовсе не был таким человеком, каким показался ему сначала, и что он годен разве только для суеверного простака Энцио, который может верить ему.

Литта вынул несколько золотых и бросил их на стол.

Востроносое лицо Нике приняло совсем птичье выражение. Круглые очки приподнялись несколько раз.

— Я у вас не просил этого! — показал он на золотые.— Уберите их!

Литта несколько растерянно посмотрел на него.

— Да, да, уберите их! — подтвердил Нике кивком головы.

«Комедия! Хочет поразить меня бескорыстием»,— решил Литта и, собрав со стола деньги, снова спрятал их в карман.

— Вот видите ли, молодой друг мой, вы еще очень скоры и горячи, но жизнь научит вас быть осмотрительней,— проговорил Нике и опять кивнул головою, как бы прощаясь с Литтою.

Он по-прежнему казался спокоен и величав.

Литта молча поклонился ему и вышел на улицу.

VI

НА ВИЛЛА-РЕАЛЕ

— Мельцони! Мельцони! Вы знаете, Джулио Литта появился в Неаполе,— сказал молодой дюк [1] ди Мирамаре, догоняя приятеля и останавливая его за локоть.

— Неужели? — обрадовался Мельцони.— Когда вы его видели?

— Сейчас, мельком, на Главной аллее. Ступайте в казино, я приведу его туда! — и придворный дюк ди Мирамаре быстро повернулся на каблуках, а затем скорыми шажками, покачиваясь и развевая фалды своего шелкового кафтана, побежал на Главную аллею отыскивать Литту.

Мельцони и гулявшие с ним, такие же, как он и дюк, разодетые, блестящие молодые люди весело направились в казино, довольные приездом мальтийского моряка, которого все они очень любили.

Граф Литта принадлежал к богатой итальянской аристократической фамилии Милана и был не только не чужой в том обществе, к которому принадлежали эти молодые люди, но, напротив, многие из них завидовали ему и подражали.

Аллеи и дорожки живописной Вилла-Реале были полны народом — не тем, который шумел на Толедской улице, но разодетым в шелк и кружева, блестевшим богатством, вкусом и весельем беззаботной жизни.

Яркое полуденное солнце играло на золоте и каменьях дорогих нарядов, то и дело мелькавших среди зелени высоких акаций, в сквозной тени широких дубов и между стрельчатыми колоннами стройных кипарисов.

Эта Вилла-Реале, привольно и красиво раскинувшаяся по берегу вечно тихого лукоморья, со своими извилистыми дорожками, прямыми аллеями, лужками, куртинами пестрых цветов, причудливыми купами кустарника, мраморными статуями и выдавшимся от берега круглым мыском с чудесною беседкою,— была любимым сборным пунктом всего лучшего неаполитанского общества.

У казино сейчас же собралась целая толпа вокруг Мельцони, занявшего один из столиков.

Литта подошел к ним вместе с ди Мирамаре, который, несмотря на жару и на толпу, отыскал-таки графа и при-

---

[1] Герцог.

вел его, улыбающийся и усталый, но довольный тем, что его поиски и хлопоты не пропали даром.

На Литте были теперь богатый кафтан, красный, французского покроя, шляпа с белым пером; большой белый мальтийский крест висел у него на груди на широкой черной ленте. Его загорелое лицо и сильное, крепкое, развитое на море стройное телосложение заметно отличалось от худеньких, тощих фигур окружавших его изнеженных баричей, и, хотя видимо было, что он чувствовал себя гораздо больше «дома» в своем простом платье моряка, все-таки кафтан его сидел гладко и красиво, и он носил его с тою уверенностью и простотой, которые достаются лишь долгим опытом светского человека.

— Граф, здравствуйте!.. Джулио, откуда вы? — послышалось со всех сторон навстречу Литте, который пожимал руки, кланялся и улыбался при виде этого общего внимания к его появлению.

Дюк ди Мирамаре представлял ему тех, с кем он еще не был знаком.

— Ну, рассказывай,— начал Мельцони,— правда, в гавани говорят,— вот мне сейчас Беппо сказал,— кивнул он на скромно сидевшего у стола генуэзца,— что твой «Пелегрино» чуть не потерпел крушение... про тебя теперь просто чудеса носятся.

Литта поморщился и, дернув плечами, положил ногу на ногу, слегка отвернувшись в сторону. Он терпеть не мог говорить про себя.

— Кто это? — спросил он, показав на одну из проходивших мимо по дорожке разодетых дам.

На ней было белое платье на фижмах с крупными букетами розанов, и ее напудренные волосы особенно красиво оттеняли нежность южного лица и, как смоль, черные брови.

Дюк ди Мирамаре сейчас же объяснил, кто такая была дама и кто был у ней кавалер-сервенте.

— Нет, это что! — проговорил Мельцони и обратился к Литте: — Но вот я тебе скажу красавица...

— Послушай, что ж ты ему о красавицах говоришь?.. Разве это — его дело? — перебил один из молодых людей, глазами показывая на крест, висевший на груди Литты.

Ему, собственно, очень хотелось, чтобы граф рассказал что-нибудь из своих приключений на море.

— Да нужно же его поставить в курс всех наших новостей,— продолжал Мельцони и снова обратился к Литте: — В Неаполе появилась северная красавица, такая, ка-

ких мы не знавали еще до сих пор... как ангел Божий... Данте забыл бы свою Беатриче, если бы увидел...

— Ну, однако...— хотел было возразить один из видимо ярых поклонников поэта, мечтательный юноша, но Мельцони не дал договорить ему.

— Что-о? — почти крикнул он на мечтательного юношу.— По-вашему, синьора Скабронска не может поспорить с Беатриче?.. Ну я не знаю, но лучшего создания не было еще на земле...

— Не Скабронска, а Skavronskaja[1],— поправил его с другого конца стола сидевший там гвардеец,— я выучил это имя.

Литта рассеянно слушал, сидя по-прежнему нога на ногу и смотря в даль ослепительно игравшего на солнце залива.

— Господи! — проговорил он.— Удивительно знакомое имя!.. Кто она?

— Жена русского посланника, приехавшего недавно в Неаполь.

— Скавронский! — вспомнил Литта.— Не тот ли, что был в Милане?

— Да, он лет шесть тому назад ездил и чудил по Италии,— пояснил знавший, кажется, все и всех дюк ди Мирамаре.

— С оперой? — переспросил Литта.

— Да, страстный любитель музыки. В ней он, правда, ничего не понимает, но у него была страсть писать оперы и ставить их на театре. Что это было — ужас!

— Я помню, в Милане,— сказал Литта.

— Да что в Милане! Везде он огромные деньги тратил на постановку своих опер; актерам, театру и публике платил — всем. Богат он, как все русские, пожалуй, даже богаче многих из них... Но, представьте себе, до чего у него доходило! Он не только на сцене заставлял за деньги распевать свои произведения, но вся прислуга у него не иначе разговаривала с ним, как речитативом или ариеттами... входит, например, подеста[2] и докладывает...

И дюк ди Мирамаре, войдя окончательно в роль, встал со своего места и на песке дорожки картинно изобразил в действии, как входил к Скавронскому подеста и пел ему, что расходов по дому было столько-то и столько-то еще

---

[1] Скавронская.
[2] Управитель дома.

предстоит; потом — как дворецкий докладывал ему веселой ариеттой, что «кушать подано и стол накрыт, накрыт, накры-ы-ыт».

— Но ведь он не был тогда женат? — спросил Литта.

— Нет, это теперь, приехав уже посланником, он явился женатым.

— Ну, а что же, он и теперь продолжает чудить так? — проговорил молодой человек, которому сначала хотелось послушать рассказы Литты и который, слушая теперь дюка, не жалел уже о них и смеялся самым звонким смехом.

Кругом тоже смеялось несколько молодых голосов.

— Нет, теперь уже не поют у него! — с грустью сожаления протянул ди Мирамаре, и это вышло у него очень комично.

— Но все-таки и на этот раз дело не обошлось без причуд,— сказал Мельцони.— Когда Скавронский приехал в Неаполь — целую гостиницу очистили для него и выгнали из нее всех постояльцев; теперь он переехал уже в свой палаццо, недалеко отсюда.

— И что ж, молодая русская синьора — теперь первая красавица Неаполя и наша молодежь у ее ног? — спросил Литта, прищурясь и смотря на Мельцони.

Последний вздрогнул.

Дюк ди Мирамаре махнул рукой.

— Нет,— ответил он,— ее почти никто не видит: она нигде не показывается. Даже у себя на балах она не выходит. Все приемы делает сам русский посланник, а жены его не видно.

Мечтательный юноша, упорно молчавший после того, как Мельцони остановил его, вдруг заговорил теперь поспешно и живо, боясь, что его опять перебьют и не дадут рассказать то, что он знает и хочет рассказать. И он, торопясь и глотая слова, начал рассказывать о том, что сам слышал от знаменитой художницы, француженки Лебрен, у которой его тетушка заказала себе портрет. Эта Лебрен была в числе лиц, живших в гостинице, которую очищали для приезда русского барина, но осталась там жить, познакомилась со Скавронским и говорит теперь, что русский держит свою жену взаперти, по своему северному обычаю, как деспот, и что бедняжка красавица томится в неволе.

Оказалось, что на эту тему юноша написал уже стихи и хотел было прочесть их, но его опять перебили. Кому-то

пришла в голову мысль попросить Литту позволения приехать к нему на корвет. Литта сейчас же пригласил всех к себе; все поднялись и, шумно и весело разговаривая, направились к Спиаджии ди Киайя, где стояли лодки.

VII
ГОРОСКОП

Починка «Пелегрино» шла успешно вперед; осталось в нем сделать еще некоторые незначительные исправления да запастись свежею водою и припасами, чтобы при первом попутном ветре поднять паруса и снова пуститься в море искать беспокойных алжирцев-грабителей.

Литта торопился покончить свои дела в Неаполе, не имея обыкновения долго засиживаться на одном месте.

Он добросовестно «отбыл повинность», то есть побывал три раза на Вилла-Реале, принял у себя на корвете неаполитанских гостей и узнал все новости, заграничные и местные. Из первых главный интерес представляли события во Франции, где как раз в это время происходила знаменитая история с «ожерельем королевы» [1]. Относительно вторых — вся суть сосредоточивалась на разговорах о новом русском посланнике и на его жене-красавице, которую он запирал.

Все это, впрочем, начинало надоедать Литте, а потому он настойчиво торопил работы на корвете, реже съезжал на берег и раньше возвращался оттуда, когда съезжал.

Был тихий вечер. Солнце, отливая по небу розовато-желтыми и золотыми красками, спускалось в бирюзовую даль моря, подернутую золотистым же отблеском, и бросало свои прощальные лучи на седластую гору Везувия, окра-

---

[1] Знаменитая авантюристка графиня де Ламот сообщила парижским ювелирам, что королева Мария Антуанетта желает приобрести у них великолепное бриллиантовое ожерелье, изготовленное ими для Дюбарри, фаворитки Людовика XV. От имени королевы кардинал Роган получил это ожерелье, уплатив всего лишь незначительную часть денег за него. Когда наступил срок платежа за ожерелье, то оказалось, что ни де Ламот, ни Роган не были уполномочены на приобретение ожерелья и что оно попросту было выманено у ювелиров. Возник громкий, скандальный процесс (1785—1786 гг.), разоблачивший дерзкую аферу с ожерельем и запятнавший имя Марии Антуанетты, так как все же не удалось с точностью установить, насколько была причастна ко всему этому несчастная французская королева.

шивая своим телесно-розовым ласковым светом ослепительно-белую днем ленту громоздящихся друг над другом домов раскинувшегося вдоль берега Неаполя. Литта долго смотрел на дивную панораму, облокотясь о борт неподвижно стоявшего «Пелегрино», и дышал этим легким, чудным воздухом.

Энцио, придя за приказаниями для следующего дня, помешал ему, и он ушел с ним в каюту. Энцио подробно требовал всему объяснений и пускался в длинные рассуждения... Совсем стемнело, когда наконец Литта отделался от надоедливого штурмана.

Там, стоя на палубе, он все время думал о своем почти случайном посещении француза Нике и об его предсказании, пришедшем ему в голову почему-то сегодня.

В самом деле оно было странно, невероятно и немыслимо.

«Ну, что за вздор! — остановил себя Литта.— Сказал — не хочу думать об этом, и не буду!»

«А вдруг,— сейчас же, однако, пришло ему в голову,— действительно произойдет такая перемена во мне, и вот когда-нибудь я буду вспоминать, как теперь стоял там наверху, смотрел и думал?»

Он вынул огниво, высек огонь и зажег маленькую лампочку. Каюта осветилась.

Литта подошел к двери, запер ее, потом достал из кармана ключ и открыл им один из вделанных в стене каюты потайных ящиков, незаметно скрытых между досок. Перебрав несколько лежавших там свитков, он взял один из них, подошел к столу и, отодвинув лежавшие на нем карты и чертежи с выкладками и исчислениями, развернул свиток.

Там был изображен разделенный на двенадцать частей круг со знаками зодиака в каждой из них, знаками семи планет и римскими цифрами.

Этот свой гороскоп Литта составил уже давно и знал подробное его толкование, но он также давно не прикасался к нему и теперь хотел возобновить в своей памяти. Он разложил свой лист на столе и, подперев у висков голову обеими руками, стал вглядываться в таинственные знаки планет, вспоминая их значение.

Луна в Близнецах предвещала ему частые путешествия (это сбылось или сбывалось), хорошие способности умственные, но недостаток осторожности и увлечение, которое может повлечь за собой серьезные неприятности. Марс в девятом доме вместе с Юпитером ясно указывал, что он

достигнет быстрого возвышения на поприще священного воина, и предостерегал от скрытых врагов, которыми явятся для него духовные лица. Чудесная XI аркана, помещенная в вершине гороскопа, говорила: «Иди вперед с верою, всякое препятствие — не что иное, как призрак. Для того, чтобы мочь, нужно верить, что можешь, для того, чтобы стать сильным, нужно утишить слабость сердца, нужно изучить свою обязанность, которая есть начало всякого права, и лелеять справедливость, как единую любовь свою».

Литта помнил, что составлял свой гороскоп, когда был еще недалек в астрологии, и вдруг ему захотелось теперь проверить, все ли было у него вполне точно, и нет ли какого-нибудь пропуска. Поэтому он, взяв фатидический круг и сделав снова цифровую выкладку своего имени, принялся внимательно просматривать гороскоп. Он следил дом за домом и тщательно справлялся, какие планеты должны находиться там. Все знаки, казалось, были на своих местах. Но, дойдя до седьмого дома, Литта остановился, посмотрел на круг, потом на чертеж гороскопа, проверил цифры; не было сомнения — в седьмом доме оказывался пропуск: там должна была находиться Венера... Литта проверил еще раз — первоначальная ошибка его была очевидна.

Он невольно вспомнил особенность, издавна замеченную у всех людей, занимавшихся астрологией, а именно: они, как доктор не может лечить себя самого, не могут никогда вполне точно составить свой собственный гороскоп и всегда должны поручать это другому. Но Литта никогда не желал сделать это.

Значение «седьмого дома» ему было, разумеется, известно: это так называемый дом «брака», и при его помощи раскрываются главным образом сердечные привязанности, семейные связи и порывы.

Литта предугадывал уже и значение Венеры в этом доме, но не доверяя своей памяти, взял книгу ключей и отыскивал подходящий нумер; там стояло прямо: «Завидный брак, хотя поздний. Большое приданое. Долговечность. Мирная старость, окруженная заботами». Это было ясным подтверждением предсказания Лагардина-Нике.

Литта задумался.

Он до сих пор не знал женщин и, приучив себя силой воли побеждать и подчинять себе свои страсти и свою человеческую природу, вышел победителем из борьбы с этой природой, одержал победу, которая принесла ему

действительные плоды и дала знания, мощь и степень посвящения в ряду мальтийской иерархии. Воспитанный в традициях таинственного ордена, граф с пятнадцатилетнего возраста привык обуздывать себя и презирать все то, что составляет обыкновенную притягательную силу будничной материальной жизни, и за это получил другое наслаждение в области духа, частица сферы которого была открыта теперь для него, и он не только не хотел покинуть ее, но, напротив, желал все более и более углубляться в нее.

Однако предсказания гороскопа и старика француза смутили его. Что они значили и могли ли они что-нибудь значить? Лагардину-Нике с его сибиллическим ответом Литта не доверял как-то, да и себе самому и составленному им гороскопу тоже не доверял теперь.

«Когда я ошибся — тогда ли или теперь, может быть, что-нибудь не так?» — беспокоился он и снова принялся за проверку цифр.

Совсем уже рассвело, а Литта и не думал еще ложиться спать. Впрочем, ему не в редкость было просиживать целую ночь напролет за чтением или за каким-нибудь занятием. Он мог проводить до двух суток без сна.

С восходом солнца Литта обошел каюту, спрятал книги и, взяв в карман лист с чертежом гороскопа, вышел снова на палубу и велел подать себе шлюпку.

VIII
БОЛЬНОЙ

Не торопясь доехал Литта по заливу от корвета до берега, любуясь безоблачным небом и синевою ясной воды. Шлюпка причалила к Спиаджии-ди-Киайя, и Литта, выскочив на берег, стал подниматься в гору.

Тихая теперь, безмолвная Вилла-Реале осталась у него в стороне. Он, минуя большие улицы, прямо направился в тот лабиринт переулков, в котором блуждал в первый день своего появления в Неаполе, и старался вспомнить, где именно был домик Лагардина-Нике, чтобы пройти к нему самым коротким путем. Но это оказалось нелегко. Улицы закруглялись неправильными зигзагами и приходилось иногда чуть не совсем назад круто поворачивать. Литта пожалел уже, что не пошел прямо по Толедской улице.

Наконец он нашел низенький белый домик с дубовою дверью и ударил в нее молотком три раза, то есть нарочно так называемым «треугольным» ударом: сначала один раз и потом, подождав немного, два другие вместе: раз-раз. Из этого стука Лагардин-Нике должен был понять, что не простой гость стучится к нему.

Литта опустил молоток, уверенный, что сейчас отворят ему, но прошло довольно много времени, а дверь оставалась по-прежнему запертою и никакого движения не слышалось за нею.

Литта ударил еще раз. Опять никого и никакого ответа. Он стал опять ждать, прошел вдоль стены; квадратное оконце было высоко над землею: потом тянулась та же высокая каменная толстая ограда, и затем начинались другие дома, такие же тихие, как и домик Нике.

«Умерли они, что ли, все»,— подумал Литта и, снова подойдя к двери, ударил по ней молотком.

Эхо послушно, как и первый раз, повторило и этот стук, и все опять смолкло.

«Нет, не достучаться!» — решил Литта и, с неудовольствием уже покосившись на дверь, пошел от нее прочь.

Отойдя несколько шагов, он все-таки оглянулся еще раз, на всякий случай, но, убедившись наконец, что всякое ожидание тут напрасно, решительно двинулся вперед с таким видом, что, отворись теперь дверь, он и тогда, кажется, не вернулся бы.

Он шел, опустив голову, смотря себе под ноги, но не обращая внимания, куда идет, и машинально поворачивая из переулка в переулок. Пустынные и днем, эти переулки теперь были совсем безлюдны, и просыпавшаяся в окружавших их домиках жизнь начиналась пока еще внутри их стен и на дворах, не выходя наружу. Литта мягко ступал по толстому слою отяжелевшей от ночного тумана пыли, густо покрывавшей неровную мозаику лавы, сквозь щели которой и сквозь пыль пробивалась кое-где зеленая травка.

Вдруг он остановился и прислушался. До него ясно долетел протяжный, жалобный стон.

Литта огляделся. С правой стороны от него возвышалась отвесная, гладкая, неказистая, с неправильно расположенными кое-где окошками, стена. По ее величине сразу было видно, что это — задняя сторона какого-нибудь палаццо, выходящего своим противоположным разукрашенным фасадом на Толедскую улицу.

Стон повторился еще явственнее, и на этот раз послышался он откуда-то снизу, словно из-под земли.

Литта нагнулся. Почти у самых его ног, внизу цоколя большой стены виднелось несколько окон подвального этажа, обыкновенно отдаваемого в Неаполе купцам под склады или под кофейни и съестные лавки.

Заглянув в окошко (в нем была одна только железная решетка без рамы), Литта увидел в полумраке совсем пустого подвала, нежилого, в углу, под каменным сводом кучу соломы, на которой слабо копошилось что-то живое. Это «живое» был человек. Он лежал, кажется, на спине, придерживая рукою живот, и стеная говорил что-то, словно звал на совсем непонятном для Литты языке.

Литта поднялся от окна и огляделся, не было ли входа где-нибудь. Большие ворота вели, очевидно, во двор. Литта подошел к ним. Они не были заперты. Он вошел. На огромном дворе, у открытого сарая, были экипажи. Какая-то женщина в другом углу вешала белье на веревку. Но на Литту, кажется, никто не обратил внимания, и он, осмотревшись, сам нашел то, что ему было нужно: дверь в подвал с вырытою в земле и обложенною лавою, с забитыми колышками лестницею была налево, почти у самых ворот.

Литта направился к ней и, отодвинув засов, на котором не было замка, спустился в сырой и темный коридор подвала.

Стоны слышались все сильнее. Он шел на них.

Человек лежал все в том же положении, в каком Литта увидел его в окно. На нем была синяя рубашка и его голые ноги были прикрыты овчиной. Лицо у него сильно распухло, отекло, вокруг глаз виднелись черные круги, особенно казавшиеся страшными. Он испуганно, недоверчиво, но вместе с тем умоляюще-жалостливо смотрел на неожиданного посетителя, низко нагнувшегося над ним, и продолжал что-то говорить на своем непонятном языке. Толстый нос его распухшего лица и в особенности русая борода резко отличались от типа, который привык видеть Литта у себя в Италии.

— Расстегни рубашку, я осмотрю тебя,— приказал Литта больному.

Тот зашевелил чего-то губами и не двинулся, очевидно, не поняв того, что ему говорили.

Литта повторил свои слова по-немецки. Больной опять не понял.

Тогда Литта сам открыл ворот его рубашки, попробовал пульс и приложил руку к голове. На груди больного чернели зловещие большие пятна. Он все прижимал рукой живот, показывая, что тут у него болит больше всего.

Литта опустился на одно колено, положив ему опять на голову руку, и, не двигаясь, стал смотреть ему прямо в зрачки. Его черные, блестящие глаза вдруг получили совсем стальной оттенок; рука, которую он держал на голове больного, слегка затряслась, но глаза смотрели еще живее, и еще ярче стал блеск их.

— Водицы бы испить! — проговорил больной.

Литта опять не понял этих слов, произнесенных на чуждом ему языке. Он оглядел больного еще раз и быстро вышел в коридор, направляясь к двери.

Не успел он дойти еще до нее, как сзади, из темного угла, проскользнул в подвал, где лежал больной, другой человек.

— Слышь, Митрий! — шепотом заговорил он.— Ты жив, что ли?

— Жив! — ответил больной.

— Кто ж это был у тебя?

— Добрый человек был.

— Ишь, ведь иностранец, а тоже жалеет... душу имеет человеческую!..

— И что он сделал со мной... и вовсе не знаю,— заговорил опять больной,— но только теперь мне вдруг, братец ты мой, так полегчало, так полегчало!..— и больной с улыбкой закрыл глаза и замолк.— Кузьма, а Кузьма! Ты здесь? — спросил он, не открывая глаз, через некоторое время.

— Здесь.

— Водицы бы испить мне!.. А ты-то как попал? встретились вы, что ли?

Кузьма поднес больному кружку и заговорил:

— Иду я к тебе крадучись и вдруг вижу — тальянец; я и притаился в уголку... А, може, он и дохтур.

Дмитрий опять вздохнул.

Когда Литта вышел из подвала на лесенку, на дворе его уже ждал толстый, бритый неаполитанец в красном жилете и обшитом галунами камзоле. Очевидно, приход Литты был замечен, и о нем сообщили кому следует.

Литта с неудовольствием, почти враждебно взглянул на этого толстого человека, тоже весьма неласково смотревшего на него, и, отбросив слегка плащ, показал ему свой мальтийский крест на груди.

Выражение у обладателя красного жилета сейчас же изменилось.

— Эчеленца,— заговорил он, потирая руки, приятно улыбаясь и кланяясь,— я пришел собственно узнать, что угодно эчеленце?

— Я вижу, мой любезный подеста, что вы очень любопытны,— перебил его Литта, сдвигая брови.

— Но я же должен буду доложить графу, что эчеленца посетили его палаццо,— продолжал подеста, пожимая плечами и весь дергаясь от желания казаться очень учтивым.

— Какому графу? — спросил Литта.

— Графу Скавронскому.

— А! Этот палаццо принадлежит графу Скавронскому?

— Да, эчеленца, послу ее величества государыни Русской империи,— с важностью произнес подеста.

— Так, значит, этот несчастный больной — русский,— спросил опять Литта, показывая головою на погреб, откуда только что вышел.

Подеста, как мячик, отпрянул от него и, с ужасом отступая еще дальше, проговорил:

— Эчеленца были у больного?

Литта кивнул головою.

— Но ведь у него оспа, черная оспа! — сильно вытягивая губы и чуть выговаривая слова, как бы боясь, что болезнь пристанет к нему от одного ее названия, произнес подеста, сжимая руки и подгибая колена.

— Я это знаю лучше вас,— спокойно ответил Литта и, запахнув свой плащ, направился к воротам.— Я вернусь сейчас с лекарствами,— добавил он, оборачиваясь,— может быть, можно еще сделать что-нибудь. Да не бойтесь заразы, я приму нужные меры.

IX
ГРАФИНЯ СКАВРОНСКАЯ

Изо всех многочисленных комнат своего палаццо графиня Екатерина Васильевна Скавронская выбрала одну только небольшую гостиную, выходившую окнами в тенистый сад. Здесь стояла ее любимая кушетка, на которой она проводила полулежа целые дни, одетая в легкий, свободный батистовый шлюмпер и прикрытая собольей шубкой.

Старушка няня со своим чулком сидела обыкновенно в ногах у нее и по целым часам рассказывала те самые сказки, которыми тешила ее в далеком детстве.

Другою собеседницею молодой Скавронской бывала госпожа Лебрен, знаменитая портретистка, познакомившаяся с нею в Неаполе и подружившаяся.

— Так вот, Катюша,— рассказывала няня,— проходит это он мимо нашего дома и слышит, как Дмитрий стонет в подвале. Остановился это он и прислушался... зашел... На Дмитрия-то все рукой махнули и совсем «собрали» уж его... Тогда у нас переполох было начался, от тебя-то скрыли, а граф хотел уже из дворца-то вашего уезжать. Неровен час, заразища-то, знаешь, как хватит, так ведь беда — ты понять это не можешь. В Питербурхе навидалась я раз, как и выздоровел один, да глаза у него лопнули.

— Ну, да! А что ж он-то? — перебила графиня, потягиваясь и закидывая свои красивые, тонкие руки за голову.

— Да что! Посмотрел, говорит: «Может, Бог даст, помочь можно,— так и сказал «Бог даст». «Я,— говорит,— приду с лекарствами»,— и пришел... А к Дмитрию-то тайком конюх Кузьма бегал; так Кузьму-то он научил, что делать. Своего платка не пожалел, намочил и велел к голове прикладывать... это Дмитрию-то.

— Да уж если себя не пожалел,— улыбнулась Скавронская,— так что ж платок...

— Ну, как же! — протянула няня,— все-таки батистовый, почитай... И представь ты себе, Дмитрий-то оправляться стал... Он говорит, что мы, может, его тем-то и спасли, что в подвал прохладный положили... «Бог помог,— говорит,— а не я». Дмитрий-то теперь опять человеком стал... «И заразы,— говорит,— вы не бойтесь, потому что я все окурю»,— и окурил, а что следовало — уничтожил.

Няня замолчала, застучав своими спицами, а графиня задумалась, все продолжая держать за головою руки и остановившись глазами пред собою, видимо, не глядя на то, на что смотрела. Ее спокойное, с тонким, мягко очерченным профилем личико, на которое она, вопреки моде, никогда не клала румян и белил, было действительно нежно, отливая слегка бледным молочным матом, оттенявшим робкий, мягкий румянец на щеках. Золотистые, белокурые волосы, которых тоже никогда не касалась пудра, вьющимися волнами лежали назад. Полуоткрытые маленькие губы, когда она улыбалась, показывали два ряда ровных белых зубов [1].

---

[1] О замечательной красоте графини Скавронской сохранилось свидетельство не только г-жи Лебрен, которая в своих записках говорит, что она была «хороша, как ангел», но и других лиц,— между прочим графа Сегюра. Державин воспел ее под именем «Пирры».

— Посмотрю я на тебя, Катюша,— начала опять няня, взглядывая на графиню и выправляя нитку,— такая ты у меня красавица, и так твоя красота пропадом пропадает — даром совсем... Ну что это — и наряды есть, вот и посейчас не разобраны стоят, и драгоценности разные, ожерелья, браслеты... все есть. Хоть бы в Вилыврали[1], что ли, пошла — там, говорят, так хорошо... и народ, и все... А то что ж сидеть-то так!

Графиня, по-прежнему улыбаясь, смотрела на старуху, слушая ее вечные сетования.

— Полно, няня, ну что я туда пойду? Зачем? — повторила она всегдашний свой ответ и, повернувшись на бок, потянула на плечо свою шубку, а затем спросила: — Что, граф еще не вернулся?

— Вернулся, вернулся, мой друг,— послышалось в ответ в дверях, и граф Павел Мартынович плавною, балансирующею походкой, на цыпочках, подлетел к жене, нагнулся и поцеловал ее розовый локоть.

— Ты где был?

— На Вилла-Реале,— заговорил граф, жестикулируя (он перенял эту привычку от итальянцев).— Ах, как там хорошо! Все новости, все сейчас узнаешь... Послушай, Катрин, когда я наконец добьюсь того, что мы поедем вместе... куда-нибудь?..

— Ты — точно вот няня,— перебила Скавронская и показала на старуху.

— Ах, няня!.. здравствуй! — обратился к ней граф.

O, donna amata! O, tu che fui dura
E la speme, cacciai di mianatura! [2]

пропел он речитативом стихи собственного сочинения для либретто одной из своих опер.

Няня при слове «dura» сердито покосилась на него и проворчала:

— Ну, уж вы всегда, ваше сиятельство!..

— Нет, кроме шуток, Катрин,— снова обратился граф к жене,— ты знаешь, я из верного источника узнал, что говорят, будто я держу взаперти... Представь себе!.. Это я-то, я!.. Ну, скажи, разве я похож на северного варвара, а? — и Скавронский рассмеялся.

---

[1] Вилла-Реале.
[2] О, любимая женщина! О, ты, которая была неприступною
И изгнала надежду из моей груди! *(ит.)*

Графиня продолжала лежать серьезною.

— Ах, не все ли мне равно, что говорят! — сказала она и отвернулась.

— Да, но согласись сама, что положение посла наконец обязывает,— начал было Павел Мартынович, но запутался, щелкнул языком и снова пропел фальшиво: — О, donna ama-ata...

— А петь так положение посла позволяет? — спросила Скавронская.

Граф прищурился и поджал губы.

— Ну, ничего, дома можно, а? Ведь можно?.. И к тому же я потихо-о-оньку...

— Полно... при няне! — остановила его жена по-французски.

— Ах! То при няне, то без няни! — полураздраженно заговорил он.— Ну, что ж это, и спеть нельзя! Нет, знать, это у тебя от «капризов», как называют это французы... Просто оттого, что ты одна постоянно... Вот и все. Послушай, Катрин, голубушка,— вдруг приступил он к жене, складывая руки и почти на колена сползая с маленького кресла.— Послушай, ну, познакомься ты хоть с кем-нибудь... Ну, позови кого хочешь... Я со дна морского достану, кажется.

Графиня долго молчала, а потом вдруг обернулась к мужу и тихо проговорила:

— Познакомь меня с графом Литтою!

X

ГРАФ ПАВЕЛ МАРТЫНОВИЧ

Граф Скавронский вышел от жены задумчивый и серьезный.

— Позовите ко мне Гурьева, Дмитрия Александровича,— приказал он мимоходом лакею, попавшемуся ему на дороге, и, миновав длинный ряд роскошно разукрашенных комнат и зал великолепного палаццо, направился в свой кабинет.

Этот кабинет — просторная комната, обставленная кругом дорогими шкафами с книгами,— носил характер тех кабинетов, какие обыкновенно бывают только у очень богатых людей и в которых, несмотря на то, что там кажется все придуманным и приспособленным — каждый столик, даже винтик — для занятий, менее всего занимаются серьезным делом. Тут было все: и фигурные бронзовые чер-

нильницы, из которых неловко писать при настоящей деловой работе; и покойные большие кресла с выдвинутыми столиками, очень удобные для дремоты после обеда, но никак не для чтения; и столы, заваленные планами, бумагами и картами, значение которых смутно понимал сам хозяин; и книги в слишком красивых и тяжелых переплетах, чтобы пользоваться ими часто.

Скавронский сел к широкому круглому письменному столу и начал было бегло просматривать попавшиеся ему под руку бумаги, но вскоре оставил это занятие.

Было очень жарко. Павел Мартынович несколько раз вытер себе лоб платком. Он попробовал потом снова и с усилием приняться за бумаги, но махнул рукою, широко зевнул и стал задумчиво смотреть в окно, подперев голову рукою и опершись на локоть.

Маленькая дверь за шкафом скрипнула, и в комнату тихо и скромно вошел средних лет человек с умными, строгими чертами лица и, потирая руки, не спеша, словно отлично зная себе цену, приблизился к столу.

— Дмитрий Александрович,— заговорил Скавронский,— что же вы! я вас жду, жду... у меня дело к вам есть, а вы не приходите.

Гурьев равнодушно улыбался и, по-прежнему не спеша, опустился на стул по другую сторону стола.

— Дело, так дело... посмотрим, в чем оно! — ответил он.

Скавронский несколько раз повернулся на своем месте, собираясь говорить:

— Вот видите ли... я сейчас от графини...

Дмитрий Александрович кивнул головою.

— Она ужасно скучает,— продолжал Скавронский.— Согласитесь, что не может же она оставаться так навсегда без общества... это немыслимо, и притом такое ее одиночество создает мне репутацию северного варвара, дает почву слухам о том, что будто я ее держу взаперти... Согласитесь, это невозможно... Мое положение посла...

Гурьев закивал головою с выражением, что он-де совсем согласен с графом, тем более, что знает уже заранее все то, что тот хочет сейчас сказать ему.

— Ну да, и что же вы хотите сделать? — спросил он Скавронского.

Тот пожал плечами.

— Я думаю, если у нее нет общества, то нужно познакомить ее с кем-нибудь... Ведь нельзя же оставлять ее постоянно с няней да с этой француженкой Лебрен. Поло-

жим, мадам Лебрен — вполне достойная женщина, но положение мое как посла...

— Ну и прекрасно! — снова перебил Гурьев.— Значит, и представьте графине сначала часть неаполитанского общества, потом еще, и так перезнакомьте ее со всеми.

Скавронский, хитро прищурясь, как будто вот тут-то он и поймал Дмитрия Александровича, закачал головою и помахал пальцем:

— Нет-с, этого-то она и не желает. Если бы дело только в этом заключалось!.. Нет, Дмитрий Александрович, тут вот и вопрос.

— Какой же вопрос? Что же угодно графине?

— Я думаю, что графиня не знает сама, что ей угодно; все это — капризы, происходящие от уединения. У нас тут был больной конюх Дмитрий. Его вылечил командир мальтийского корвета Литта...

— Знаю,— опять кивнул головою Гурьев.

— Ну, так вот ей хочется познакомиться с этим Литтою. А сам я не знаком с ним... как нарочно, мы не встретились нигде, да в последнее время его кстати совсем нигде и не видно... и кроме того, насколько я знаю, корвет не сегодня завтра уйдет в море...

— Да просто поезжайте к нему на корвет поблагодарить за то, что он вылечил вашего слугу. Он должен будет тогда приехать к вам.

— Ах, Дмитрий Александрович,— снова перебил Скавронский, как бы обрадовавшись, что имеет уже готовое возражение теперь против слов Гурьева, что вообще редко случалось с ним.— Вы говорите — поехать. Но как же я поеду, когда граф Литта не заблагорассудил пожаловать ко мне на мой зов? Когда он случайно, как мне рассказывали, вошел в подвал к Дмитрию, подеста встретил его и узнал, кто он; потом, когда Дмитрий выздоровел, я велел подеста пригласить графа Литту ко мне, и он велел благодарить, но не показывался ни разу в моем палаццо. Как же теперь я поеду? Согласитесь, что мое положение посла...

И Скавронский заговорил про свое положение посла пространно и подробно, потому что сидевший теперь молча Гурьев смотрел, поджав губы, мимо графа в окно и, медленно покачивая ногою, не перебивал его.

— Ну, так, значит, пусть этот граф Литта уезжает — и вы представьте кого-нибудь другого на его место... мало ли народа в Неаполе? — проговорил наконец Дмитрий

Александрович, вспомнив, что нужно же было ответить Скавронскому.

Он в эту минуту думал совсем о другом и совсем было забыл о тех пустяках, о которых беспокоился теперь Скавронский, воображавший, что это — серьезное дело.

— И не думайте! — воскликнул тот.— Нет, графиня желает познакомиться именно с Литтою. К тому же я дал слово... я дал слово достать ей кого она пожелает, хоть со дна моря, а теперь, как видите, не могу получить Литту с поверхности залива, где качается его «Пелегрино»! — и довольный своим «jeu de mots» [1], граф откинулся на спинку кресла и рассмеялся.— Так вот видите,— заговорил он опять, снова становясь серьезным,— я дал слово и должен сдержать его, понимаете, должен... во что бы то ни стало...

Гурьев отмахнулся рукою, как от неотвязчивой мухи.

— Ну хорошо,— сказал он наконец,— если вы непременно хотите, я проеду к этому Литте. У России есть сношения с Мальтийским орденом. Я к нему поеду будто по делу. Еще в шестьдесят четвертом году, если не ошибаюсь, государыня писала нашему посланнику в Вене Голицыну о вызове охотников из мальтийских рыцарей на службу в русском флоте; можно хоть к этому придраться.

— Ну, вот видите ли, как это хорошо! — радостно заговорил Скавронский.— Так, голубчик Дмитрий Александрович, поезжайте сегодня же... поскорее... Ведь вы понимаете, не дай я слово...

И граф Скавронский долго еще уговаривал Гурьева непременно поехать поскорее, хотя тот и без того сам же первый выразил свою готовность и видимо весьма желал сделать графу приятное.

XI

БЕРЕГ ИЛИ МОРЕ

Поездка Гурьева к Литте увенчалась полным успехом. Дмитрий Александрович сумел поговорить с мальтийским рыцарем и действительно нашел уважительную причину для начала сношений его с русским посольством в Неаполе. Литта на другой же день обещал приехать к Скавронскому.

---

[1] Игра слов *(фр.)*.

«Пелегрино» был совсем готов к плаванию; провизия, вода взяты, исправления все окончены, оставалось лишь ждать попутного ветра, и Энцио, придя к командиру, получил приказание быть каждую минуту готовому со всем экипажем, чтобы пуститься в путь.

Отплывая на шлюпке на берег, чтобы отправиться, как было условлено с Гурьевым, в палаццо русского посланника, Литта был в полной уверенности, что он в последний раз в этот приезд в Неаполь сходит со своего корвета. И только благодаря этой уверенности он снова надел свой узкий парадный кафтан и тяжелую шляпу с перьями.

На Спиаджии-ди-Кияйя, куда пристала шлюпочка Литты, его ждали золоченые носилки русского посольства, которые скоро и покойно доставили его до палаццо графа Скавронского.

Сам граф Павел Мартынович встретил мальтийского рыцаря на лестнице и провел его в свой кабинет, где дожидался их Гурьев. Но они делом не занялись.

— По русскому обычаю, граф,— заговорил Скавронский,— прежде дела позвольте пригласить вас прямо в столовую, запросто, как дорогого гостя.

— Мне некогда,— попробовал было возразить Литта,— я с минуты на минуту жду поднять паруса и потому должен вернуться на корвет как можно скорее.

Но Скавронский замахал на него руками, заговорил, запросил и, снова сославшись на обычай, сказал, что ни за что не отпустит гостя и не станет вступать с ним в деловой разговор, не покормив его предварительно.

Толстый, знакомый уже Литте подеста появился в это время у двери и с важным поклоном заявил, что «кушать подано», Скавронский схватил Литту под руку и почти насильно повел его в столовую.

Они проходили комнату за комнатой, одну лучше другой, то обитую штофом, то покрытую белоснежным мрамором с бронзовыми украшениями, то сплошь увешанную дорогими венецианскими зеркалами или картинами лучших мастеров. У каждой притолоки стояло по два напудренных лакея в богатых ливреях, расшитых галунами. Они методично, как автоматы, широко распахивали двери, с поклоном пропуская господ.

Литта, по первому взгляду на Скавронского пожалевший было, что приехал сюда, теперь невольно ощущал некоторое неудовольствие от впечатления окружавшей его роско-

ши. Эта роскошь, в которой жил русский вельможа, не могла не поразить даже его, выросшего на паркете богатейших дворцов Милана.

Столовая, куда ввел Скавронский своего гостя, была вся заставлена цветами и растениями, и все стены ее были покрыты полками с массивною золотою и серебряною посудой. Круглый стол, тесно уставленный серебром, фарфором и хрусталем, был накрыт на четыре прибора.

Почти в то же самое время, как граф Павел Мартынович, Литта и Гурьев входили в столовую с одной стороны, дверь на противоположном конце отворилась, и в ней показалась графиня Скавронская, против своего обыкновения пышно разодетая, такая, какою муж уже давно не видел ее.

При первом же взгляде на графиню Литта должен был сам себе сознаться, что все слышанное им про красоту Скавронской было не только истинною правдой, но что графиня на самом деле была еще лучше, чем говорили про нее.

Граф Павел Мартынович с самодовольною, торжествующею улыбкой познакомил своего гостя с женою, как бы говоря ей этою улыбкой: «Вот видишь, мой друг, я обещал и исполнил свое обещание».

Странное дело: граф Литта, сколько раз уже на своем веку видавший близко опасность и на море, и в перестрелке, и в рукопашной схватке с алжирцами и никогда не робевший пред смертью, с которою судьба часто ставила его лицом к лицу, почувствовал с первой же минуты какое-то особенное, похожее на смущение, чувство пред этою красавицей далекого, холодного севера. Он ощущал совершенно особенную неловкость и когда здоровался с нею, и когда сел за стол и, расправив салфетку, заложил ее конец за верхнюю пуговицу своего камзола... Его глаза опустились, он потупился и, сердясь на самого себя, готов был в один миг даже покраснеть, как мальчик, но сделал над собою усилие и пришел в себя.

Он не мог знать, что в это время лицо его как раз выражало совсем противоположное, и он казался не только спокойным, но даже равнодушным, холодным, и эта холодность его заставила слегка, в свою очередь, робеть и хозяев, и Гурьева.

Заговорил первым Скавронский:

— Вы слышали, граф, что делается во Франции? Представьте себе, кардинал де Роган...

— Графу, по всей вероятности, известна история с оже-

рельем,— подхватил перебивая Гурьев, видимо, из боязни, чтобы Скавронский не рассказал чего-нибудь лишнего.

Литта ответил, что знает об этой истории.

— Я, собственно, виню до некоторой степени королеву Марию Антуанетту,— продолжал Скавронский.— Знаете, я бы так, разумеется, не сказал этого... но между своими — ничего, можно.

Он снова хотел пуститься в рассуждения, и снова Гурьев перебил его и замял разговор.

Графиня несколько раз взглядывала на мужа и тоже заметно была готова прийти на помощь ему, если бы один Гурьев не управился. Но тот, впрочем, очень ловко выводил каждый раз графа на настоящую дорогу.

Скавронский не замечал этого, ел очень много, разговаривал больше всех, часто смеялся и большею частью невпопад.

Литте вдруг стали ясны с первого же знакомства со Скавронскими все их семейное положение и роль, которую играет тут сам богач граф, и почему его жена никуда с ним не показывается. Он не мог не видеть, как она страдала при каждом неловком слове мужа, как силилась скрыть свою досаду и как старалась загладить впечатление, производимое им. Литта понял, что она не только красива, но и умна, и еще внимательнее взглянул на нее.

Графиня случайно поймала этот устремленный на нее взгляд его и внезапно потупилась, и легкая краска покрыла ее лицо.

Первую женщину встретил теперь Литта, в присутствии которой казался себе совсем другим человеком, и она словно была совсем не похожа на других.

«Нет, решено,— думал он, глядя на графиню,— вздор, пустяки... Завтра, если только будет попутный ветер, мы выходим в море».

Завтрак продолжался очень долго. Павел Мартынович был радушный хозяин и угощал и потчевал Литту как умел и чем мог. Тот ел немного, но время для него прошло очень скоро, и, когда наконец они встали из-за стола, он не только уже не жалел, что сдался на приглашение Скавронского, но, напротив, ему было жаль, что завтрак кончился и он должен уйти и оставить общество молодой графини.

Вернувшись на корвет, Литта был весел и счастлив, точно его наградили или обрадовали чем-нибудь.

«Что за вздор! — решил он было, однако тут же мысленно прибавил: — А ведь очень хороша... очень... И доста-

лось же этакое счастье этому русскому синьору... Ну, впрочем, и дай Бог ему!»

Литта прошел прямо к себе в каюту, чтобы переодеться.

Через полчаса к двери его каюты подошел Энцио и постучался.

— Кто там? — послышался голос Литты из-за двери.

— Эчеленца, все готово и удобный Tramontana[1] начинает ласкать наши паруса,— веселым голосом проговорил Энцио.— Прикажете сниматься?

Энцио замолк в ожидании ответа, но Литта ответил не скоро. Слышно было, как он сделал несколько шагов к двери, потом назад, потом снова все стихло, наконец его звучный голос проговорил:

— Закрепите якорь — мы не идем сегодня в море.

XII

КАРНАВАЛ

Прошло две недели. Время веселого карнавала уже наступило, а «Пелегрино» все еще стоял на месте и не развевал своих парусов, хотя попутный ветер несколько раз подымался, и Энцио приходил к командиру спрашивать его приказаний; но Литта откладывал со дня на день отплытие и, каждый день съезжая на берег в шлюпке, проводил там большую часть времени.

Этой неожиданной перемены в своем командире не мог не заметить и экипаж судна; среди матросов пошли тихие разговоры и догадки, почему и зачем граф Литта вдруг пристрастился так к берегу.

Энцио своим старческим опытом уже предугадывал причину этого; он несколько раз тоже побывал на берегу и, не встретив нигде Литты — ни на Вилла-Реале, ни в театре, ни в другом каком-нибудь общественном месте,— еще более убедился в справедливости своего предположения. Теперь, казалось ему, командир был в его руках — оставалось лишь проследить, чьи прекрасные глаза обладают такою магнитною силой, которая способна парализовать движение целого корвета.

Карнавал гремел всем своим шумом, песнями и гамом по улицам Неаполя. Веселые импровизаторы, взобравшись на возвышение — на какую-нибудь бочку, стол и опрокину-

---

[1] Северный ветер (*ит.*).

тый ящик,— потешали публику своими рассказами; чарлатани[1] громче обыкновенного кричали на рынках, простой народ забавлялся играми, бросал шары и тешился несложною ла-морра[2]. Тамбурины и гитары звучали своею однообразною, но веселою музыкой, и под эту музыку вертелась и прыгала традиционная тарантелла, в которой в минуту разгула вдруг неистово отводит душу ленивый итальянец. Смешные и забавные маски, арлекины, пьеро мелькали по улицам, заговаривали друг с другом и пели игривые песни карнавалу, то есть прощанию с мясом.

Энцио с утра отпросился на берег под предлогом поглазеть на праздник.

Явившись в город, он в первой попавшейся лавчонке взял себе напрокат белый костюм пьеро и длинноносую маску и, нарядившись в этот костюм, так что узнать его не было возможности, направился снова к Спиаджи-ди-Киайя, куда обыкновенно приставали все моряки. Он знал, что и сегодня Литта по обыкновению причалит к берегу; и сегодня можно будет под прикрытием проследить, куда это ходит он, и кто держит молодого графа в Неаполе.

Энцио сел в тени раскидистого дерева на берегу, чтобы издали следить за приближением шлюпки с «Пелегрино».

Литта действительно не заставил себя долго ждать. Энцио сейчас же узнал небольшую шлюпку командира, спины двух налегавших на весла гребцов и самого Литту, задумчиво сидевшего на руле. Граф, разумеется, не был замаскирован. На нем было его обыкновенное одеяние рыцаря с белым крестом.

Шлюпка причалила к берегу. Литта легко выпрыгнул из нее и скорыми, свободными шагами, напевая себе под нос и почему-то улыбаясь, пошел в город.

Энцио выждал некоторое время и направился за ним.

Они скоро вошли в гудевшую толпу, но Энцио не отвечал на шутки и задиранья масок, сейчас же начавших приставать к пьеро, и внимательно следил за пробиравшимся пред ним сквозь толпу Литтою.

Граф шел, видимо, привычною, давно знакомою дорогою и не глядел по сторонам. На Толедской улице, несмотря на то, что здесь толпа была теснее, он ускорил шаг. Энцио следовал за ним по пятам.

---

[1] Уличные актеры, скоморохи.

[2] Особая игра, в которой один из игроков поднимает одну или обе руки с несколькими вытянутыми пальцами, а противник мгновенно должен сказать число поднятых пальцев.

Вдруг небольшая толпа масок загородила Литте дорогу. Маски отличались своими костюмами от остальных, и по этим костюмам можно было догадаться, что они принадлежат к высшему обществу.

Один из этой толпы, в фантастическом костюме турка, прямо остановился пред Литтою и, видимо, стараясь изменить свой природный голос на густой бас, проговорил:

— Граф Джулио Литта, остановись, ибо мы знаем, куда ты идешь.

— Синьоры Скавронской дома нет,— добавил кто-то сзади.

Энцио насторожил уши.

— Напрасно обивать пороги русского палаццо, когда у нас и своих красавиц довольно,— заметил со смехом еще один голос из толпы.

— Граф Джулио Литта, вылечи меня — у меня оспа! — пробасил снова турок.

Литта сразу догадался, с кем имеет дело. Очевидно, это были те самые молодые люди, которые давно воображали себя достойными внимания русской синьоры, и теперь, под прикрытием маски, желали почему-то сделать ему дебош. Он видел уже и понимал настроение этих господ, так и ждавших теперь случая пристать к нему, и старался лишь угадать, кто бы это мог быть.

И вдруг ему показалось, что Мельцони должен быть непременно среди них. Он скрестил руки на груди и, подняв голову, проговорил:

— Немудрено, что вы узнаете меня с непокрытым лицом; но если вы искали случая оскорбить меня, то по крайней мере откройте и свое лицо, чтобы я мог видеть, с кем имею дело. Синьор Мельцони, я вам говорю это,— добавил вдруг Литта, ни к кому, впрочем, не обращаясь особенно из толпы, которая остановила его.

Рука турка слегка дрогнула. По тому возбуждению, которым была охвачена эта толпа, и по тому, как вдруг вспыхнул Литта, Энцио не мог не заметить, что дело тут выходило гораздо серьезнее обыкновенного столкновения масок во время карнавала.

— Тут нет синьора Мельцони,— проговорили опять сзади, но движение руки турка не ускользнуло от Литты.

— Синьор Мельцони, если вы скрываетесь, то вы — трус,— проговорил он ему.

Турок двинулся слегка вперед.

— Что? — запальчиво проговорил он, выдавая себя теперь и своим движением, и голосом.

Кругом заметили, что шутка начинает принимать размеры, переходящие границы благоразумия, и сейчас же заговорили в примирительном духе.

— Ну, что это! Ну, полноте! Ведь никто, не хотел оскорбить вас, граф,— раздался из-под одной маски успокоительный голос дюка ди Мирамаре.— Ну, что же вы?..

Мельцони снял маску и сказал Литте:

— Если вы считаете себя оскорбленным, то я к вашим услугам, когда угодно.

Граф холодно поклонился.

— Да полноте же, господа! — проговорил опять ди Мирамаре, но Литта спокойно раздвинул толпу и, сказав Мельцони, что об условиях пришлет переговорить с ним своих секундантов, направился к палаццо русского посланника.

Толпа замаскированных молодых людей осталась как бы в недоумении. Они вовсе не ожидали, что выйдет такая история. Они просто, случайно встретив Литту почти у самого дворца Скавронского, хотели пошутить, посмеяться, вовсе не думая, что заденут слишком за живое графа и что тот сделает вызов.

Один только Мельцони, казалось, был очень доволен всем случившимся и нисколько не сожалел, что все так вышло.

Впрочем, дуэль и для него, и для остальных молодых людей была слишком обыкновенным эпизодом, чтобы чересчур волноваться из-за нее; но все-таки в данном случае нельзя было не сознаться, что почти не было никакой видимой причины для поединка. Правда, многие знали, что Мельцони всегда охотно заговаривает о красивой русской синьоре и много раз искал даже случая познакомиться с нею, хотя безуспешно, и что, с тех пор, как Литта стал бывать у Скавронских, он начал относиться к графу с недружелюбною завистью. А этого было слишком достаточно, чтобы малейшее столкновение перешло в открытую вражду... И ввиду этой, понятной теперь всем, скрытой причины никто не пытался заводить речь о примирении.

Энцио слышал все от слова до слова и понял, из-за кого состоится дуэль. Он видел также, куда теперь отправился Литта.

Мельцони, как ни в чем не бывало, надел свою маску и, стараясь казаться особенно оживленным, чтобы показать, что только что случившееся маленькое происшествие отнюдь не должно смущать его спутников или нарушать

общее веселье, пригласил их идти вперед, указав на какую-то маску, ласково поглядывавшую на них.

Энцио пошел за ними.

В конце Толедской улицы он ближе протерся к молодым людям и незаметно для других тронул за руку Мельцони. Тот невольно обернулся.

— Синьор,— шепотом проговорил Энцио, стараясь изменить свой голос,— на два слова.

Мельцони удивленно посмотрел на этого большого белого пьеро в носатой маске, остановившего его довольно бесцеремонно, и спросил:

— Что тебе нужно?

— На два слова, синьор... вы не будете раскаиваться в том, что поговорите со мною,— и, шепнув затем: — Паперть Сан-Дженарро — я буду ждать.— Энцио, боясь быть замеченным остальными молодыми людьми, смешался с толпою...

Этот таинственный шепот носастого пьеро заинтересовал Мельцони. Не разбирая и не силясь разгадать, кто бы это мог быть — посланный ли по какому-нибудь любовному приключению, или мазурик, рассчитывавший завлечь его в западню (в Неаполе это бывало не в редкость), или же просто шутник, пожелавший заставить его прогуляться понапрасну до собора Сан-Дженарро,— он, сказав остальным, что встретится с ними в их обычном казино, отправился-таки на паперть Сан-Дженарро.

Там ждал его Энцио, одетый по-прежнему в свой костюм и замаскированный.

— Ну, говори!.. Только скорее, мне некогда,— сказал ему Мельцони.— В чем дело?

— Одна секунда, синьор, все очень просто... У синьора будет поединок.

Мельцони поморщился. Ему неприятно было, что этот человек из толпы, вероятно, видел его столкновение с Литтою.

— Синьор, конечно, очень ненавидит графа Литту,— продолжал между тем Энцио.

— Почему ты это знаешь и что тебе за дело? — перебил его Мельцони.

— О, синьора русская очень хороша собою!

Энцио видел, как блеснули при этих его словах глаза Мельцони под маскою.

— Ну, так что ж тебе нужно? — снова спросил тот, помолчав.

— Того же, что и вам: я был бы очень рад, если бы

граф Литта...— и Энцио щелкнул языком и мотнул головою.

— Ну, и желаю тебе удачи! — произнес Мельцони.

— Черт возьми, синьор, у вас под чалмою есть же голова и в ней мозги — пошевелите ими,— повторил Энцио старую итальянскую поговорку.— Дело в том, что граф Литта отлично дерется на шпагах... Против его удара никто не устоит...

Мельцони слушал теперь не перебивая.

— Я бы желал сообщить синьору средство,— продолжал Энцио,— верное средство... как оградиться «навсегда» от этого удара графа Литты.

— Та-ак! — протянул Мельцони.— Ну, теперь я знаю, зачем ты меня позвал... Это, брат,— старая штука...

И, решив, что имеет дело с ловким проходимцем, случайно присутствовавшим в толпе при сделанном Литтою вызове и желающим получить теперь несколько золотых за сообщение какого-нибудь вздорного талисмана или магического слова, Мельцони повернулся и хотел спуститься с паперти.

Энцио схватил его за рукав и торопливым шепотом заговорил над самым его ухом:

— Синьор, синьор, мне не надо денег, мне никаких денег не надо... Что вы, клянусь вам Мадонной... вы только выслушайте меня... пусть святая Лучия будет свидетельницей.

Мельцони остановился.

— Слушайте, синьор,— зашептал опять Энцио,— вы мне только сообщите час, когда будет ваша дуэль,— мы после условимся, как,— и графу Литте будут даны хорошие капли; эти капли не смертельны, но они произведут хорошее действие. Как только кровь его разгорячится борьбою, так они подействуют — он ослабнет... Вы только ждите этой минуты и все старание употребите на защиту, а как только увидите его слабость — делайте выпад. А чтобы удар был верный и достаточно было малейшей царапины — для вашей шпаги мы достанем несколько капель настоящего индийского кураре... Вы, конечно, знаете силу этого яда? Нет?

И Энцио стал рассказывать о замечательных свойствах индийского яда, в котором достаточно помочить кончик иглы, чтобы она в течение пяти лет сохранила смертельное действие яда в случае укола.

Мельцони слушал пьеро, наклонив голову. А вокруг попрежнему шумела пестрая, неугомонная, непрестанно двигавшаяся, веселая толпа карнавала.

XIII

ПОЕДИНОК

Место дуэли было назначено за городом, в роще у подножия Везувия, рано утром. В случае неблагополучного исхода решено было, как это, впрочем, обыкновенно водилось, свалить все дело на разбойников, проделки которых были далеко не в редкость и борьба с которыми оказывалась для власти далеко не равною. Сплошь и рядом находили в горах печальные последствия их промысла.

Литта приехал верхом со своими секундантами на место поединка раньше своего противника. Он казался совсем спокоен и даже весел — как будто ему не предстояло ничего особенного сегодня и все, что должно было произойти сейчас на небольшой полянке, которую они выбрали в стороне от дороги, вовсе не касалось его.

Утро было прекрасное, теплое. Литта отлично выспался сегодня ночью, лошадь ему попалась покойная, и он с большим удовольствием проехался от города до рощи, ощущая то особенное, бодрящее чувство, которое всегда испытывает сильный и здоровый человек свежим, ранним утром.

Соскочив с седла, он невольно заметил, что отвык, должно быть, от верховой езды и ноги его не то что устали, но он продолжал чувствовать ими, будто все еще сидит на лошади. Он рад был, что приехал первым и что у него есть время пройтись немного и размять слегка свои ноги.

— Утро-то какое, граф! — весело сказал ему один из секундантов, тоже слезая с лошади и привязывая ее к дереву.— Ну, однако синьор Мельцони не торопится,— добавил он, подходя к Литте.

Тот весело взглянул на него и улыбнулся, открыв ряд своих ровных и белых зубов, как бы невольно спрашивая: «А, вы об этом?..» — и, ничего не ответив, прошел вперед.

Литта был так равнодушен теперь и к Мельцони, и к своему столкновению с ним, что даже вечером ни разу не подумал серьезно о дуэли и не полюбопытствовал справиться в своем гороскопе о вероятном исходе ее.

Он все последнее время находился в каком-то особенном настроении веселости и необычайного подъема духа, молодцеватости и удали. Сегодня, вероятно, под влиянием свежего утра, приятной поездки и шутливого разговора, который он поддерживал всю дорогу с секундантом, настроение это усилилось еще заметнее. Птицы весело чири-

кали, яркая зелень ласкала глаз, и воздух, чистый и здоровый, заставлял дышать полною грудью.

Второй секундант Литты остался у дороги и, наморщив лоб и приставляя ко лбу руку, силился разглядеть, когда покажется наконец Мельцони со своими секундантами.

— Едут, едут! — наконец проговорил он и махнул шляпой Литте, который продолжал ходить по полянке, опустив голову и внимательно смотря себе под ноги.

Мельцони подскакал широким галопом с дюком ди Мирамаре и с гвардейским офицером, которого Литта встречал на Вилла-Реале. Они видимо торопились. Мельцони был слегка взволнован. Лицо его отдавало непривычною желтизной и глаза светились немного странным, несвойственным ,им блеском. Они поспешно соскочили с лошадей и быстрыми шагами, ведя их в поводу, приблизились к полянке. Дюк ди Мирамаре учтиво, как к даме во время танцев, подошел к секундантам Литты. Гвардейский офицер стал привязывать лошадей.

Литта стоял на середине полянки, и в эту минуту ему хотелось лишь одного: хорошенько вытянуться, выправить свои руки; но он невольно сдержал себя, потому что дюк слишком уж священнодействовал и, церемонно переговорив с его секундантами, направился, плавно и бережно ступая своими тонкими ножками, к Мельцони и стал, поклонившись, что-то объяснять ему.

Мельцони выслушал, кивнул головою и несколько неестественно, по-театральному, вышел на полянку и стал против Литты. Граф взглянул ему прямо в лицо. Мельцони скосил глаза на сторону и опустил веки, как бы избегая встретить взгляд противника. Он вынул свою шпагу и, отдав салют, встал «en garde» [1]. Мельцони сейчас же приложил, стукнув свой клинок по клинку противника. Дуэль началась.

Как только Литта увидел у себя пред глазами острый конец шпаги противника и двинул кистью руки, чтобы защититься от тьерса (Мельцони взял с этой стороны), он забыл и утро, и полянку, и секундантов, и самого Мельцони и весь сосредоточился на том, направленном на него, острие, не соображая, впрочем, что оно может быть опасно или смертельно, но единственно заботясь, как бы не сделать промаха, противного искусству, которым (он знал это) он владеет в совершенстве. Это чувство знатока свое-

---

[1] В фехтовании — позиция в состоянии боевой готовности *(фр.)*.

го дела и увлечения им всецело охватило Литту, и он, как художник в минуту вдохновения, почти бессознательно повел поединок, чисто отделывая удары, словно вырисовывая их.

Шпаги скрещивались и мелькали, как молния. Литта пробовал два раза сделать выпад, но Мельцони, видимо, тоже был внимателен и парировал каждый раз удар. Сам он не выпадал. Литта заметил, что он все свое старание направляет на то, чтобы защищаться.

«Утомить меня хочет,— мелькнуло у него,— ну что ж, пускай!»

И, по привычке угадывать инстинктивно намерения противника, он перестал выпадать и начал играть шпагою спокойно, чтобы как можно дольше сохранить свои силы и не дать застигнуть себя врасплох. По кисти своей руки и по звуку шпаг он чувствовал, что Мельцони тоже сберегает силы и оттягивает окончательный удар.

Эта манера, самая, впрочем, выгодная для более слабого бойца, но выдержанного, была знакома Литте, и он внутренне одобрил Мельцони, потому что видел, что тот слабее его самого и что самым лучшим для него было именно то, что он делал.

Секунданты, не двигаясь, словно застыли на своих местах, следя за боем. Они видели, как Литта два раза сделал выпад и Мельцони отпарировал удар и затем стал защищаться. Они видели тоже, что Литта понял тактику врага и перестал выпадать. Теперь дело шло о том, кто раньше устанет.

Но вдруг Литта, точно не выдержав, быстро, ударив скользящим ударом по шпаге Мельцони и притопнув ногой, вынес ее далеко вперед и вытянул руку.

Дюк ди Мирамаре закрыл глаза — ему показалось, что все кончено. Но шпаги застучали снова, и дюк, открыв глаза, увидел, что Мельцони вовремя отскочил и опять поймал на свою шпагу оружие противника.

Дюка в это время поразило вдруг изменившееся лицо Литты. Он как будто побледнел и его сильные, мускулистые ноги не так твердо уже держали его плечистое, огромное тело. Он стал нервно дышать и делать заметные усилия, чтобы удержаться на ногах.

Мельцони, все время избегавший глядеть ему в лицо, теперь тоже вдруг начал быстро взглядывать прямо ему в глаза, особенно усиленно и оживленно зашевелив шпагою и выбирая удобный момент для удара.

Литта (его колена уже подгибались и слегка дрожали) все-таки еще парировал; но вдруг, широко размахнув шпагою, он откинул руку в сторону и как сноп повалился навзничь, ударившись головою о землю.

Шпага Мельцони мелькнула в воздухе.

Секунданты бросились к Литте.

XIV
ВО ВЛАСТИ ДУМ

Графиня Екатерина Васильевна не спала почти всю ночь. Страдание бессонницей, мучительное и докучливое, заставляло ее иногда по целым суткам не смыкать глаз, несмотря на лекарства докторов и ухаживания старой няни. Няня говорила, что ее графинюшку сглазили, а доктора уверяли, что Скавронской необходимо больше движения и развлечения, но она не хотела слушаться их. Она лежала, закинув по привычке за голову руки, и большими, широко открытыми глазами смотрела пред собою на мягкие складки шелкового полога. Ночник тускло освещал ее розовую спальню.

Лежать было неловко на мягком пуховике. В течение бессонной ночи тело успело привыкнуть к нему, и все положения, какие можно принять, были испробованы и казались утомительными.

«Вот еще одна ночь прошла,— думала графиня,— потом проснутся все... Настанет день — и все то же самое, и все то же самое!..»

Она, благодаря несметному богатству своего мужа, не знала ни в чем отказа, но ей ничего не хотелось из того, что могло дать ей богатство. Драгоценности, дорогие наряды, роскошный дом, толпа прислуги — все это было у нее, но не имело никакой цены, потому что доставалось слишком легко. К тому же, кроме скуки, однообразия и надоедливого, не в меру угодливого внимания в пустяках и равнодушия ко всему серьезному своего мужа, она ничего не видела в этом огромном дворце, в который забросила ее судьба на чужбине, вдали от родных и всего, что она любила с детства.

Ей невольно припомнилась барская усадьба их Смоленского, более чем скромного, именьица, где она с сестрами звонко бывало смеялась и где ей жилось весело и привольно в счастливые годы детства!

Третий час дня. Солнце палит своими жаркими, неумолимыми лучами. В воздухе так тихо, что слышно, как муха жужжит, ударясь в частый переплет оконной рамы, приподнятой на подстав.

В доме все спят послеобеденным крепким сном. Только она с сестрой Аней осторожно, боясь нарушить эту царящую кругом тишину, пробирается в сад, и им кажется, что они теперь не в том доме, где живут отец и мать, все домашние и они сами и в который они вернутся, как только пройдет час послеобеденного отдыха, но что они в каком-то заколдованном царстве, где все таинственно и страшно, нарочно пугая себя всякими страхами и воображая, что с ними с минуты на минуту должно случиться что-нибудь волшебное, они идут, чуть дыша, и кругом так жутко и тихо, но вместе с тем совсем не страшно, потому что светло.

И вот непременно в тени кустов, не прямо по дорожке, они пробираются во фруктовый сад, в малину (им запрещено это), и к вымышленным страхам присоединился уже действительный страх, что их могут застать тут, и это составляет новую прелесть.

От жирной, темной земли так и парит кругом, пахнет листом черной смородины, малиной. Мельница, к которой и с большими страшно идти, шумит вдалеке, и сквозь кружево листвы далеко и загадочно сверху синеет, точно подернутое синей дымкой, безоблачное небо. Они рвут теплые, сочные ягоды, сердце бьется сильно и часто, и ягоды кажутся особенно вкусными и спелыми.

«А рыбная ловля,— вспоминает графиня,— а жатва, а сено!»

И ей кажутся невыносимо тесными ее розовый шелковый полог и покойная мягкая кровать, на которой она не может сомкнуть глаз.

И вдруг этот счастливый мир детства и грез отлетает от нее; ее отправляют с сестрами в Петербург. Там нанимают им француженку, затягивают в корсет, надевают платье на фижмах, которое топорщится во все стороны, подолгу пред зеркалом до боли дерут волосы щипцами и везут к дяде — важному и, должно быть, сердитому, и строгому Потемкину, имя которого всеми произносится с каким-то подобострастным трепетом.

Ей приятно это, приятно, что человек, которого ее мать называет «братцем», живет в одном из таких дворцов, какие она воображала себе только в сказках, и она робеет

пред дядей и не замечает его ласково устремленных на нее глаз.

Но вот она мало-помалу сближается с ним и, чем больше узнает его, тем больше любит, и тем яснее ей становится, что этот человек, несмотря на свое могущество и славу, несчастнее, чем она была, когда жила незаметною девочкой в деревне.

Когда они бывают одни, ей случается подметить у него улыбку грусти, и такая тоска в его глазах тогда, что ей страшно, страшно жаль становится его.

Но все-таки ей не позволяют снять неловкие фижмы, тесный корсет и распустить волосы. Она выезжает на балы; ее представили ко двору, она два раза говорила с государыней, и все кругом завидуют ей и льстят, и, кажется, любят, и ласкают. Она теряет голову, ее точно увлекает та жизнь, в которую бросили ее.

И вот появляется из Италии молодой граф Скавронский, завидный, богатый жених. Они встречаются чаще и чаще; как-то делают так или само выходит, что они почти всегда вместе, и наконец ей говорят, что этот богатый молодой человек будет ее мужем и что она должна радоваться этому и быть счастливою.

Ей шьют больше нарядов, больше прежнего покупают драгоценностей, празднуют великолепную свадьбу, на которую ее будущий муж, этот граф Скавронский, приезжает в золотой карете, отделанной стразами на огромную сумму, и все этому почему-то очень рады и говорят про это, и поздравляют ее. Они все так уверены, что она рада и счастлива, что даже не спрашивают ее об этом, и она сама невольно начинает верить, что она в самом деле рада и счастлива.

Она очнулась только здесь, в Неаполе, после долгого путешествия, сделанного один на один с мужем, и, очнувшись, поняла, что все это — тоска, ненужная, лишняя и тяжелая. И ей захотелось остаться одной, чтобы только не мешали и не приставали к ней...

На нее иногда стали находить минуты такого отчаяния, такого невыразимого душевного угнетения, что порою жизнь становилась просто невмоготу и она проводила бессонные ночи, как сегодня, и мучилась, и ждала исхода, но напрасно.

И вдруг среди этой тоски и однообразия явился свежий, живой человек, сильный, с которым познакомилась она недавно и который теперь, как живой, стоял пред ее глазами. Она будто видела пред собою красивую, мощную

фигуру Литты, его быстрые, умные глаза, черные, вьющиеся локонами волосы и ровную, добродушную улыбку. И невольно ей пришла в голову разница между ним и ее тщедушным мужем, то и дело вертевшимся возле нее и беспрестанно лезшим со своими ласками и поцелуями.

Вспомнив про Литту, графиня Екатерина Васильевна вдруг быстро приподнялась на кровати и схватилась рукою за грудь. Сердце ее защемило, и беспричинная, как казалось, боязнь — та боязнь, которая является у человека, когда ему дышать нечем,— охватила ее. Ей показалось, что она недаром вспомнила теперь, именно в эту минуту, про него, точно с ним или с нею должно случиться что-то недоброе, ужасное.

Она осенила себя крестным знамением и испуганно осмотрелась кругом. Фарфоровый ночник по-прежнему освещал комнату, тяжелые, непроницаемые гардины плотно закрывали окна.

Графиня спустила ноги с кровати, отыскала ими туфли и, накинув широкий шелковый балахон, подошла к окну. Она откинула гардину, и розовое, ясное утро глянуло ей в лицо, ворвавшись в комнату целым снопом матовых лучей своих.

«Одна, одна... и на всю жизнь так! — снова подумала Скавронская, вглядываясь усталыми от бессонной ночи глазами в открывшуюся пред нею в окне, поверх плоских крыш, даль.— Одна!» — повторила она себе, и вместе с этою грустною мыслью, неожиданно ей пришло в голову, что там, вдали, где-то в этом, казавшемся бесконечным, пространстве был человек, о котором она только что вспоминала, и новая боязнь за него опять безотчетно охватила ее. «Да что же это со мной, и что с ним может быть, наконец?» — спросила она себя и, приложив ладонь к левой стороне груди и чувствуя, как бьется ее сердце, приблизилась к большой сиявшей в углу божнице, сплошь увешанной иконами в богатых золотых окладах, и, опустившись пред нею на колена, закрыла лицо обеими руками.

XV

СТАРЫЙ ШТУРМАН

Энцио был почти уверен в безошибочности своего расчета. Он надеялся, что Литта не вернется теперь с берега и что удар Мельцони будет верен и достигнет своей цели.

Во всем, по его мнению, был виноват сам Литта, который, как казалось Энцио, слишком заносчиво относился к нему и стал на его дороге неустранимою помехой. Энцио думал, что, не будь этого молодого командира над ним, получившего власть благодаря своему знатному происхождению, он давно-давно достиг бы командования судном. Это было заветною целью всей его жизни.

Теперь он ясно представлял себе, как он приведет «Пелегрино» на Мальту и как, по всем вероятиям, командование так и останется за ним. Он считал себя старым и и опытным моряком и, по его мнению, его заслуги Мальтийскому ордену были неисчислимы. Ввиду этих неисчислимых заслуг все казалось возможно. К тому же бывали примеры, что командование судном поручалось в исключительных случаях старым, испытанным и опытным слугам ордена даже более низкого происхождения, чем Энцио. Последний же претендовал на старинное дворянство, доказательства которого были только утеряны, как он рассказывал, но имелись основания найти их вновь, о чем он не раз уже хлопотал, и ему было кое-что даже обещано. Он и теперь был облечен известною степенью доверия, правда, не от великого магистра, но от некоторых членов капитула, которые поручили ему на скромном месте штурмана следить за действиями Литты и доносить о них подробно. Повиновение было в числе необходимых условий на Мальте, и Энцио принял покорно место штурмана, надеясь в будущем на большее.

Однако, несмотря на весь соблазн своей мечты, он чувствовал себя далеко не удовлетворенным, не успокоенным, и, стоя на палубе, беспрестанно взглядывал по направлению берега, откуда должна была прийти весть о командире. Сам Литта, разумеется, не вернется; это было почти невозможно. Все казалось обдумано и предвидено, и сегодня ему не избегнуть «заслуженного», как старался себя уверить Энцио.

«Наконец, ведь не я нанесу удар,— думал он.— Кто же может сказать, что я этому причиной? Вольно же ему было влюбляться, вольно же вызывать на дуэль! ведь, значит, он сам желал смерти, сам подставил свою грудь под удар».

Но Энцио сейчас же почувствовал, что это рассуждение было далеко не тем, что могло успокоить его.

Он попробовал пройтись по палубе, осмотрел пушки, хотя знал, что они в полной исправности, снова подошел к борту и облокотился, опять уставившись на берег.

«Неизвестность тут хуже всего, — решил он наконец,— если бы наверное узнать, что случилось там, тогда бы все было хорошо».

Но какой-то внутренний голос говорил ему, что ничего иного, как то, чего он ожидал, не могло случиться, и, несмотря на это, все-таки он не мог успокоиться.

«Ничего не может произойти здесь на земле помимо воли, которая выше нас,— продолжал думать Энцио,— тут ни он, ни я — мы не зависим от себя, и, следовательно, если ему суждено, то это произойдет вовсе не по чьей-либо вине, а исключительно потому, что так должно быть... Ясно... да, это ясно».

Кусая себе нижнюю губу и беспокойно теребя росший под нею в виде эспаньолки клок волос, Энцио жадно, упорно вглядывался в мелькавшие у берега лодки — не покажется ли наконец между ними шлюпка с «Пелегрино».

Чтобы лучше разобрать и увидеть, он хотел посмотреть в подзорную трубу и пошел было за нею, но вспомнил, что она в каюте командира и что последняя заперта. Новый прилив досады и злобы обуял его, и сомнения его рассеялись. К тому же у него были давнишние счеты с Литтой. Он помнил, как командир за какое-то упущение (теперь Энцио казалось, что это были ничего не значащие пустяки) велел вывести его пред экипажем и сделал ему выговор при всех, не пощадив «его седин, его pello blanhissimo» (хотя на самом деле курчавая голова Энцио была покрыта лишь проседью, но ему казалось лучше воображать себя именно «седым» в этот момент). Эту-то обиду и насмешки, которые пришлось ему услыхать потом за спиной у себя, он никогда не мог простить молодому графу.

Солнце поднялось довольно высоко, когда наконец Энцио ясно различил спины тех самых гребцов, которые ездили обыкновенно с Литтой и за которыми он следил так же вот вчера, когда сидел на берегу под деревом в одеянии пьеро, ожидая Литту на берег.

Гребцы были одни в шлюпке. Впрочем, Энцио так и ожидал этого. Матросы гребли, налегая на весла, но Энцио казалось, что они ползут так медленно, как будто в шлюпке у них невыразимая тяжесть.

— А где же граф? — крикнул он им, когда они подплыли на такое расстояние, что можно было разговаривать.

— Эчеленца...— послышалось со шлюпки, но налетевший ветерок отнес следующие слова, и ничего нельзя было разобрать.

— А? Что? — кричал Энцио. Он старался по лицам матросов, обернувшихся к нему, угадать о том, что случилось: но эти лица были совершенно спокойны и равнодушны.— Где же граф, граф где? — повторил он свой вопрос, сильно жестикулируя.

— Эчеленца приказал нам ехать на корвет,— послышался ответ на этот раз.

— Как приказал? — удивился Энцио.— Вы его видели?

Шлюпка в это время приставала уже к борту, и матрос быстро и ловко взобрался на палубу и стал пред Энцио.

— Ты говоришь, что граф приказал? — продолжал спрашивать тот.

— Эчеленца сам был на Спиаджии-ди-Киайя,— несколько робким голосом произнес матрос, воображая, что штурман не верит, что не самовольно они вернулись на корвет, а по приказанию командира.— Эчеленца приказал так, пусть меня в первой же схватке застрелит неприятель!.. Эчеленца сейчас был на берегу и велел ехать; он, наверно, боялся, что мы сойдем на берег посмотреть на карнавал,— добавил матрос, желая окончательно убедить штурмана последним соображением.

Но Энцио, казалось, не слушал его или не понимал.

— Да ты видел графа своими глазами? Он здоров? — опять спросил он.

Матрос стал снова клясться и божиться, что видел Литту собственными глазами и что он велел им приехать вечером за ним, а теперь отправляться на корвет.

Энцио почувствовал, что мысли его путаются и что он не может понять, как это все могло случиться и каким образом Литта остался цел и невредим.

XVI

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Случилось же это все очень просто.

Когда Литта упал во время поединка и секунданты кинулись к нему, он казался без движения, словно в обмороке.

Испуганный Мельцони, с исказившимся, взволнованным лицом, первый стал осматривать его, нет ли где-нибудь царапины. Он чувствовал, что Литта упал слишком для него неожиданно, и он, не успев направить удара как следует, промахнулся, но, может быть, как-нибудь случай-

но шпага все-таки задела его. Однако ни раны, ни даже царапины не было заметно у Литты. Но он лежал на земле неподвижно, беспомощно раскинув руки в стороны, и, казалось, грудь его не двигалась.

Ему расстегнули камзол, освободили ворот, распустили застежки — ничего не помогало.

Дюк ди Мирамаре попытался пощупать ему пульс, попробовал сердце и решительно не мог разобрать — бьется оно или нет. Он, стоя на коленах возле Литты, пожал плечами и покачал головою.

Мельцони вложил свою шпагу в ножны и отошел в сторону.

— Дуэль кончена? — спросил он, стараясь оправиться и казаться спокойным.

Один из секундантов Литты, тоже опустившийся возле него на одно колено, нетерпеливо махнул рукою в сторону Мельцони.

Общее ощущение неловкости, растерянности и полного сознания бессилия сделать что-нибудь охватило этих людей при виде неподвижно лежавшего теперь Литты.

— Что же сделать? Везти в город? — спросил дюк ди Мирамаре.

Решено было, что гвардейский офицер отправится в Неаполь за экипажем, а остальные подождут здесь.

— Нет ли где-нибудь воды поблизости? — спросил опять дюк и пошел искать воду.

Офицер уехал.

Мельцони чувствовал себя неловко. Положение его действительно было странно, и он не знал, как выйти из него — оставаться ли здесь, или тоже сесть на лошадь и уехать.

Секунданты Литты, присев на землю, тихо переговаривались между собою. Мельцони попробовал было подойти к ним, но из этого ничего не вышло, и он, сделав наконец вид, что интересуется, не покажется ли кто на дороге, направился к ней и стал ходить взад и вперед.

В это время в глубине рощи зашевелились кусты и послышалось, как кто-то пробирается между ними. Секунданты притихли и подняли головы, прислушиваясь. Шаги приближались к ним.

— Это вы, дюк? — спросил один из них, думая, что Мирамаре вернулся со своих поисков.

Но из чащи вместо дюка вышел на полянку одетый весь в черное, длинноносый, худой человек в широкополой шляпе и с ящиком для растений через плечо. В руках он

держал тоже пучок каких-то набранных трав. Он, казалось, был занят усердным рассматриванием их и перебирал их пальцами, близко поднося пучок к своим круглым очкам.

Выйдя на полянку, он оглянулся и, заметив сидевших тут людей, слегка растерянно остановился пред ними, как будто желая показать, что он вовсе не хочет мешать им. Те тоже, при виде постороннего, смущенно взглянули на него, тем более что между делом, за которым они явились сюда, и мирным занятием ботаника ничего не было общего. Ни он, ни они, казалось, в первую минуту не знали, что сделать и как лучше выйти из этой случайной встречи.

Он оглянулся еще раз, как бы ища выхода, и тут только заметил Литту, лежащего на плаще, который подложили под него.

— А это что же? — спросил он удивленно, тихо, на ломаном итальянском языке, а затем, не дожидаясь ответа, подошел к Литте, нагнулся над ним и стал осматривать его.

Он долго возился над ним, покачивая головою, отложив свои травки в сторону и не спрашивая позволения. Ему не мешали, видя ту уверенность, с которою он принялся за свое дело.

Мельцони, вероятно, заметив, что происходило на полянке, подошел от дороги и издали остановился.

— Лагардин-Нике! — окликнул он, узнав старика.

Нике поднял голову и, покачиваясь из стороны в сторону, проговорил:

— А, мсье Мельцони! Мсье Мельцони! Нужно поскорее хоть каплю воды...

Они узнали друг друга.

Собственно говоря, никому ничего не было достоверно известно в Неаполе про Мельцони. Жил он, казалось, хорошо, водил знакомство с высшим обществом и с виду имел все данные, чтобы держаться в нем. Он был на короткой ноге со всею знатною молодежью Неаполя, но откуда он явился, чем занимается и какими способами доставал деньги, которыми, однако, как будто не стеснялся,— никто не знал. Правда, никто также не мог заподозрить его в чем-либо нечестном или предосудительном. Он держал себя безупречно. Молодой, бойкий, некрасивый собою, но не безобразный и с оттенком ума на лице, Мельцони мог понравиться с первого раза. Его слегка развязная манера, беглый разговор, казалось, располагали к себе. Он появился в Неаполе года два тому назад и с тех пор успел ужиться здесь и поставить себя на довольно видное место.

К Лагардину-Нике у него было рекомендательное письмо из Парижа от хорошо известного Лагардину человека. Старик принял Мельцони, и тот бывал у него, выражая склонность к тем занятиям, которым был предан сам Нике.

Мельцони в первое время часто посещал старика, беседовал с ним и выказывал большое любопытство к отысканию «красного льва» и деланию золота. Это, казалось, в особенности интересовало его, хотя Лагардин-Нике очень неохотно разговаривал именно об этих вещах, потому что для него самого этот «красный лев», золото и процесс перерождения простого угля в алмаз вовсе не были важны. Мельцони скоро надоел ему, и он употребил против него, чтобы отделаться, давно испытанное и верное средство — дал ему денег взаймы. С тех пор они действительно не видались.

Но теперь Мельцони ничуть не сконфузился и не смутился их встречею. Он очень предупредительно засуетился из стороны в сторону, как будто желая всем существом своим помочь Литте, но с грустью признавая свое бессилие.

Лагардин-Нике достал из кармана плоский хрустальный флакон с темною маслянистою, густою жидкостью и, капнув еще себе на ладонь, стал растирать левую часть груди Литты.

Дюк ди Мирамаре, не пожалев своего бархатного берета, принес в нем воды, которую отыскал-таки не без усилия.

Лагардин-Нике спрыснул лицо Литты, достал другой флакон, капнул из него на язык больного, и Литта медленно и тяжело вздохнул, видимо, приходя в себя. Старик велел намочить ему еще голову и, когда грудь Литты вторично приподнялась от глубокого вздоха, быстро встал с колен, собрал свои травки и, сказав, что теперь только пусть дадут спокойно Литте отдышаться и что он сейчас окончательно придет в себя, ушел, поспешно кивнув головою в сторону Мельцони, как человек, которому дорога каждая минута времени.

Его длинная, сухая, черная фигура была видна еще сквозь чащу дерев на дороге, когда Литта открыл глаза и шевельнулся. Грудь его дышала теперь совсем ровно и бледные щеки начали розоветь. Он поднес руку к голове, крепко провел ею по лбу и, сожмурив глаза, снова открыл их, затем, поднявшись корпусом, сел, опершись о землю рукою.

— Ну, слава святым угодникам! — проговорил ди Мирамаре.

Литта оглянулся кругом, как бы припоминая, где он, и силясь понять, что с ним. Наконец полное сознание окружающего блеснуло в его глазах; он заметил Мельцони, удалившегося к лошадям, узнал своих секундантов и, быстро оправив свою одежду, поднялся на ноги, схватив снова в руки шпагу.

— Что это со мною? Обморок, кажется, был? — проговорил он.

— Вы разве хотите продолжать, граф? — подошел к нему секундант, указывая кивком головы на шпагу, которую держал Литта.

— Если синьору Мельцони угодно,— ответил тот.— Я не признаю себя побежденным.

— Но выдержите ли вы? Вы нездоровы сегодня,— попробовал возразить секундант, внимательно вглядываясь в лицо Литты.

Однако граф весело рассмеялся и произнес:

— Я, кажется, чувствую себя здоровее, чем прежде. Я не могу понять, что это было со мною; прежде никогда этого не случалось; это в первый раз.

— Не лучше ли отложить, граф? — заявил со своей стороны дюк, но далеко не так уже официально, как пред началом дуэли; тем более, что был лишен теперь бархатного берета, висевшего на суку для просушки.

— Нет, что ж откладывать? — как-то рассеянно ответил Литта, выгибая о землю свой клинок и ища глазами противника.

Мельцони подошел не сразу, но все-таки подошел и обнажил шпагу. Он казался очень усталым. Движения его были расчитанно медленны, и лицо отражало тихую грусть.

Литта чувствовал себя превосходно. Прежнее настроение, какое было в нем пред началом поединка, снова вернулось к нему, несмотря на обморок, и, как ни в чем не бывало, он, будто после отдыха, поймал шпагу Мельцони и заиграл ею, точно фехтуя на уроке со слабым учеником.

Тут только он заметил, насколько Мельцони дрался слабее его. И, не давая уже себе труда, он совсем спокойно повел бой, изредка пытаясь кончить его легким ударом, чтобы дать почувствовать противнику свою силу.

«А, может быть, он обманывает меня, хочет развлечь?» — сообразил Литта, и, почти непроизвольно на-

жав клинок Мельцони ближе к рукоятке, сделал быстрый поворот кистью своей руки.

Шпага вырвалась у Мельцони из рук и, задрожав, отскочила в сторону. Литта приостановился и по обычаю дуэли подал противнику свое оружие, а сам спокойно и неторопливо сделал два шага, нагнулся, поднял выроненную шпагу Мельцони и снова стал на место, опять готовый продолжать бой.

Но, как только Мельцони увидел свою шпагу в руках у Литты, он прикусил губу и нервно заговорил что-то, медля стать снова «en garde».

— Я жду, синьор Мельцони,— проговорил Литта.

Его противник сделал неопределенное движение рукою, точно хотел обратно получить свою шпагу, но, видя, что Литта уже поднял ее, морщась, отстранился от вытянутого острия ее и через силу проговорил наконец:

— Довольно... верните мою шпагу... так нельзя... я не могу продолжать дуэль... Будет... довольно...

XVII
У СКАВРОНСКИХ

Если мы не можем объяснить себе какое-нибудь явление, не можем понять его, уловить его причинную связь с предыдущими, то называем его «случаем», случайным явлением и, махнув рукою, успокаиваемся, то есть, мол, и рассуждать о нем не стоит. Но, как только то же самое явление поддастся анализу, тотчас же является на сцену закон, и мы начинаем понимать истинную суть его.

Есть, однако, люди, которые думают, что ничего в мире, а в особенности в жизни человека, не может произойти случайно. Путем долгих, начавшихся еще за несколько веков до Рождества Христова наблюдений, подмечены и выяснены многие законы, изучение которых прямо указывает на те влияния, которым подвержен человек. На основании этого-то изучения можно иногда простыми выкладками предвидеть последующее, которое будет всегда простым результатом предшедшего, так как все в мире, до мельчайшего движения атома, представляет собою удивительную цельность и гармонию.

Литта знал, что случайно встретился с молодою русскою графиней, знал, что не мог не идти тогда по узкой улице, не услышать стонов больного, не вылечить его и затем, несмотря на полное свое нежелание возобновить

знакомство со Скавронским, должен был это сделать, потому что Гурьев не мог не приехать к нему, не мог не представить самых убедительных доводов для сношения Мальтийского рыцарства с Россией, и Литта не мог не поехать в палаццо русского посланника.

Но Литта знал также, что если существует последовательная цепь явлений, в которой люди независимо от себя должны принимать участие своими действиями, то вместе с тем человеку дана свободная воля, чтобы выбрать между двумя сторонами каждого явления, которое всегда и везде двусторонне, то есть между злом и добром.

Не разбирая еще пока, хорошо или дурно он делает, Литта бывал у Скавронских, желал видеть красавицу графиню, говорить с ней и стремиться к ней так же естественно и неудержимо, как растение тянется к свету, человек — из духоты к воздуху, вода течет туда, где глубже.

Скавронская, полагавшая сначала, что она ограничится мимолетным знакомством с мальтийским моряком, заинтересовавшим ее среди той тоски, однообразия и скуки, которые она испытывала в Неаполе,— увидав Литту, невольно пожелала увидеться с ним еще раз, и он, как бы послушный этому ее желанию, явился к ним на другой день.

Со дня на день граф откладывал отплытие «Пелегрино» и бывал у Скавронских, надеясь на себя и на свои силы, благодаря которым всегда, как думалось ему, он сумеет совладать с собою, если бы это понадобилось.

Когда в день дуэли, кончившейся тем, что Мельцони, испуганный обменом шпаг с противником, извинился пред ним, Литта пришел к Скавронским, графиня встретила его долгим, испытующим взглядом, как бы желая понять без слов, что случилось с ним сегодня.

За обедом по обыкновению граф Павел Мартынович болтал без умолку, и Гурьев сдерживал его, сколько мог. После обеда они уехали в театр (там шла новая опера), и Литта остался вдвоем с Екатериной Васильевной. Она опять подняла свои глаза и остановила их взор на нем с тем же самым выражением, которое было в них, когда она его встретила.

— Что с вами, графиня? — спросил Литта.— Что вы смотрите на меня так?

Она ответила не сразу.

— Послушайте,— наконец тихо произнесла она,— с вами что-то сегодня случилось... Должно было случиться! — поправилась она.

Литта знал, что ни по его лицу, ни по глазам, ни вообще по его виду графиня ни о чем не могла догадаться, так как он чувствовал себя бодрым, совершенно здоровым и веселым, и ее замечание удивило его.

— Почему вы так думаете? — спросил он, делая, однако, усилие, чтобы казаться совсем спокойным.

— Я не спала сегодня всю ночь,— проговорила Скавронская.— Это бывает со мною. Под утро мне вдруг показалось, что я вижу вас — так ясно, как живого... Вы были очень бледны... я страшно испугалась...

Теперь, когда она рассказывала Литте, она была вполне уверена, что видела его сегодня бледного на самом деле, и испугалась этого. Ей казалось, что все было именно так, как она рассказывает, и, рассказывая, она убеждалась еще больше в справедливости своих слов.

— Я невольно вскочила,— продолжала Скавронская.— Это был, правда, один миг, но я вас видела, положительно видела! — повторила она.

Литта предчувствовал, что сегодняшний день, начавшийся для него так странно, необыкновенно, не мог кончиться просто, как обыкновенный день, но что его должно ожидать сегодня еще что-то. Внутреннее его настроение требовало этого. Нервы его были взвинчены с утра. Не мог же он в самом деле после всего сегодняшнего, после поездки за город, поединка, обморока и извинений оскорбившего его человека,— так спокойно вернуться, сесть отобедать и вести приятный разговор, как это описывают в романах. Еще он мог сдерживать себя сначала, пока тут были граф и Гурьев, но тут он почувствовал себя в первый раз в жизни наедине с хорошенькою женщиной.

Они сидели на веранде, обитой узорною зеленью винограда и выходившей в сад, в котором благоухал вечерний аромат цветов; Литта, за минуту пред тем отнюдь не желавший говорить о том, что было утром, помимо себя, сейчас же рассказал все подробности поединка, кроме, разумеется, причины, вызвавшей его.

Скавронская слушала, не перебивая, слушала, но вместе с тем заставляла невольно понимать себя. Это взаимное понимание, этот разговор без слов, этот непостижимый обмен мыслей при помощи взгляда, улыбки начались у них сами собою, чуть ли не со второго дня их знакомства. Им же казалось, что они давным-давно понимали так друг друга.

Литта заметил это в первый раз, когда сказал как-то

случайно в разговоре, что он — рыцарь монашеского ордена и осужден на всю жизнь на безбрачие.

Графиня очень удивилась этому, но он видел, что ей почему-то это приятно, что она обрадовалась этому.

Рассказав о дуэли, Литта заговорил о Лагардине-Нике, потом об Энцио, о своем «Пелегрино», обо всем, что приходило ему на ум, не обращая собственно внимания на предмет разговора, потому что их разговор заключался главным образом не в произносимых словах, но в том, как они произносились; и вот эти вариации голоса, взгляды и улыбки сказали им сегодня гораздо больше всяких слов и объяснений.

Литта очнулся лишь на улице и тут только вспомнил, что его давно ждет шлюпка с корвета.

— Что ж это со мной? — спросил он себя, отойдя несколько шагов от дома Скавронских и останавливаясь.— Боже мой, но как хороша, как хороша! — прошептал он и, завернувшись в плащ, большими, неровными шагами направился к набережной.

XVIII

ПИСЬМО

Графиня Екатерина Васильевна долго еще сидела по уходе графа Литты на веранде. Наконец она услыхала, как пришел муж из театра и прошел с Гурьевым в столовую ужинать, думая по всей вероятности найти ее там. Она знала, что он сейчас пришлет за нею или придет сам ее отыскивать, и поспешно, скользя, как тень, пробралась к себе в спальню. Ей хотелось быть одной, и в особенности в эту минуту мужа она желала увидеть менее всех.

Она отпустила своих камеристок, явившихся было к ней, и, открыв окно, высунулась в него как можно дальше.

Так у окна застала ее няня, пришедшая к ней по сохранившейся с ее детства привычке благословлять ее на ночь.

— Что ты, Катюша, Бог с тобой! — проговорила она, вглядываясь с беспокойством в блестящие глаза графини и чувствуя, как горячи ее щеки и руки.— Что это ты? Прошлую ночь не спала и теперь полуношничаешь, да еще в темноте, у открытого окна. Ты хоть бы огонь зажгла.

— Ах, няня!.. Нет, не надо огня! Нянечка, мне так хорошо сегодня! — протянула графиня и, положив свои руки

на плечи старухи, прижалась к ней головою.— Няня, ты знаешь,— зашептала она,— мне и плакать, и смеяться хочется, право... и так хорошо... так хорошо...

Няня прижала ее к своей груди и, медленно проведя своею сморщенной старческой рукой по ее волосам, старалась лаской успокоить ее. Она понимала, в каком состоянии находится ее питомица.

— Вот что, Катюша,— заговорила она не спеша,— Богу помолись... это Он тебе посылает испытание. Ты соблюдай себя,— обдумать тебя ведь некому... Не поддавайся, матушка!.. Мало ли что, да ведь уж как кому жить суждено.

Скавронская быстро отстранилась от нее и испуганными глазами старалась сквозь сумрак рассмотреть ее лицо.

— Что ты, няня?.. что это ты говоришь? Откуда ты взяла? Разве заметно так, разве ты заметила что-нибудь?

— Я-то, мой дружок, вижу!.. Не первый десяток живу. Не бойсь: пока еще другие-то увидят, а от меня тебе не скрыться,— знаю, сама была молода... вижу тебя насквозь. Слушай, Катя, береги себя!

— Как это ты хорошо сказала, что о б д у м а т ь меня некому! — произнесла Скавронская.— Да, именно так... я словно одна всегда; иногда не знаешь, что делать, и спросить не у кого.

— А ты Богу молись, дружок... Он, Господь,— тебе заступник и покровитель, и гневить тебе Его нечего. Все у тебя есть, слава Создателю: дом полная чаша,— почитай герцогиня любая позавидует: одних брильянтов сколько!

— Ах, ничего мне не нужно, ничего! Все бы сейчас отдала...

— А ты вот что послушай, Катя! — перебила ее старуха, усаживая на кресло и закрывая окно.— Слушай, родная: как родилась матушка твоя, взяли меня к ней. Мне двадцатый год шел, молода я была, но все ж привыкать стала к должности своей. Только уж пятый год пошел матушке-то твоей, я при ней безотлучно — и в это время сильно приглянулся мне Иван дворовый, он у твоего дяди в лакеях состоял. Ну вот, долго не решалась я, наконец прихожу к старой барыне, так и так, мол, говорю,— бросилась в ноги. Барыня поморщилась. «Что ж,— говорит,— замуж хочешь?» — «Воля ваша,— говорю,— господская, а только не жить мне без Ивана-то». Рассказала барыня барину. Тот как призовет меня,— страшен он бывал во гневе,— да начнет костить, как сейчас помню все... «Какая же ты клуша после этого, если у тебя дурь такая

в голове сидит! Как же ты за ребенком-то смотреть будешь, если замуж смотришь?» — и пошел, и пошел. Одели меня в затрапезник и отправили на птичий двор. Только матушка твоя привыкла ко мне очень, стала скучать, и вернули меня. Ну, что ж делать, тяжело было, а про Ивана-то и я думать боюсь уж! Прошло так еще годочка три... да матушке твоей седьмой годок пошел... Заболела она, долго горела вся и по ночам металась. Я день и ночь не отходила семь суток, не спала — и выходили мы матушку-то твою, Господь помог. Старый барин — она его любимицей была — обрадовался и на радостях призывает меня и говорит: «Проси, чего хочешь, все сделаю». А я сдуру-то, вижу — он ласков очень, ударилась оземь: «Отдайте,— говорю,— меня за Ивана». Как ни был в расположении барин — нахмурился. «Что же, ты перехитрить меня хочешь? — спрашивает.— Ну, будь по-твоему, от своего слова не откажусь». Как шальная, ходила я с радости две недели и себя не помнила, думала, никогда этому не быть, и вдруг на́ вот. Сыграли свадьбу. Но только, милая моя, вышли мы это из церкви, глядь — телега стоит; взяли моего Ванюшу и увезли, в рекруты сдали сейчас из-под венца. Крут твой дедушка был нравом: слово свое исполнил — повенчал нас, а затем не погневись: волю свою тоже изменить не пожелал... И что ж, прожила же ничего, да и как еще прожила-то: матушку и тебя, мою красавицу, выходила. Так-то, родная,— всякому свое испытание.

Графиня слушала старуху, беспомощно опустив руки. Она дышала тяжело, и подбородок ее вздрагивал.

За дверью послышались шаги.

Екатерина Васильевна сейчас же узнала их. Дрожь пробежала по всему ее телу, от макушки до пят; она вскочила с кресла и бросилась за полог кровати.

— Няня, милая, не пускай!.. Скажи, что хочешь, сделай, как знаешь, только не пускай!.. Не могу я видеть его сегодня! — беспокоилась она.

Павел Мартынович постучал в дверь.

— Можно войти? — спросил он по-французски.

Няня на цыпочках подошла к двери, отворила ее и замахала руками.

— Шш... ваше сиятельство,— шепотом проговорила она,— графинюшка всю ночь не спала ведь и теперь едва лишь глазки завела... Не будите... нездоровится ей.

Павел Мартынович вытянул губы, покачал головою и деловито спросил:

— Что ж, серьезно нездоровится ей?

— Не знаю, батюшка,— ответила няня, сама не соображая того, что говорит,— только не беспокойте ее...

Скавронский пожал плечами и, повернувшись на каблуках, зашагал назад, напевая себе под нос,— он всегда пел, казалось.

Как только шаги его затихли, Екатерина Васильевна высунулась из-за полога.

— Ушел? — спросила она.

Няня кивнула головою, затем зажгла свечи, задернула окна и начала помогать графине распутывать взбитую прическу и снимать тяжелое платье.

— Что же, не ляжешь еще? — спросила она, когда Скавронская была уже в чепчике и ночной кофточке.

— Нет, няня, дай мне балахон,— ответила та.

— И-и, Катюша, ложись-ка спать лучше!

Екатерина Васильевна не ответила. Она сосредоточенно думала о чем-то, уставившись на пестрый узор ковра и почти не моргая.

— Вот что, няня,— наконец сказала она,— оставь меня одну, мне хочется быть совсем одной. Ступай спать!

Старушка нехотя простилась с нею и медля, не остановит ли ее графиня, вышла из комнаты.

Скавронская дала ей уйти, прислушалась, потом быстро подошла к дверям, заперла их и, пройдя несколько раз скорыми шагами по комнате, села к письменному столику.

«С первой же минуты, как я увидела Вас,— стала она писать по-французски, и слова у ней быстро шли одно за другим, не останавливаясь, потому что мысль бежала слишком скоро и рука едва поспевала за нею,— как только мы встретились (я помню живо этот день и час), я почувствовала, что в Вас в первый раз в жизни встретила человека, который для меня слишком выдавался среди людей, был более чем заметен... Вы приехали на другой день, потом опять. Мы сблизились, как только, узнав друг друга, поняли, что мы давно знакомы... Я не знаю, но я по крайней мере думала так...

Ваши рассказы, которых я не могла не слушать с живым вниманием, Ваш смелый разговор, манера, вечная Ваша борьба и деятельность невольно притягивали к себе.

Сначала я думала, что это — простое любопытство, простой интерес во мне, потом я ничего не думала, только ждала Вашего прихода и невольно оживлялась, когда Вы были тут. Наконец сегодняшний вечер уяснил мне многое... Я поняла, что мы оба — я, замужняя женщина, обязанная сохранить честь имени, которое ношу, и связанная навсег-

да с человеком, которого пред Богом и людьми назвала моим мужем, Вы — связанный тоже обетом, вы, честный человек, неспособный на ложь и обман,— мы оба, повторяю, были на скользком пути...

В настоящую минуту я как-то безжизненно спокойна и, мне кажется, могу р а с с у ж д а т ь, по крайней мере, хочу делать это; но, пройдет еще немного времени, и, я чувствую, всякое благоразумие оставит меня.

Может быть, уже то, что я сейчас сказала, выходит за пределы этого благоразумия, но я не вольна над собою. Я решилась написать Вам, потому что мы не должны видеться; я знаю, что Вы, как честный человек (другим Вы и быть не можете), поймете меня и поступите именно так, как Вас заставят поступить Ваша честь и просьба женщины, которая доверилась Вам.

Я пишу Вам, потому что верю в вас и люблю... Да, я люблю Вас... пусть это будет вам известно, но молю Вас именно этой любовью: уезжайте, уезжайте как можно скорее и не ищите встречи со мною! Согласитесь, что после этого письма она невозможна и немыслима.

Прощайте навсегда... уничтожьте это письмо. Я не ошибаюсь в себе и твердо уверена, что не ошибусь и в Вас».

Кончив писать, Скавронская, не перечитывая (она боялась сделать это), сложила лист и стала запечатывать его.

На другой день она по-прежнему лежала, покрывшись своей шубкой, на кушетке в маленькой гостиной и, закинув за голову руки, смотрела неподвижным, скучающим взглядом пред собою, слушая тихую болтовню старой няни. А на широком заливе поднявшийся ветерок рябил лазуревые волны, и стройный, красивый корвет «Пелегрино», распустив свою красную хоругвь и поставив паруса, горделиво отплывал из неаполитанской гавани.

XIX

ПОЕДИНОК

Литта стоял на высоком юте своего корвета, опираясь о борт, и смотрел, не спуская глаз, на белеющий амфитеатр Неаполя, постепенно убегавший в даль.

Сегодня утром, когда он подошел на шлюпке к берегу, у пристани ждал его конюх Дмитрий, которого он вылечил и теперь узнал сразу. Дмитрий делал ему знаки ру-

кой, и, когда Литта подошел к нему, незаметно сунул ему в руку письмо, а затем, сняв шапку и не сказав ни слова, пустился от него в сторону.

Литта тут же, на набережной, распечатал письмо, думая, что это какая-нибудь просьба; но, взглянув на его первые строки, изменился в лице, оглянулся, словно боясь, не подстерегает ли его кто, быстро, жадно, пробежал письмо до конца и спрятал его в карман.

Он вернулся к своей шлюпке и, только очутившись опять на корвете и запершись в своей каюте, снова принялся за письмо, перечитывая каждую его строчку по нескольку раз.

Он не радовался и не огорчался; он сам не мог дать себе отчет в том, что происходило в нем; он только читал и не имел силы оторваться от милых ему строк. Он чувствовал, что эти строки и милы, и дороги ему, что в них была новая жизнь, новая, незнакомая до сих пор радость и вместе с тем страшное, невыразимое мучение.

Что было делать ему? Конечно, прежде всего исполнить волю графини, исполнить то, что требовала она, потому что так, именно так следовало поступить.

Но Литта видел, что те силы, на которые он надеялся, готовы были оставить его. На него минутами находила сумасшедшая решимость кинуться к Скавронской, увидеть ее еще раз теперь, когда она получила для него значение жизни, значение всех радостей и счастия, о котором только может мечтать человек.

Но это были только минуты. Литта помнил, что он — именно человек и должен вынести с твердостью то испытание, которое выпало на его долю.

До сих пор его жизнь происходила гладко, все удавалось ему, и тем чувствительнее, тем резче казался ему удар, который посылала ему теперь судьба. Он понял, что до сих пор не знал еще жизни, что она началась для него только теперь, и началась почти со смертельной раны.

Делать было нечего — нужно было решиться на что-нибудь, и Литта, неспособный на долгие колебания, решился. Он вышел на палубу. Ветер, как нарочно, засвежел в эту минуту; взяв рупор, Литта отдал приказание поднять паруса.

Команда, засидевшаяся на месте, весело бросилась исполнять приказание. Литта смотрел на этих словно проснувшихся и зашевелившихся людей, дружно и весело исполнявших свое дело,— как больной, которому делают страшную операцию, смотрит на своих врачей.

Когда «Пелегрино», качнувшись и тоже словно обрадовавшись, двинулся, напрягая свои снасти, Литта стал на ют и взглядом простился с Неаполем.

«Прощай, Неаполь,— думал он,— прощай все и самая жизнь!.. И как это все произошло вдруг! И неужели я ухожу навсегда и навсегда все потеряно?»

Какой-то тайный голос говорил ему, что да — все потеряно, по крайней мере здесь, на земле, уже невозможно счастье.

Долго смотрел Литта по направлению города, наконец он исчез совсем, и берег скрылся из глаз, а граф все еще стоял на корме, словно прирос к ней.

Никуда не заходя по пути, при неизменно попутном ветре они пришли к Мальте.

Энцио всю дорогу не выходил из своей каюты под предлогом болезни. Литта не мешал ему.

Приведя свой корвет в гавань, граф подал рапорт, составил краткий отчет и пошел к приору своего языка, однако не застал его на Мальте. Все это он сделал машинально, совсем бессознательно, по привычке к дисциплине, которая с детских лет укоренилась в нем.

Мальтийские рыцари, когда бывали на своем острове, должны были жить в общем конвенте. По статутам ордена, они были обязаны пробыть здесь хотя бы в разное время, но в общей сложности не менее пяти лет.

Давно знакомая, размеренная по часам, строго определенная жизнь, охватившая теперь Литту, произвела на него совсем особенное впечатление... Несмотря на свое душевное состояние, он все-таки почувствовал себя «дома», в родной семье, среди товарищей, сейчас же окруживших его и начавших свои расспросы и рассказы.

Но все эти новости про последние посвящения, про распоряжения великого магистра, про схватки с алжирцами, прежде живо всегда интересовавшие Литту, теперь показались ему неинтересными, и он сам невольно удивился тому, с каким равнодушием он выслушивал теперь об этом и не находил нужных слов и вопросов, чтобы вызвать новые рассказы.

Сам он, несмотря на довольно продолжительную отлучку с острова, тоже, казалось, не мог ничего рассказать: теперь все было для него слишком просто, слишком будничо, все, кроме его внутреннего страдания, о котором он только и мог бы говорить, но, разумеется, ни за что никому не хотел открывать его.

Этой перемены не могли не заметить, и стало ясно, что с братом Литтою случилось что-нибудь небывалое.

За обедом, к которому подавались традиционные шесть хлебцев, фунт мяса и кружка вина на человека,— Литта сидел молча в стороне, изредка только, и то лишь для вида, прислушиваясь к гудевшему вокруг него говору. Этот говор и постоянная необходимость следить за собою на людях утомили его, и он, встав из-за стола, вышел, чтобы остаться наедине с самим собою,— в сад, и без цели пошел по первой попавшейся дорожке.

«Ну, а что ж теперь? — думал он.— Что же делать?.. и как быть?»

Как всякому человеку, которому всегда кажется, что его собственная печаль есть самая большая и настоящая печаль, Литта думал, что никто и никогда не был еще в таком положении, в котором он находился теперь.

Он, разумеется, не мог знать, в особенности в те минуты, которые приходилось ему переживать, что не один рыцарь его ордена не раз сокрушался о данном им обете, когда наступала пора и молодость брала свое, и что это испытание было одною из переходных ступеней к высшему посвящению.

Братья ордена достойно и твердо вынесли испытание любви; не поддавшиеся ей получали новую силу, и им открывались дальнейшие знания. Но Литта был еще в чаду своей страсти и боролся с собою, стараясь превозмочь ее. Он должен был превозмочь, если не ради своего орденского повышения, то ради той, которая была навек связана с другим человеком и жизненный путь которой сошелся с его собственным, врезался в его жизнь, пересек ее и снова разошелся, чтобы никогда уже не сойтись, оставаясь прямым, а, напротив, расходиться все больше и больше. Для того, чтобы сойтись им вновь,— нужно было именно свернуть и ему, и ей с прямого пути.

Литта продолжал без устали ходить по начинавшим уже темнеть дорожкам. Сумерки спускались, окутывая своею пеленой засыпавший сад. В готических окнах конвента зажигались огни.

«Боже мой, Боже мой! — продолжал мучиться Литта.— И как это надвинулось, словно грозовая туча, и заслонило все!.. И как это пережить о д н о м у человеку!»

И ему невольно вспомнилась шестая аркана тайной книги, которую он знал наизусть:

«Берегись! Остерегайся своих решений! Пусть препятствия заграждают тебе путь к счастью. Противное течение

готово увлечь тебя, и воля твоя колеблется между двумя противоположными сторонами. Колебание, однако, будет для тебя так же пагубно, как и плохой выбор. Иди вперед или вернись, но помни, что путы, сплетенные из цветов, трудней разорвать, чем железную цепь!»

Литта остановился и опустил голову.

Песок дорожки заскрипел в это время под мерными шагами приближавшихся к нему людей. Это был рыцарь в полном вооружении, с двумя следовавшими за ним солдатами.

«Что это? Дозор или смена стражи?» — подумал Литта и, поморщившись, что ему помешали, стал ждать, пока они пройдут.

Но офицер шел прямо к Литте. Он подошел прямо к нему, как будто именно его и искал.

Рыцарь был товарищем Литты, которого он знал очень хорошо, но теперь от всей его фигуры веяло официальностью, которая доказывала, что он находится при исполнении своего долга.

— По повелению великого магистра,— сухо произнес рыцарь, приближаясь к Литте и стараясь делать вид, что говорит теперь не с товарищем, но с совершенно посторонним лицом,— позвольте вашу шпагу и следуйте за мною.

Литта и удивился, и вместе с тем не мог не ощутить неприятного чувства вследствие этой новой неожиданности, разразившейся над ним.

— Мою шпагу? — переспросил он.

Рыцарь, не повторяя своих слов, терпеливо ждал в строгом молчании.

Литта знал, что в таких случаях не только неповиновение, но всякая лишняя проволочка хуже всего, и, поспешно отстегнув свою шпагу, подал ее рыцарю. Тот сделал, принимая оружие, малый салют и, ловко и отчетливо отбив поворот, направился к замку.

Литта послушно последовал за ним. Он понял, что дело шло о нарушении им каких-нибудь статутов, и для него, хорошо знакомого с жизнью и обычаями конвента, внезапный арест ничуть не показался странным.

В случае надобности арест рыцаря всегда происходил внезапно, и его тотчас же ввели к судейской комиссии, назначенной заранее великим магистром для данного дела. Дело обыкновенно подготовлялось тайно и формулировалось раньше, арестованного немедленно приводили к судьям, чтобы не дать ему времени одуматься и тут же снять

с неприготовленного первый допрос, считавшийся самым важным.

Очевидно, во время отсутствия Литты произошло что-нибудь, касающееся его, и только ждали его возвращения в конвент, чтобы произвести арест и следствие.

Они прошли маленькою железною дверью прямо из сада в длинный каменный коридор и стали подыматься по бесконечным переходам замка.

XX
СУД

Литту ввели в большой, крашенный восьмиконечными мальтийскими крестами, зал с высокими готическими окнами, где собирался совет ордена и где заседал обыкновенно капитул.

Посредине, под портретом великого магистра ла Валетта, в честь которого называлась и столица Мальты, основанная им,— стоял широкий стол под красным покрывалом, с белыми крестами. На столе было три канделябра с восковыми свечами, освещавшими комнату.

Судьи, которых Литта узнал сейчас же, сидели в высоких дубовых креслах. На месте председателя был почтенный епископ ордена — человек всеми уважаемый. По правую руку от него сидел барон Гомпеш — представитель немецкого языка, по левую — сморщенный старик, постоянно щурившиий из-за темных очков свои маленькие глазки. Литта вспомнил, что этот старик принадлежал к числу тех братьев ордена, про которых ходил слух, что они состоят тайными членами общества Иисуса (ордена иезуитов).

Литта вошел совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его, уверенный, что все это — не что иное, как недоразумение, которое сейчас же объяснится.

— Граф Джулио Литта, вы желаете себе защитника или будете сами говорить за себя? — вкрадчиво, почти ласково спросил его епископ.

При появлении Литты судьи встали, и он стоял пред ними посреди залы.

— Я не знаю, в чем меня обвиняют,— пожал плечами граф,— и не припомню за собой никакой вины, а потому не думаю, чтобы была надобность в защитнике.

— Тем лучше для вас,— по-прежнему произнес епископ,— вам сейчас скажут, в чем состоит обвинение,—

и, развернув лежавший пред ним свиток, он прочел от имени великого магистра, что его преосвященнейшее высочество поручает ему, епископу ордена, совместно с двумя членами (он назвал их по именам, поклонившись слегка в сторону каждого), разобрать дело брата Джулио Литты — по обвинению его в нарушении орденских обетов.

Граф с нескрываемым любопытством прослушал чтение, все-таки не понимая, в чем собственно будут обвинять его.

Епископ, по обряду, пригласил судей к их обязанности, и они передали ему свои кошельки с пятью золотыми монетами в знак своего полного беспристрастия и отречения от всяких расчетов при произнесении ожидаемого от них приговора. Затем епископ и судьи сели.

— Вас обвиняют, граф Джулио Литта, в нарушении рыцарских обетов. Готовы ли вы защищаться против этого обвинения? — спросил епископ официальным голосом.

Литта почувствовал, что спокойствие, не оставлявшее его до сих пор, было только кажущимся и что на самом деле горечь обиды и несправедливого притеснения давно возмутила его душу, именно только «казавшуюся» спокойною вследствие слишком сильного волнения. Он сделал усилие над собою и заговорил:

— Какое нарушение? Кто, в чем меня обвиняет? Пусть придут и скажут мне прямо.

— Велите ввести обвинителя! — тихо сказал епископ, обращаясь к сидевшему за отдельным столиком секретарю.

Этот тихий, мерный голос подействовал несколько освежающе на Литту, и он с любопытством стал ждать, какой такой обвинитель явится пред ним.

Секретарь, видимо, старавшийся только об одном, как бы не упустить благовидного предлога, чтобы выказать пред начальством свою деятельность, поспешно махнул рукою в сторону двери.

Часовой, стоявший возле нее, распахнул дверь, и в зал вошел смелыми шагами, приблизившись к столу, Энцио. Литта не мог удержать невольную презрительную усмешку.

Епископ, как бы не обращая внимания на вошедшего, не торопясь перебирал лежавшие пред ним, подшитые одна к другой, разноформатные бумаги, перелистывая их. Энцио стоял не смутившись и ждал с уверенностью в правоте своего дела. Наконец епископ поднял голову и взглянул на него.

— Готовы ли вы подтвердить присягой и клятвою донос ваш? — спросил он, и голос его прозвучал торжественно и внушительно.

— Готов,— ответил Энцио.

— Но помните, что, если этот донос окажется несправедливым и если вы возвели на рыцаря ордена ложное обвинение, вас ожидает беспощадное наказание. Подумайте — время еще есть,— готовы ли вы ответить собственною головою за свой донос.

— Готов! — снова ответил Энцио.

Епископ спросил в третий раз:

— Помните, что из этого зала должен выйти кто-нибудь виновный: или вы, или тот, кого вы обвиняете. Готовы ли вы решиться на это?

— Готов! — в третий раз ответил Энцио.

— Повторите же ваше обвинение! — предложил ему епископ, откидываясь на спинку кресла и поправляя висевший на его груди крест.

Энцио как будто ничего лучше этого и не ждал: забрав грудью воздух и прямо, по-военному, глядя на епископа, он заговорил ровно, слегка возвысив голос:

— Я утверждаю, что граф Литта — пусть Святая Мадонна будет свидетельницей — нарушил данный им обет целомудрия... В Неаполе мы напрасно потеряли много-много времени вследствие того, что командир, граф Литта, проводил открыто свои дни у графини Скавронской, жены русского посланника, и даже по вечерам, то есть поздним вечером.

— Это — ложь! — воскликнул Литта.

Припадок бешенства душил его.

Гомпеш взял пачку бумаг и, выбрав одну из них, стал читать:

— Восемнадцатого декабря вы первый раз были в доме русского посла и пробыли восемь часов. Правда это? — спросил он Литту.

Тот постарался припомнить и ответил:

— Может быть.

— Девятнадцатого, на другой день,— продолжал Гомпеш,— вы пробыли там пять часов, двадцатого — шесть, двадцать первого — три,— и Гомпеш прочел самый подробный счет времени, которое Литта провел у Скавронских.

Граф, не ожидавший, что за ним следили таким образом, должен был замолкнуть и подтвердил этот счет, удивляясь, однако, теперь, что каждый день действительно бывал у Скавронских и подолгу. В Неаполе это совершенно не было заметно.

Энцио между тем начал рассказывать длинную и запутанную историю мнимых отношений Литты к Скаврон-

ской и божбою на каждом почти слове подтверждал свой рассказ. Все это была самая беззастенчивая, самая наглая выдумка.

Литта удивлялся только, откуда у него берется все это, пытался было перебить, но ему не позволили этого сделать.

Когда Энцио кончил, Литта остановился в недоумении, пораженный, положительно не зная, что сказать и что сделать,— до того все это было необычайно, страшно и бессовестно. Он стоял, закрыв лицо рукою, боясь пошевельнуться, и тяжело переводил дух, не зная еще, что скажет сейчас. Он молчал, собираясь с силами. В огромном зале было тихо, и в этой тишине поскрипывало только перо секретаря, который дописывал показание Энцио.

— Теперь вы слышали обвинение,— проговорил епископ, обращаясь к Литте.— Что вы можете сказать против него?

Граф отнял руку от лица и поднял голову.

— Все это — ложь... ложь такая, с которой трудно бороться и гадко,— проговорил он.— Рассказ этого Энцио голословен, ничем не подтвержден, и весь вопрос сводится к тому, чьим словам вы больше дадите веры: моим ли, как рыцаря, или его словам, как моего подчиненного.

При слове «подчиненный» Энцио задергался весь и замахал руками, хотел заговорить, но его остановили.

— Но чем же вы объясните ваши частые посещения русского посла? — спросил опять Гомпеш у Литты.

Графу очень легко было сделать это.

XXI

ДЕЛО ВЫЯСНЯЕТСЯ

Известный в истории князь Януш Острожский, в начале XVII столетия, в 1609 году, учредил родовой майорат под именем «Острожская ординация». Эти имения, расположенные в лучшей части Волыни, давали до 300 000 золотых в год.

По воле завещателя, в случае пресечения рода, майорат должен был перейти в собственность Мальтийского ордена.

Впоследствии Острожская ординация досталась по женской линии Сангушкам. Но и их род пресекся. Последний же из Сангушков — Януш — вел широкую жизнь и, не обращая внимания на закон о майорате, преспокойно продавал и раздаривал его земли, так что когда после его

смерти явились за наследством мальтийцы, то оно оказалось в таком виде, что собрать его было весьма затруднительно.

Тогда-то на помощь им пришла императрица Екатерина II, приказавшая своему послу в Варшаве поддерживать права ордена.

Благодаря этому в Польше образовалось новое великое приорство, и польский сейм постановил ежегодно отпускать в пользу Мальтийского ордена 120000 золотых, сами же земли Острожского остались в ведении Речи Посполитой.

— Все это так,—проговорил Гомпеш, когда Литта напомнил своим судьям эту историю,— но почему же именно вы, граф, затеяли переговоры об Острожской ординации с послом России в Неаполе?

— Чтобы найти верный путь возвратить ордену его земли,— ответил Литта.

— Но почему же,— спросил опять Гомпеш,— вы именно... со Скавронским,— он заглянул в бумаги и оттуда прочел это имя не без труда,— затеяли переговоры?

— Потому что граф Скавронский женат на родной племяннице князя Потемкина, первого вельможи при русском дворе,— снова ответил Литта.

Судьи стали шептаться между собою.

Епископ просматривал пачку бумаг, содержавшую подробное описание пребывания Литты в Неаполе. Тут были и письма Энцио, и его собственные донесения, и донесения других лиц.

— Реверент Мельцони пишет,— тихим шепотом проговорил второй судья на ухо председателю и подсунул ему еще пачку писем.

Епископ стал перебирать их.

Энцио смотрел дерзко, вызывающе, прямо в лицо Литты. Последний, не видавший его в последние дни, в течение которых тот сидел у себя в каюте и не показывался командиру, удивился происшедшей в нем перемене. В особенности глаза Энцио были странны: мутные, с расширенными зрачками, они бегали беспокойно из стороны в сторону с явною тревогой и беспокойством.

«Да не рехнулся ли он?» — подумал Литта и стал приглядываться к штурману, припоминая отдельные фразы, изредка прежде прорывавшиеся у него, его недовольство и вообще все отношения его к себе, на которые он до сих пор не обращал внимания.

Он сделал два больших шага, испытующе уставившись взором в эти бегавшие глаза Энцио, и, приблизившись к нему, шепнул чуть слышно:

— Ну, когда же ты будешь командиром корвета?

Левая щека Энцио быстро задрожала при этих словах, он отмахнулся рукою и, неожиданно осклабясь, обратился к судьям:

— А я еще имею сказать — и это главное, господа судьи. Уж если быть откровенным, так я буду до конца! Вы знаете, благодаря интригам графа Литты,— пишите, господин секретарь,— обратился он к последнему,— это очень важно! Да, так из-за интриг графа Литты я не могу до сих пор получить командование судном... А ведь я имею право, потому что, если старинное мое дворянство еще не доказано, то во всяком случае мои заслуги очень велики... к тому же мне обещано...

Литта попал на конек Энцио, угадав по его глазам и по предшествующему его поведению, с каким человеком он имеет дело, и Энцио, коснувшись своего конька, стал заговариваться. Слова его полились неудержимо, он не мог уже остановиться. Он с такою же уверенностью, как только что рассказывал про мнимые вины Литты, начал уверять, что командование корветом обещано ему самим «Пелегрино», который приходил к нему ночью и сказал, что никто другой не должен распоряжаться корветом, кроме Энцио, и что если граф Литта будет мешать ему, то он изведет его.

Судьи удивленно, не двигаясь, смотрели на Энцио, епископ улыбался, переводя глаза с штурмана на Литту. На лице иезуита было смущение, а Энцио все более и более горячился, махая руками, захлебываясь, глотая слова и не договаривая, продолжал свой рассказ.

Литта, отойдя назад, со спокойной улыбкой скрестил руки на груди.

Секретарь, перестав записывать, вопросительно посмотрел на председателя, но тот кивнул ему головою, и он снова заскрипел пером, подхватывая на лету слова Энцио.

Тот же самый рыцарь, который арестовал Литту, с тем же самым строгим, деловым выражением отвел его опять по длинному коридору в отдельную комнату.

Тут было чисто прибрано. К стене было прикреплено большое Распятие со скамеечкой для молитвы. Стояли стол с бумагой и принадлежностями для письма, два стула и чистая постель.

— Граф Литта,— спросил его рыцарь, и Литта невольно заметил, как он, вероятно, в первый раз исполняя возложенную на него обязанность, старался не ошибиться и не упустить чего-нибудь,— даете вы слово рыцаря, что не выйдете из этой комнаты до тех пор, пока вас не позовут?

— Даю! — ответил Литта, которому вся эта процедура начинала уже надоедать.

Рыцарь поклонился, осмотрелся кругом, как бы ища, не нужно ли еще исполнить чего-нибудь, и ушел, не утерпев, однако, улыбнуться на прощанье Литте, как бы говоря:

«Я отлично понимаю, что мы — товарищи, да не могу же я не исполнить своего долга».

Литта ничем не ответил на эту улыбку.

Дверь осталась не запертою, окно было тоже отворено, комната помещалась в нижнем этаже, но слово рыцаря, обещавшего не выходить из нее, должно было быть крепче всяких замков.

Оставшись один, Литта опустился на кровать и лег, не раздеваясь. Он закрыл глаза и снова увидел себя в Неаполе. Об обвинении, которое висело на нем, он не думал, хотя понимал, что оно основано не исключительно на показании Энцио, но что были и другие доносы. Во всякое другое время он, может быть, постарался бы разобрать их, но теперь ему было решительно безразлично, обвинят его или оправдают.

XXII

БРЕД ЭНЦИО

Из зала суда Энцио был отведен тоже под конвоем в подвальный этаж, где двери запирались на тяжелые замки и в окна были поставлены толстые решетки.

Он беспрекословно подчинялся тому, что делали с ним, как будто уверенность, что, несмотря на все, верх все-таки останется за ним, не покидала его. Когда дверь запирали на большой железный засов снаружи и привешивали к ней замок, он стоял посреди сводчатой своей камеры и чутко прислушивался к постукиванию, с которым все это делалось. Он ничего лучшего и не желал: пусть их, пусть только оставят его одного и, чем крепче запрут, тем лучше.

Вот наконец последний раз стукнул замок, тюремщик загремел ключами, собирая их, по каменным плитам кори-

дора зазвучали удаляющиеся шаги. Наступила полная, мертвая тишина.

Из высокого, так что нельзя было достать его, оконца, проделанного как раз под самым сводом, пробивался лунный свет и, ложась ровным, ясным четырехугольником с точно повторенным узором решетки — на каменный пол, серебрил своим задумчивым матом сырые сумерки свода.

Энцио, хитро улыбаясь, оглянулся и подмигнул себе левым глазом. Он подошел к двери, попробовал, крепко ли она заперта, и снова прислушался, действительно ли удалились шаги в коридоре.

Дверь крепко держалась на своих замках и засовах, и все было тихо кругом.

Энцио, оставшись этим очень доволен, размахнул руками и на цыпочках обошел камеру, бормоча и жестикулируя. Время ему терять было некогда. Час наступил лунный — сегодня было благоприятное число, и «действие» должно было оказаться удачным.

Штурман поспешно скинул верхнюю одежду, распорол подкладку и, нащупав кусок сложенного в три раза пергамента, достал его. Из кармана он вынул кусок алебастра, обточенный в трехгранную призму, а потом, забрав эти вещи, вышел на средину камеры, стал спиною к свету и, расстегнув ворот рубашки, раскрыл его. На груди у него вместо креста было надето окаянное изображение человеческого греха. Энцио поправил его не глядя. Руки его начинали дрожать, глаза блестели и подбородок с клочком волос ходил из стороны в сторону.

Все это штурман проделал совершенно точно, как было указано в черной книге некромантии, которая была тщательно запрятана в его каюте на корвете и которой он не выпускал из рук все последнее время, сидя запершись у себя.

Сегодняшний день и час у него были вычислены заранее. Сегодня, в сфере, на которую Энцио мог распространить свое влияние, должны были находиться два могущественных духа: Эгозеус и Периоли. Он нашел их имена и заклинания, которым они не могли не подчиниться.

Энцио взял в левую руку алебастровую призму, присел слегка, и, по радиусу на высоте человеческого сердца, начал ровным кругом обводить, назад от себя, то место, на котором стоял. Губы его поспешно шептали бессвязные, непонятные слова.

Окончив круг, он приподнялся, взял призму в правую руку и начертил ею внутри круга треугольник около своих

ног, так чтобы основание его приходило у пяток, а вершина была обращена вперед, на две ступни расстояния. Потом, продолжая шептать, он быстро поставил между кругом и треугольником несколько черт и знаков и перебросил через левое плечо назад алебастровую призму.

Наконец он выпрямился, развернул пергамент и стал читать нараспев заклинания с определенным ритмом и ударением. В этих заклинаниях он призывал духов на себя, на свою голову, отдавал им свою душу и всего себя, слова были страшны, и клятвы, которые он произносил, богохульны и нечестивы. Этого тоже требовала книга. Нужно было призвать духа на себя, обмануть его, потому что магический треугольник образовывал вокруг заклинателя непроницаемую преграду для духа, о которую все усилия последнего разбивались, и он не мог коснуться человека, стоявшего в треугольнике, если только тот не оборачивался и не выходил за пределы круга. Вызванного таким образом духа нужно было поработить, для чего имелись также особые слова и движения.

Энцио стоял твердо, опираясь на всю ступню, и повторял мерным, певучим голосом свои заклинания.

Мало-помалу воздух вокруг него начал редеть и словно какое-то мелькание показалось в нем. Это мелькание перешло затем в более плавное движение, и со всех сторон потянулись волнистые нити. Энцио увидел, что «началось», но не испугался — он всего этого ждал.

Нити колебались и пухли и шли вверх с тем движением, как лебедь расправляет свою шею. Вместо белого лунного света, все стало окрашиваться в красный цвет, и тогда вместо нитей воздух закишел безобразными и отвратительными существами.

Энцио знал, что это были ларвы — земные полудухи, исчадие человеческой крови. Он не хотел их. Они пытались ринуться на него, но, разлетевшись спереди, ударились об острие треугольника и скользнули по его сторонам, как волны у упоров моста, не причинив вреда Энцио.

Он увидел, что магическая сила треугольника действительна и треугольник составлен правильно. Нужно было лишь все время стоять лицом к его вершине, потому что нападение могло быть произведено только спереди, а отразить его могла лишь вершина треугольника. Он произнес проклятие ларвам, которые не могли быть пригодны ему, и они исчезли.

Сероватая мгла сменила красный цвет, и Энцио, широко раскрыв глаза и подняв брови, продолжал свои закли-

нания. Однако несколько минут ничего не было. Штурман настойчиво продолжал свое дело. Он желал добиться явления, желал подчинить себе неестественную силу, чтобы получить могущество, которое и отопрет ему двери тюрьмы, и даст силу обвинить ненавистного командира и все, чего пожелает он.

В стороне, не то под сводом, не то в правом углу мозга, пронеслась какая-то тень, мелькнуло вороное крыло, сгорбленный, мохнатый карл прошел из одной стены в другую. Однако все это было не то.

Простые заклинания все были испробованы: Энцио удвоил их.

Сзади послышались какая-то возня, шуршание, шелест. Энцио не оборачивался. Страх скользнул в его сердце. Оно было холодно, точно кусочек льда остановился в груди на его месте.

Энцио знал, что страх тут опаснее всего, и постарался прогнать его.

Где-то невдалеке раздался звенящий звук, точно лопнувшей струны — и все стихло. В темном углу, налево, заколебалось что-то прозрачное, бесформенное, переливавшееся в воздухе как жидкость. Потом оно стало сгущаться и приняло наконец форму несколько удлиненного шара. Он блестел противным, синевато-золотым отливом, как осадок грязного масла на воде.

Шар медленно стал приближаться, и по мере его приближения устанавливалась какая-то неуловимая связь между ним и Энцио. Они понимали друг друга. Это было то самое, что звал Энцио,— Периоли.

Дух казался принижен: он видел, что заклинатель неуязвим для него.

Периоли задрожал и перестал быть видимым, но Энцио знал, что он здесь и что стоит ему захотеть — он снова увидит его.

Энцио закрыл глаза и начал последнее, самое страшное, заклинание. Дыхание совсем сперло ему, как будто чувствовался кругом удушливый, смердящий запах серы.

Он открыл глаза, и волосы невольно зашевелились у него на голове: прямо на него из темной, зияющей, как пропасть, глубины несся огромный всадник на огненном коне, совершенно такой, каким был изображен в черной книжке Эгозеус. Он с дикою ненавистью, злобой и бешенством кинулся на Энцио и, ударившись о сферу треугольника, отшатнулся, но затем снова стал нападать, звеня своим вооружением.

Этот ужасный вид и морда огромной фыркавшей лошади, в каких-нибудь двух шагах, были невыносимы для Энцио; он боялся пошатнуться; но, чем дольше читал он заклятия против Эгозеуса, тем более свирепел ужасный всадник. Наконец Энцио не выдержал и, вытянув вперед, наравне с плечом, правую руку с выпрямленным указательным пальцем, прикоснулся к ней у локтя левою, тоже подняв ее в одну плоскость с плечом: это был последний символ защиты. Дух исчез.

На место его явился снова шар Периоли. Он начал, опять посредством своей связи с Энцио, убеждать его обернуться, внушал ему, что он уже порабощен им и что теперь Энцио нечего опасаться. Но тот, остановившись немного, снова забормотал заклятие, которое нужно было повторить семьдесят три раза. Тогда дух в его власти.

Периоли говорил, что, обернувшись, Энцио увидит то, что ожидает его впереди. Но Энцио не соблазнился.

Тогда вдруг все страхи исчезли, и вместо каменного свода раскинулся сад, зажурчали фонтаны, невиданные цветы закачались на пышной зелени, послышалась невидимая, чарующая музыка и появился роскошный стол, уставленный яствами и питьями. Чудесные плоды, вина в граненых хрустальных графинах манили к себе. Энцио чувствовал голод, ему давно хотелось пить, но он сделал над собою усилие и не вышел из заколдованного круга.

Стол исчез и на его месте явилась дивной красоты женщина. Распустив свои волнистые волосы по плечам, она полулежала на широкой бархатной подушке и звала к себе.

Энцио закрыл глаза, чтобы не глядеть на видение, но и с закрытыми продолжал видеть тот же сад и женщину, и слышать ее призыв. Он двинулся невольно вперед. Она протянула к нему руки. Но он все-таки не вышел из круга, и губы его шептали еще магические слова.

Тогда все снова пропало, и вокруг Энцио рассыпались кучи золота. Ровные, блестящие червонцы засверкали и зазвенели, подкатываясь почти к самым ногам штурмана. Руки его затряслись и глаза разбежались при виде несметного богатства, которым он мог завладеть, и страшная борьба завязалась в его душе. Он мог горстями, лопатой, как хотел, загрести все это золото и при его помощи овладеть целым миром.

Соблазн был слишком велик. Энцио показалось, что он, опьяненный, делает шаг вперед, и участь его была решена.

На другой день, когда Энцио принесли воду и хлеб, его нашли мертвым в углу камеры. Он лежал, ничком на полу со скорченными от судороги руками, вдали от начертанного им на средней плите круга с таинственными знаками.

XXIII

ВЕЛИКИЙ МАГИСТР

Литта провел ночь спокойно, если можно только назвать спокойствием полную неподвижность, происходящую оттого, что все нервы так натянуты, так болезненно раздражены, что малейшее движение становится чувствительным.

Он лежал не двигаясь на своей кровати, с открытыми глазами, он не спал, но и полного сознания не было у него. Нравственная усталость, изнеможение так были мало знакомы ему до сих пор, что он невольно с каким-то робким удивлением прислушивался к тому, что происходило в его душе. Он находился как бы в полузабытье. Обрывки мыслей, неясные воспоминания мелькали в его голове, а главное, что казалось ужаснее всего,—впереди не было никакой надежды, никакого выхода. Чего ему ждать, на что надеяться в самом деле, когда все уже прошло? Он мог только думать обо всем, как о прошедшем, утраченном.

Так провел он ночь.

Наутро, с восходом солнца, постучали в дверь графа. Он все еще не спал.

— Именем великого магистра,— проговорили за дверью...

— Войдите,— ответил Литта.

Вошел добродушный итальянец, один из командоров ордена, и, как привычный человек, с веселою, ободряющею улыбкою протянул руку Литте, а затем крепко и дружески поздоровался с ним.

— Ну, что, не спали?.. Ну, ничего, пройдет, выздоровеете! Ну пойдемте, меня прислали за вами!

Литта хотел спросить — кто прислал, но сейчас же забыл об этом желании и никак не мог вспомнить, что нужно было сделать ему.

Командор был, видимо, добрым, хорошим человеком и очень понравился Литте.

— Ну, идемте! — сказал командор, и граф так же послушно отправился за ним, как шел вчера за исполнительным молодым рыцарем.

Жизнь в конвенте начиналась рано. Все вставали с восходом солнца, и замок уже шевелился, когда Литта, следуя за командором, проходил по его переходам и залам. Однако командор выбирал нарочно такой путь, где никто не попадался навстречу.

Они пришли наконец в длинную, увешанную портретами галерею, которая вела (Литта знал это) прямо в библиотеку великого магистра. Часовой, стоявший тут, загородил им дорогу алебардой.

— Пропуск? — спросил он.

— «Будь смел со львом, и лев тебя будет бояться»,— ответил командор, не замедляя шагов, и алебарда поднялась и пропустила их.

В конце галереи командор постучал в дверь три раза, и на его стук вышел кастелян великого магистра и кланяясь оглядел Литту с ног до головы. Командор пошептался с ним и, когда тот ушел, опять обратился к Литте:

— Подождите... сию минуту!

Через несколько времени дверь опять отворилась, и кастелян махнул рукою Литте.

Тот вошел в библиотеку. Кастелян подвел его к маленькой двери в противоположной стене и растворил ее. Граф перешагнул порог и очутился в огромном кабинете великого магистра.

Глава мальтийцев, почтенный, маститый старец, Эммануил Роган, сидел в широком кресле, обитом красным сукном, с белым крестом на спинке. Он сидел у стола с бумагами и, спокойно положив обе руки на локотники своего большого кресла, казалось, ждал прихода Литты. Он смотрел своими умными, проницательными глазами прямо на дверь, когда вошел граф.

Литта приблизился к старцу и, по правилам орденского этикета, преклонил колено и поцеловал руку великого магистра.

Когда он поднялся, Роган сделал ему знак рукою, что он может сесть против него. Литта почтительно опустился на стул.

Великий магистр долго не начинал разговора. Казалось, он, нарочно медля, вглядывался в лицо рыцаря, стараясь этим взглядом проникнуть в самую его душу и прочесть его сокровенные мысли. Литта спокойно выдерживал этот взгляд.

— Ты, говорят, вступил в переговоры с русским послом в Неаполе? — проговорил наконец Роган, как бы приходя в себя после раздумья, в которое был погружен, и, попра-

вившись на месте, запахнул свой длинный черный бархатный кафтан, подбитый горностаем.

— Да, отец,— тихо ответил Литта.

Рыцари в частном разговоре с великим магистром называли его вместо титула прямо «отцом». Разговор шел по-французски.

Роган наклонил голову, а затем спросил:

— Посол женат на племяннице русского вельможи?

Литта выпрямился и заговорил смело и твердо:

— Да, отец, на родной племяннице. Вчера на суде я не мог сказать все, потому что это был суд, а не исповедь рыцаря; правда, я вел переговоры с русским послом, и это было сначала единственною причиной, по которой я поехал в его дом,— меня позвали туда, я сам не хотел ехать. И вот судьям я указал только на эту причину, чтобы выгородить имя женщины, которая не заслуживает упрека. Сделанный на меня донос — клевета. Я знаю, отец, вы верите, что мной не нарушено орденской клятвы,— иначе вы не призвали бы меня к себе...

— Верю,— произнес Роган.

Литта глубоко вздохнул и продолжал:

— Да, я не нарушил клятвы, но испытание, которому я подвержен теперь, слишком тяжело, отец!

— Всякое испытание тяжело,— задумчиво проговорил магистр.— Жить — значит страдать, а страдать — значит копить себе душевное богатство. Наслаждения рассеивают и заставляют беднеть. Всякая боль, принятая с нетерпением,— сделанный шаг к цели... Пусть воля не дремлет, и, чем больше победит она препятствий, тем сильнее станет она.

Литта потупился; он чувствовал, что сердце его борется с разумом.

— Брат Литта,— вдруг заговорил Роган оживляясь,— вспомни те испытания, которые ты перенес уже, вспомни, из какой борьбы ты вышел уже победителем! Неужели на этот раз ты устрашишься, потому что страх есть усыпление воли? Сколько раз ты, не дрогнув, шел на смерть; неужели теперь у тебя недостанет духа идти навстречу женской лукавой прелести?

— На смерть легче идти,— вздохнул Литта.

— Может быть,— не спорю. Но если бы испытания твои казались легки, тогда не были бы они испытаниями. Я должен был назначить над тобою суд, потому что донос все-таки существовал и с ним нужно было кончить. Главный виновник клеветы получил уже сам от себя наказа-

ние. Но дело не в том. Могу ли я быть уверен, что и на будущее время ты не изменишь своему долгу и обету?

Литта ответил не сразу.

— Я не могу изменить ему, я должен быть верным слугою ордена,— проговорил он наконец.

— Так помни же свой долг! — ответил Роган.— Я всегда ценил тебя и отличал твои заслуги.

Теперь магистр уже ласково смотрел на Литту, как бы окончательно уверившись в нем.

Граф встал, но медлил уйти.

— Ты мне хочешь сказать что-нибудь? — спросил Роган, отвернувшийся было уже к своим бумагам.

— Вот что, отец,— заговорил Литта,— если действительно мои заслуги принесли ордену хоть каплю пользы, то, в уважение к ним, исполните мою последнюю просьбу.

— Какую просьбу? — переспросил Роган.

— Пошлите меня куда-нибудь подальше, чтобы мне не оставаться в Средиземном море, где я должен буду заходить в Неаполь. Мне не хотелось бы находиться поблизости его.

Роган задумался. Он долго-долго молчал, наконец поднял голову и ответил:

— Хорошо, я пошлю тебя в Балтийское море. Русская государыня, которую я уважаю и желание которой хочу исполнить, зовет мальтийцев к себе на службу. Она нуждается в опытных моряках. В числе нескольких других я пошлю тебя.

— Опять Россия! — прошептал Литта.

Роган строго взглянул на него. Этот шепот был почти протестом его распоряжению.

— Ты отправишься в Балтийское море! — повторил он так, что Литта мог только молча преклонить колено и выйти из комнаты.

Выйдя от великого магистра, Литта получил обратно свою шпагу.

На другой же день был отдан великим магистром формальный приказ о назначении нескольких рыцарей в русскую службу. Имя Литты стояло первым в списке, и он стал собираться в далекое путешествие.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I
УТРО ЕКАТЕРИНЫ II

К зиме 1795 г. здоровье императрицы Екатерины II несколько пошатнулось. Она чаще стала страдать своими головными болями, у нее явились припадки, колики и стали опухать ноги.

Прежде она вставала в шесть часов утра и одна, не желая будить слуг, управлялась в спальне и ждала, пока ей принесут кофе. Теперь она вставала на два часа позднее — в восемь, соблюдая диету, хотя не могла отказать себе в удовольствии пить по утрам страшно крепкий кофе, одна чашка которого наваривалась из целого фунта.

Но весь остальной день и занятия распределялись попрежнему. В девять часов являлся к государыне обер-полицеймейстер с докладом. Она расспрашивала его о происшествиях в городе и ценах на припасы, и о толках, ходящих в народе. Затем являлся генерал-прокурор с промемориями из сената, потом — целый ряд сановников, каждый в свой назначенный день, а иногда, если дело было спешным, то экстренно, не в очередь,— и так каждый день до обеда, после которого государыня занималась чтением (ей читали вслух, чаще других — Бецкий), и, отдохнув таким образом немного, снова принималась за дела. Обедала она в час.

Екатерине II шел уже шестьдесят седьмой год, но, когда она появлялась на выходах, пред двором, или выезжала утром прокатиться по городу, что, впрочем, случалось редко — не более четырех раз в зиму,— вид ее был бодр и осанка по-прежнему горделива и величественна. Она вни-

мательно следила за толками о ее здоровье и, как только эти толки начинали принимать хотя бы несколько тревожный характер, спешила предпринять что-нибудь, чтобы рассеять их.

Благодаря ли этому, или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию,— все думали, что так будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу, и все так привыкли к этой мысли, что положительно не замечали приближающейся старости монархини, и никто, разумеется, не мог подозревать, что этот год будет последним ее царствования.

Декабрь стоял хмурый. На дворе было холодно. Серая изморось, непохожая ни на снег, ни на дождь, мелькала в отяжелевшем воздухе. На улицах то таяло, и делалась невылазная грязь, то подмораживало, и бугорчатые колеи застывали, как камень, твердою, неровною корою.

Пробило восемь часов. Государыня проснулась. Она с трудом поднялась с постели, зажгла свечи и, надев свой утренний белый шлафор и флеровый чепец, перешла в соседний кабинет, где были уже с вечера заготовлены дела и бумаги, разложенные по статьям в строго определенном порядке.

С десяти часов стали съезжаться к малому подъезду Зимнего дворца кареты сановников, прибывавших с докладом.

В числе этих карет была одна, почти каждый день появлявшаяся у подъезда. Она принадлежала графу Александру Андреевичу Безбородко, который недавно еще вел все внешние сношения империи. Он был послан по смерти Потемкина на его место в Яссы для заключения мира с турками. Вернувшись оттуда, Безбородко нашел всех своих канцелярских чиновников по их местам, но дела, которые были в его руках, перешли главным образом к Платону Зубову. Безбородко, однако, продолжал появляться во дворе в часы доклада, хотя и не было уже к тому надобности, и часто сидел просто в приемной, не приказывая даже докладывать о себе государыне. Иногда же он только присылал к подъезду свою карету, чтобы думали, что он во дворце. Но на этот раз он приехал с письмом из Константинополя от своего племянника Кочубея, бывшего там посланником.

В приемной было много народу, ждавшего своей очереди. Безбородко с добродушною улыбкою, как бы не заме-

чая той разницы, с которою здоровались с ним теперь и прежде, всем одинаково приветливо протягивал и пожимал руку, беспрестанно повторяя со своим заметным малороссийским произношением: «Здрастуйте, здрастуйте!» Пробравшись к стоявшему у двери камердинеру, он с тою же улыбкою, как и другим, и ему сказал свое «здрастуйте» и, подмигнув слегка на затворенную дверь, шепотом спросил:

— А кто там буде?

— Князь Зубов! — ответил лакей уже так тихо, что можно было лишь догадаться по движению его губ в ответе.

Безбородко поднял брови и помолчав сказал: «Ну, доложите, когда можно будет!» — а затем, терпеливо вздохнув, на цыпочках пробрался опять назад к окну и присел на бархатном табурете, ожидая, когда дойдет до него очередь.

Молодой красавец князь Платон Александрович Зубов сидел в это время в кабинете государыни у маленького выгибного столика, стоявшего против ее кресла. Здесь, у этого столика, она принимала всех своих докладчиков. Зубов подавал государыне к подписи одну бумагу за другою, прочитывая их предварительно вслух. Одни из них Екатерина подписывала, другие откладывала в сторону.

— Все? — наконец спросила она, подписав последнюю бумагу и, сняв очки, ласково взглянула на своего докладчика.

— Из бумаг все,— проговорил Зубов,— но у меня есть еще дело.

Государыня слегка сдвинула брови.

Князь заметил это движение ее лица, однако не смутился. Он хотел, видимо, сообщить нечто важное, о чем долго думал, соображал и принял решение, которое ему самому очень понравилось.

— Вот в чем дело,— начал он с тою уверенною поспешностью, которая свойственна молодым людям, всегда воображающим, что если они взялись за какое-нибудь дело, то непременно выдумали что-нибудь совсем новое.— Вот видите ли,— начал он,— в семьдесят третьем году папа Климент издал декрет об уничтожении ордена иезуитов. Между тем от имени вашего величества,— теперь, излагая дело, Зубов произнес титул государыни,— был издан указ, в коем было выражено, что находящиеся в Белорусских губерниях иезуиты должны оставаться там попрежнему; мало того — сами иезуиты просили правитель-

ство дозволить им послушать папу и уничтожить свой орден в России, но им было отказано в этом.— Зубов слегка приостановился, весьма довольный знанием своего дела, откашлянулся и продолжал: — Я знаю, что все это было делом окружавших вас лиц, я знаю, что вы не могли изъявить такую волю... Я говорю прямо,— его лицо просияло при этих словах самодовольной улыбкой, потому что он должен был сейчас сказать то, что ему особенно нравилось,— я буду говорить прямо: ваше величество, как русская государыня, не могли стать защитницей католического ордена, изгоняемого самим папою, и вдруг что же? — православная государыня защищает — кого же? — Зубов слегка запнулся: у него выходило на словах вовсе не так хорошо, как он думал, и он договорил уже совсем не так, как приготовился: — Я думаю, что теперь пора восстановить этот промах... я думаю, что я углубился недаром в этот вопрос... Наткнулся я на него случайно...

Екатерина молчала, не перебивая, и смотрела неподвижно устремленными в сторону глазами. Казалось, она даже не слушала, но вся унеслась мыслями в прошедшее, о котором вдруг напомнили ей, в то далекое прошлое, когда сама она была иная и иные люди были вокруг нее. Она невольно боялась сравнивать этих людей с молодым, неопытным человеком, почти юношей, так смело и самоуверенно говорившим ей о вещах, о которых она думала и передумала в былое время, когда он был еще ребенком. Наконец она подняла глаза и с тихою, почти грустною улыбкою проговорила, качнув головою:

— Нет, мой друг, я в маленьком своем хозяйстве — это были ее любимые слова — никогда не действовала под чужим влиянием. Все делалось по моей воле, и то дело, о котором ты говоришь,— я сама так повернула и указ был мой, и воля была моя,— оставить орден иезуитов в России по-прежнему.

Зубов растерянно посмотрел на императрицу. Он, казалось, все предвидел, только этого никак не мог ожидать.

— Как же это так? — начал было он.

Екатерина спокойно взяла щепотку табака из стоявшей возле нее на столике табакерки с портретом Петра Великого, отряхнула ее и, понюхав, не спеша ответила ровным голосом, как учитель, толкующий урок своему ученику:

— В наших юго-западных областях много живет католиков, и нам нужно было отклонить притязания папы на господство над ними. Когда он уничтожил орден иезуитов — я не послушалась его, и это сделалось основанием

дальнейшей политики нашей с Римом. Мы скоро поняли друг друга... Я уничтожила этим привилегии католических монашеских орденов в России и подчинила их своей власти наравне с белым духовенством. У меня создалось свое правление римскою церковью, и папа ничего не мог сделать. Так-то, мой друг!.. А что говорят о их влиянии у нас, так это — пустое: никогда русский народ не изменит православию. Вспомни, что мы писали недавно еще, хоть бы неаполитанскому двору...

Зубов не помнил, что писали неаполитанскому двору, он не разобрал даже хорошенько то, что ему говорили сейчас; он понял лишь, что дело, которым он хотел было блеснуть, совершенно не вышло, и, надув губы, поднялся со своего места.

— Куда ж ты? — спросила Екатерина.

— Там много еще народа,— Зубов показал головою на дверь приемной,— и у меня есть еще дела.

И, минуя приемную, он прошел через зеркальную комнату в коридор, на другой конец дворца, где в нижнем этаже было отведено ему помещение.

Государыня позвонила в маленький колокольчик.

— Пожалуйте! — сказал камердинер графу Безбородко, и тот, переваливаясь, заспешил своею слегка неловкою походкою.

Войдя к государыне, он по привычке старых царедворцев опустился на колено (Суворов обыкновенно, входя к императрице, клал три земных поклона) и, поспешно поднявшись, прикоснулся губами к протянутой ему руке.

— Вот, матушка-государыня, письмо от племянника получил! — заговорил он и подал сложенную вчетверо бумагу.

Екатерина знала, что в этом письме нет ничего важного, что оно лишь служит предлогом Безбородко, чтобы явиться к ней; но так как он был отстранен от дел вовсе не по неблагорасположению ее, то она делала вид, будто очень хорошо, что граф является к ней, и даже добродушно улыбалась на присылаемую им к подъезду карету, о которой знала.

Она взяла письмо и, просмотрев его, проговорила:

— А у меня есть дело к тебе, граф.

Лицо Безбородко оживилось:

— Матушка! — воскликнул он.— Да прикажите лишь, ваше величество...

— Впрочем, дело нетрудное и несложное,— перебила Екатерина.— В городе — сегодня мой полицеймейстер ска-

зывал — опять, кажется, стали говорить о моем здоровье...

— От-то брешут! — не удержался Безбородко.

— Ну, так я к тебе вечером приеду. Собери гостей.

Безбородко весь просиял.

— Государыня, царица! Вот-то счастье мне! Когда изволишь только!

Екатерина знала, что огромное богатство графа, видавшего на своем веку празднества ее двора и устраивавшего их у себя в доме, позволит ему принять ее с должною честью, и потому-то именно выбрала его.

И Безбородко вышел от государыни радостный, словно его несказанно наградили, и уже заранее составлял себе план предстоящего торжества.

II

БАЛ У ГРАФА БЕЗБОРОДКО

По Новоисаакиевской улице, где прежде было подворье Курско-Знаменского монастыря, возвышался великолепный дом графа Александра Андреевича Безбородко, украшенный снаружи четырьмя гранитными, полированными колоннами с бронзовыми основаниями и капителями и мраморным балконом.

Ко дню празднества к этому балкону подвели высокий покатый вход для государыни, чтобы ей не подниматься по лестнице.

Огромный парадный зал с двумя мраморными вазами римской работы и высокими горками, уставленными редким фарфором и золотою посудою, был освещен множеством свечей, горевших в многочисленных жирандолях по стенам и в спускавшейся с потолка великолепной люстре из горного хрусталя. Эта люстра недавно еще висела в Palais-Royal'е герцога Орлеанского и досталась Безбородко на распродаже. Рядом с залом была комната, уставленная мебелью Марии Антуанетты, из Малого Трианона. Эта мебель была вывезена из Франции в начале революции и тоже куплена Безбородко.

Все, что было только знатного и выдающегося в Петербурге, съехалось на праздник к хлебосольному графу, на праздник, который удостаивала своим присутствием государыня.

Как только императрица показалась в дверях, музыканты, поместившиеся на подмостках амфитеатром на одном

из концов зала, и хор певчих грянули польский, и разодетые пары, с наследником-цесаревичем во главе, плавным и торжественным маршем прошли мимо государыни. Она была, казалось, весела, бодра и оживленна. Все должны были заметить, что действительно поднявшиеся было толки о ее здоровье несправедливы.

Пропустив два раза мимо себя польский, Екатерина в сопровождении торжествующего, не знавшего, как выразить свою радость, хозяина и прочих знатнейших персон прошла в гостиную. Пары разошлись, но сейчас составились опять, и начались настоящие уже танцы. Танцевали менуэт, галопад, матродур, экосез, танцевали, соблюдая все правила и выделывая старательно каждое па.

Кроме самого хозяина, возле государыни находились князь Зубов, граф Строганов, Протасова, графиня Браницкая, Эрстергази, дежурный генерал-адъютант Пассек.

Императрица несколько раз осмотрелась кругом, ища глазами своего всегдашнего собеседника, обер-шталмейстера Нарышкина, большого весельчака и забавника, известного больше под именем «Левушки». Его не было здесь.

— А что же Льва Александровича не видно? — обратилась она к Безбородко.

Тот торопливо стал оглядываться.

— Уж не заболел ли, не дай Бог? — спросила опять императрица.

— Можно дослать, государыня, я мигом прикажу! — пробормотал Безбородко, делая движенис вперед.

Но в это время среди расступившейся и пропускавшей его толпы показался Нарышкин в своем расшитом золотом и камнями кафтане. Он поспешно пробирался к дверям гостиной, то и дело кланяясь и здороваясь на ходу с отовсюду почтительно и вместе с тем дружелюбно приветствовавшими его лицами.

— А, вот вы наконец! — ласково улыбнулась ему императрица.— Я заметила ваше отсутствие, Лев Александрович.

Нарышкин ниже опустил склоненную пред государыней голову, благодаря ее за выраженное милостивое внимание, и, нимало не смутившись, весело проговорил:

— Не мог, ваше величество, опоздал; уж такое приключение случилось.

Императрица, зная, что сейчас последует какая-нибудь шутка, также весело взглянула на «Левушку».

— Какое приключение? — спросила она.

— Велел я дворецкому, чтобы он распорядился заложить карету, а он ее взял, да и свез в ломбард и заложил в действительном смысле.

Императрица улыбнулась, многие кругом рассмеялись. Все знали, что Нарышкин, несмотря на имевшиеся у него средства, постоянно нуждался в деньгах, был кругом в долгах и постоянно трунил над собою по поводу своих денежных дел.

— А, ловко вывернулся! — шепнул Строганов своему соседу Пассеку.

Приехать на бал позже императрицы было проступком против этикета, но Нарышкин, не смутившись, загладил его шуткою.

С приездом Нарышкина весь ближайший придворный кружок повеселел еще больше. Никто лучше его не умел так вовремя рассказать что-нибудь, рассмешить и всех волей-неволей заставить «быть в своей тарелке». Государыня села за партию рокамболя.

А в широком зале по-прежнему гремела музыка, и разодетые пары то и дело мелькали под ее звуки, веселясь от души. У Безбородко всегда было весело.

Когда кончилась партия, в продолжение которой Зубов, игравший с государыней вместе с Нарышкиным и Строгановым, был особенно молчалив и один из всех казался скучным и насупившимся, Екатерина поднялась от стола и, опираясь на руку хозяина, подошла к дверям зала посмотреть на танцующих. В это время танцевали протяжный, размеренный менуэт с его поклонами и церемонным шаганьем на цыпочках. Императрица, присматриваясь, несколько раз качнула в такт головою.

— А все не то, что хлопушка! — сказала она, улыбаясь стоявшему подле нее Нарышкину.

Тот тряхнул головою.

— И, матушка, теперь настоящую хлопушку и танцевать-то не умеют,— ответил он, и глаза его блеснули радостным, неподдельным весельем.— Александр Андреевич,— обратился он вдруг к Безбородко,— вели «хлопушку» играть! Что это, право!

Безбородко, слыша, что императрица заговорила об этом танце, начинавшем выходить уже из моды, поспешно, неловкою, старческою рысцой протрусил через зал к музыкантам и, дождавшись такта, махнул им рукою и отдал приказание.

И вдруг плавные и жиденькие звуки менуэта сменились быстрою, рубленою, веселою музыкой хлопушки.

Танцующие приостановились на мгновение, потом пары смешались, кавалеры быстро забегали от одной дамы к другой, и с новым приливом веселья и смеха появились под вызывающий, бодрящий, скорый темп танца новые пары. Они в такт застучали каблуками и, ударяя в ладоши и приподымая правую руку, закружились и заходили.

Из других комнат прихлынула толпа любопытных. Из нее отделялись еще пары и смешивались с танцующими.

— Нет, все-таки не так! — твердил Лев Александрович, тоже притопывая слегка и двигая плечами.

Ему не стоялось на месте. Он сегодня проиграл и потому был особенно в духе.

Безбородко, охваченный радостной рассеянностью, тою рассеянностью, когда человеку все нипочем и когда он очень доволен, тоже притопывал ногою и повторял машинально за Нарышкиным:

— Не так, не так...

— А вы покажите, граф, как нужно,— задорно сказала ему Браницкая.

Безбородко широко улыбнулся и, став слегка в позу, подал ей руку.

— А пойдемте,— ответил он шутливо, готовый на самом деле идти танцевать.

Браницкая рассмеялась, немножко отклонилась назад и вдруг решительным движением положила свою маленькую руку в большую, мужскую, мясистую руку графа и двинулась вперед.

— А кто же с нами будет, Лев Александрович? — обратилась она к Нарышкину, продолжая шутить и как бы не веря, что они пойдут танцевать на самом деле.

Нарышкин лукаво подмигнул графу Александру Андреевичу и, сделав несколько шагов вперед, приблизился к первой попавшейся даме, стоявшей в числе гостей в почтительном отдалении от дверей, у которых была императрица со своими приближенными, и умильно смотревших туда.

Дама, которую с поклоном пригласил Нарышкин, была красива собою, сильно, по моде, нарумянена, с подведенными бровями и густо напудренными волосами. На ней был широкий «робро», шелковый, модного цвета «подавленного вздоха» (soupir ètouifé). Сияющая и довольная, она ответила глубоким реверансом обер-шталмейстеру и, сопровождаемая завистливыми взглядами толпы, вышла с ним на середину зала; против них стали Безбородко

с Браницкой. Нарышкин, выждав такт, хлопнул в ладоши... «Настоящая» хлопушка началась.

Зубов сделал презрительную гримасу. Императрица взглянула на него и отвернулась.

Двор Екатерины был самым блестящим двором Европы. Нигде не соблюдался этикет строже, чем при ее дворе, и нигде не было выходов и приемов более торжественных и величественных, но вместе с тем нигде так не веселились и нигде не было такой искренней непринужденности, разумеется, в строгих границах. Екатерина одна умела с особенным «гениальным» тактом — если только гений может и в этом проявиться — сохранить ту неуловимую границу дозволенного, неподдельного, искреннего веселья, которая могла быть определена только ее уменьем. И это веселье не только не нарушало этикета, но, напротив, как бы придавало ему особенную прелесть и естественность.

Проделав ко всеобщему удовольствию фигуру хлопушки с неизбежным притоптыванием и прищелкиванием, Нарышкин,— у которого не столько ноги танцевали, сколько вся фигура вдруг оживилась, и глаза и улыбка засветились радостным оживлением, невольно сообщавшимся всем кругом,— отвел свою даму на место и, снова поклонившись ей, проговорил скороговоркою по-французски: «Позвольте, сударыня, представить вам мое почтение. Нарышкин Лев»,— добавил он с новым учтивым поклоном.

Красивая барыня в оброне цвета «подавленного вздоха» опять низко присела и, волнуясь и краснея под своими белилами, проговорила:

— Баронесса Канних!

— Ай да Лев Александрович! — сказала императрица ему, когда он подошел к ней, слегка запыхавшись и вытирая лоб платком.

Глаза ее тоже оживились. По всему было видно, что государыня хочет показать, что ей приятно и что она в духе.

И чем заметнее это было, тем грустнее и пасмурнее становился Зубов.

Музыка перестала играть. Толпа танцующих мгновенно притихла и, переговариваясь шепотом, поглядывала в сторону, где была государыня, присутствие которой чувствовалось тут. Все ждали, что сделает она и что захочет, чтобы делали другие.

Императрица бодрою походкой, тою походкой, которою она обыкновенно ходила на выходах во дворце, направилась по залу. Толпа сейчас же разделилась на две сторо-

ны, освободив широкий проход для императрицы. Она шла, кивая головою тем, кого желала удостоить этой чести, а иным протягивая руку и говоря несколько ласковых и приветливых слов. Так, с постоянными остановками, она медленно приближалась к противоположному концу зала, следя за знакомым ей изменением счастливых лиц, когда обращалась к кому-нибудь.

В самом конце зала, у дверей, стоял в военном мундире высокий, статный генерал, молодой еще по летам, но по задумчивому, строгому взгляду своих больших ясных черных глаз заметно переживший многое. Его открытое, смелое лицо, колоссальная фигура, дышащая мощью и силой, невольно бросались в глаза. Он стоял задумавшись, видимо далекий и от этого бала, и ото всего, что окружало его в эту минуту.

Екатерина остановилась, как бы припоминая что-то.

— Кто это? — шепотом спросила она у Безбородко, так что только он один мог услышать ее слова.

— Граф Литта,— ответил тот также тихо,— контр-адмирал службы вашего императорского величества.

Екатерина кивнула головою, как бы говоря: «А! Знаю теперь»,— и остановила долгий, внимательный взгляд на молодом графе.

III

ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД

Капитан корабля первого ранга, контр-адмирал, кавалер ордена св. Георгия третьей степени, награжденный золотою шпагою с надписью «За храбрость», граф Литта шесть уже лет состоял на русской службе.

Явившись в Россию по приказанию великого магистра Мальтийского ордена, он, связанный своим рыцарским обетом и влюбленный в замужнюю женщину, поступил прямо в наш действовавший в Балтийском море флот против шведов. Это было в самый разгар Шведской войны 1789 г.

Литта одного только просил, чтобы его послали в дело, в самый опасный пункт, где требовался человек, готовый не щадить себя.

В самом деле, к чему ему было беречь себя и думать о жизни, которая ему, кроме горя и вечной разлуки, ничего теперь не обещала впереди? Она давила его, эта жизнь, как камень сизифов, но давила безнадежно. Он рад был

войне, рад был своему участию в ней, потому что его единственною притягивающею к себе мечтой было — найти почетную смерть среди боя. Он только этого и желал, больше ничего ему не оставалось в жизни, где счастье было невозможно для него. Несмотря на все старания, на все хладнокровие, которым он хотел вооружиться при помощи таинственных книг, советов великого магистра и наконец собственных рассуждений и уверенности в необходимости подчинения своему долгу, своему обету,— живое чувство любви превозмогало в нем все остальное.

Граф был назначен в гребную флотилию принца Нассау-Зигена, находившегося тогда тоже на русской службе.

Казалось, итальянец граф Литта находился в самых невыгодных условиях на нашей службе, попав прямо в действие. Он не был знаком ни с нашим народом, ни с языком; не только матросы, но даже многие офицеры, не говорившие по-французски, не могли понимать его.

Сначала они отнеслись к иностранцу недоверчиво. Правда, внушительная фигура и бравая осанка мальтийского моряка с первого же раза произвели на них благоприятное впечатление. Но его молчаливый, угрюмый вид и неразговорчивость заставили подчиненных и окружающих смотреть на него несколько подозрительно. Они, разумеется, не могли знать причину этого, не могли знать, что происходило в душе графа Литты.

Однако при первом же столкновении с неприятелем он весь оживился и стал другим, совсем другим человеком. Та отчаянность, с которою он кинулся впереди всех, не заботясь даже, следуют ли за ним те, которых он вел, на неприятельскую галеру (они захватили ее тогда в плен), та радость, с которою он ворвался в кучу врагов, думая что все уже будет кончено с ним,— была принята как из ряда вон выходящая храбрость и возбудила неподдельный восторг и удивление. Несмотря на явную опасность, с которою он пошел с твердым намерением уже не вернуться живым, Литта остался невредим.

После этой первой стычки он загрустил еще больше и стал еще угрюмее. Все, казалось, было против него; весело жужжащие пули, которых страшились все новички и которых, напротив, Литта искал, как бы нарочно миновали его, шведские ядра (шведы стреляли очень плохо) или не достигали до цели, или перелетали ее, что сердило Литту, как знатока дела, не могшего простить даже неприятелю плохую стрельбу; рукопашная схватка, когда он кинулся на отчаянный абордаж, тоже кончилась как-то

слишком вяло, безвкусно, совершенно не так, как бывало, когда дело шло с головорезами-алжирцами. Литта не хотел принять во внимание, что шведов ждал довольно покойный и гуманный плен, алжирцев же — смертная казнь или рабство. Шведы сдались слишком скоро.

Главный начальник Литты, Нассау-Зиген, тоже действовал, по его мнению, недостаточно энергично: он все «поспешал» куда-то, составлял диспозиции, но в бой, куда рвался Литта, вступал довольно осмотрительно. Способ его северной морской войны казался Литте ненавистным. Шведы забирались в шхеры, старались укрыться за каменистые островки и украдкою отстреливались оттуда. Флотилия, где находился Литта, действовала у берегов (в самом море плавала наша эскадра под начальством Чичагова), и эта вечная возня у каменистых бугров, о которые слабо плескалось темное, студеное северное море, казалась так же ничтожна и мелка, как были мелки самые воды. Не было той шири, страсти, размаха, могущества и поэзии, к которым привык Литта в чудесных, теплых, картинных, средиземных водах.

Во всю войну для Литты было одно лишь сражение, похожее на настоящее дело, когда шведский флот обер-адмирала Эренсверда застрял между островами Котки, Мусола и Кутцель-Мулла.

Бой продолжался четырнадцать часов. В девять часов утра мы открыли пальбу с наших судов и с двух устроенных на островках батарей. Неприятель отвечал сначала редкими, неуверенными выстрелами, но вскоре огонь его усилился.

Мы приближались к нему медленно, потому что при безветрии нужно было работать веслами. Литта на маленькой шлюпке переезжал с одного из находившихся под его начальством судов на другой, отдавал распоряжения и, выбиваясь из сил, без устали работал. Две галеры у нас взорвало. Литта был на одной из них и сам помогал тушить пламя.

Когда кончился этот упорный четырнадцатичасовой бой полным поражением неприятеля, Литта, все время находившийся в самом огне, весь черный от порохового дыма, усталый, измученный, почувствовал, что все-таки он цел и невредим и его заветное желание вовсе не исполнилось. Мало того, его еще наградили за то, что он остался жив, и через несколько времени в «Ведомостях обеих столиц», в реляции о действиях нашего флота, между прочим, было напечатано:

«Флота капитан генерал-маиорского ранга, кавалер Литта, командовавший правым крылом в атаке, данные ему от начальства наставления с похвальною точностию и искусством исполнял, поспешая везде, где должно было от начала до конца сражения и подавая доводы своей отличной храбрости».

Страннее всего было тут то, что Литта именно не делал того, за что его хвалили, то есть вовсе не исполнял «с точностию и искусством» данные ему и придуманные Нассау-Зигеном наставления, потому что их нельзя было исполнить, и стал действовать по вдохновению, как только раздался первый выстрел. Но он даже не обратил внимания на эту странность. В конце войны он оказался награжден Георгиевским крестом и золотою шпагою с надписью «За храбрость».

Вот все, что ему дала война и чего желали бы, впрочем, добиться многие; но то, чего он именно искал и чего другие не хотели и нашли, он не нашел.

Литта остался на русской службе и деятельно занялся обучением команд.

С годами буря его мало-помалу улеглась в нем, и, всецело предавшись занятиям, он думал уже найти в них покой, как вдруг все это снова перевернулось и на тихой поверхности появились новые волны.

IV

НОВАЯ ВОЛНА

С той самой минуты, как только государыня остановила свой взгляд на графе Литте во время бала, его жизнь, до этого казавшаяся вполне определившеюся, заключенною в известные рамки, из которых и выйти было нельзя, вдруг быстро и тревожно изменилась, приняла совершенно другое, неожиданное направление.

Он сразу, сейчас же почувствовал этот устремленный на него взгляд и невольно поднял голову. Императрица стояла в нескольких шагах от него. Глаза всех окружающих тоже остановились на нем. Они понуждали его и как бы подсказывали, что нужно было делать. И он, машинально подчиняясь общему окружавшему его настроению, выпрямился, шагнул вперед и подошел к императрице.

Екатерина протянула графу руку. Он склонясь прижал ее к губам.

— Граф Литта — рыцарь Мальтийского ордена? — проговорила она.

Литта низко наклонился.

— Отчего же я не вижу вас при моем дворе? — продолжала Екатерина.

— Не привык, ваше величество,— ответил Литта, вздохнув,— я чувствую себя свободнее на палубе корабля; к тому же мое положение рыцаря духовного ордена...

— Я желаю,— перебила государыня,— видеть при себе достойных людей, в числе коих почитаю и вас, сударь. Я хочу, чтобы вы бывали в нашем обществе. Мы отучим вас дичиться людей...

Литта опять поклонился, думая, что императрица ограничится этими и без того уже милостивыми словами и, выразив лестное желание видеть его при дворе (а это выпадало далеко не на долю каждого), пройдет мимо, но она не думала уходить. Она, чуть заметно улыбаясь одними глазами, смотрела на склонившегося пред нею рыцаря в полном блеске красоты, силы и здоровья и медлила, как бы соображая что-то.

Несколько голов из ее свиты значительно переглянулись между собою.

— К тому же,— снова начала Екатерина,— вы должны блюсти интересы вашего ордена; в моих владениях теперь, с присоединением польских провинций, есть земли ордена. Вы можете, граф, явиться предо мною достойным представителем братства!

— Я имею счастие состоять на службе вашего величества,— напомнил Литта.

— Тем лучше для вас,— улыбнулась Екатерина и, кивнув головою, добавила: — До свиданья!

В этом последнем милостивом слове звучало так много доброты, ласки, обещания и одобрения, что Литта был в восторге, когда государыня отошла от него.

И вот тут-то, как только она отошла от него, вдруг, точно по волшебству, все вокруг него изменилось. Новая волна, нечаянно нахлынувшая в его жизни, подхватила его, подняла и, несмотря ни на что и помимо его собственной воли, держала уже над бездной на высоте, от которой у многих бы голова пошла кругом.

Но Литта в первые минуты только удивлялся, осматривался, стараясь отвечать любезно на посыпавшиеся на него со всех сторон любезности и скрыть усмешку, так и просившуюся у него наружу.

Раньше других подошел к нему сам Безбородко и так крепко стиснул руку, точно хотел раздавить ее. Нарышкин кивнул ему головою первый, как старому и доброму знакомому, хотя Литта почти не знал его. Какой-то придворный в расшитом мундире, очень вежливо, на отличном французском языке, стал просить возобновить с ним знакомство и очень подробно сейчас же припомнил, где и как они встретились года два тому назад, но почти тотчас же был оттерт другим, который стал уверять, что он всегда следил (еще в шведскую войну) за успехами Литты и очень радовался им. Словом, за минуту пред тем граф Литта стоял, почти никем не замечаемый, лениво прислонясь к двери, а теперь вдруг стал предметом общего внимания, дружелюбия и заботливой предупредительности.

Сдержанный шепот молвы перенес на другой уже конец зала весть о том, что государыня остановила графа Литту, молодого вице-адмирала, и «долго» разговаривала с ним, приказав явиться ко двору.

Эта весть стала сейчас же новостью вечера, о ней заговорили шепотом с различными добавками и предположениями, ни на чем, впрочем, не основанными, и кто знал Литту хоть мельком, спешил к нему, а никогда не видавшие его протискивались поближе, чтобы посмотреть на него. Когда он проходил, сзади него слышалось сдержанное: «Литта... вот граф Литта!»

Баронесса Канних отыскала его среди толпы и слегка коснулась веером его локтя.

— Дайте мне руку, граф! — сказала она, стараясь говорить громко.— Я ужасно устала.

Литта поздоровался с нею и, подав руку, повел ее по залу.

Баронессе Канних особенно везло сегодня. Она случайно танцевала хлопушку в кружке ближайших придворных и теперь шла под руку с человеком, имя которого было почти у всех на языке.

— Ну, граф,— заговорила она опять, но уже понижая голос,— раскаиваетесь ли вы, что я настояла на том, чтобы вы приехали на этот бал?

Отношения да и само знакомство Литты с баронессой имели довольно странный характер.

Как бы мужчина самодовольно ни чуждался женщин, как бы ни находил их беседу бессодержательною и разговор пустым, но без женского общества ему не прожить и невольно его тянет порою именно к этой бессодержательной беседе и пустому разговору, в котором можно рас-

сеяться, отдохнуть. Словом, человек, мало-мальски получивший светское воспитание, не может обойтись без того, чтобы не побывать изредка в хорошей гостиной, где на него пахнет тем воздухом, к которому он привык с детства, и где нужно подтянуть себя, попридержать и окунуться в знакомую атмосферу приличия и учтивости.

Литта, попав в Петербург, не имел там ни связей, ни знакомств. Сначала он побывал при дворе, но его там скоро забыли, может быть, потому, что он не старался ни у кого заискать и не сделал ничего, чтобы попасть и втереться в придворное общество. Ему было решительно безразлично, и он отнесся к этому более чем равнодушно.

Тогда с ним случилось то, что случается с большинством иностранцев, поселяющихся на житье в чужом городе. Нечаянно попав в какой-нибудь кружок, они остаются в нем, если не сделают усилий выбиться повыше или если случай не выдвинет их.

Литта познакомился через своего сослуживца с баронессой Канних, и как-то так вышло, что ее дом очутился для него в числе тех немногих домов, которые он изредка посещал, именно чтобы освежиться и побывать в гостиной.

Баронесса была вдова, имела средства (ее муж служил когда-то по провиантской части) и приходилась дальнею родственницей госпоже Лафон, начальнице Смольного института, чем очень гордилась и вследствие чего считала вправе причислять себя к аристократическому обществу, в которое старалась пробиться всеми силами.

Однако, несмотря на свои старания, баронесса занимала все же лишь какое-то среднее положение. Из знатных дам почти никто не бывал у нее, а если и бывали, то раз в год и то в такой час, когда ее не было дома; мужчины же, напротив, посещали ее. И она старалась привлечь хоть их, как умела, в свою гостиную, где, впрочем, бывало довольно весело. Когда назначался бал или праздник у кого-нибудь из вельмож или знатных лиц, баронесса выходила из себя, хлопотала, бегала и в большинстве случаев добивалась для себя приглашения. Если же ей не удавалось этого, то она непременно сказывалась больною и со злости колотила крепостную девку.

На сегодняшний бал она достала билет Литте, но он приехал сюда вовсе не по ее настоянию, а имея свою особую цель, которую, разумеется, баронесса не могла подозревать.

— Что же, граф, вы не отвечаете мне? разве вы не довольны нынешним вечером? — повторила она, когда

они сделали несколько шагов молча после ее первого вопроса.

Литта, задумчиво покачав головою, ответил:

— Нет, недоволен и очень недоволен!

— О, как видно, что вы мало бывали при нашем дворе! — проговорила баронесса таким тоном, из которого было ясно, что она, баронесса, несомненно бывала тут очень часто, и, нагнувшись почти к самому уху Литты, она зашептала: — Вы знаете, князь Зубов почти накануне падения, ищут только случайного человека, и тот, кому посчастливится стать в случае...

Это были всегдашние сплетни, вечно ходившие в особенности среди таких барынь, как баронесса, занимавшихся ими с какою-то горячею самоотверженностью и рвением.

Литта, уже не слушая ее, давно приглядывался, ища глазами того человека, для которого он приехал сюда. Теперь он нашел его.

Цесаревич Павел Петрович стоял, прислонившись к высокой мраморной вазе, и, сунув большой палец правой руки за борт своего мундира, внимательно приглядывался к тому, что происходило вокруг него. Он был один из своей семьи на балу. Великая княгиня осталась в Гатчине; что же касается их детей, то бабушка-императрица не сочла нужным для них ехать сегодня к Безбородко.

Цесаревич, несмотря на окружавшую его толпу, был один среди этого многолюдства. Все старались не попасться ему на глаза, и если приближались к нему, то так, чтобы этого «не увидали, не заметили» и чтобы «беды не вышло». Павел Петрович давно привык к такому своему положению и всегда в многолюдных собраниях удалялся куда-нибудь, чтобы ему не мешали, и, облокотясь, как вот теперь облокотился, смотрел пред собою блестящими, широко открытыми глазами. Его голова бывала высоко приподнята и подбородок слегка вздрагивал.

Увидав его, Литта поспешил незаметно высвободить свою руку от баронессы и хотел направиться в ту сторону, где стоял цесаревич.

V

СУДЬБА

Еще в детстве Павел Петрович с жадностью читал занимательные истории и похождения из жизни мальтийских рыцарей. Впоследствии он ближе познакомился с историею

ордена и навсегда сохранил лестное мнение об этом учреждении. Орден всегда составлял предмет, особенно интересный для Павла Петровича. Он изучил его устав, в его библиотеке были собраны все сочинения, касавшиеся мальтийских рыцарей, и уже в 1776 году он построил инвалидный дом на Каменном острове в честь своего любимого ордена.

Как генерал-адмирал, великий князь приходил в соприкосновение с мальтийскими рыцарями, бывшими на русской морской службе, и в числе других ему был представлен и Литта.

В настоящее время граф один оставался из своих товарищей-братьев в Петербурге. Некоторые из них погибли в шведскую войну, иные были отозваны назад на Мальту, остальные перешли на службу в другие флоты.

Баронесса Канних, заметив движение Литты, с которым он хотел оставить ее руку, вдруг порывисто уцепилась пальцами со всею силою, какая нашлась у нее, за его локоть.

— Куда вы? — беспокойно, испуганно проговорила она и потянула Литту назад.

— Простите меня, мне надобно,— начал было он.

— Вы к нему? — Канних не дала договорить ему и метнула глазами в сторону великого князя.

Литта не ответил, но попробовал сделать усилие освободиться от нее.

— Вы с ума сошли! — взволнованным шепотом заговорила Канних (весь разговор шел по-французски).— Вы потеряете себя... Что вы, как можно!.. сегодня еще! Вы этим испортите все. Теперь вам нужно быть осторожным. О, я буду следить за вашими интересами, будьте покойны, и не пущу — слышите ли? — не пущу! Как можно!..

— Прошу вас, баронесса, не думать, чтобы сегодня я счел нужным вести себя иначе, чем когда-нибудь,— подчеркнул Литта слово «сегодня» и, строго сдвинув брови, глянул на свою даму.

Канних рассмеялась деланным смехом, прищурив один глаз.

— О, граф, скрытность — конечно, великая вещь, но она не годится между друзьями... а ведь мы с вами — давнишние друзья! Так не играйте роли... Нет, я не могу пустить вас...

В это время Павел Петрович отошел от вазы и направился к дверям. Гости собрались ужинать.

Литте оставалось только вести свою даму к столу, и он повел ее мрачный, почти сердитый, с нахмуренным, отчаянным лицом. Зато баронесса цвела неподдельно радостной улыбкой.

— Где, где? — доносился до ее слуха сдержанный шепот.

— Да, вот же он... под руку с дамой в платье «нескромной жалобы»... Черный, высокий... А хорош!..

— Так она не в «нескромной жалобе», а в цвете «подавленного вздоха». Теперь вижу... видный такой...

После ужина, за которым особенный фурор произвело золотое плато непомерной величины с бриллиантовым шифром посредине, императрица сейчас же уехала. Великий князь отбыл за нею, и Литте так и не удалось поговорить с ним во весь вечер.

Граф вернулся домой не в духе, недовольный и балом, и самим собою, и нежданным проявлением к нему всеобщей любезности, и навязчивым покровительством баронессы Канних, приставшей теперь к нему, как муха к меду.

Он снял с себя мундир, надел шелковый шлафрок, но вместо того, чтобы идти в спальню, остался в кабинете, перенес свечи на бюро и, опустившись на кресло, задумался. Он думал, что испытание, которое он перенес шесть лет тому назад, в Неаполе, испытание любви, будет последним для него и что его жизнь кончится так, как у большинства его собратьев по ордену, то есть в отдалении от всяких соблазнов. Сегодня судьба посылала новое испытание.

Но Литта не мог держать улыбку, и эта улыбка относилась к этому новому «искушению». Казалось, судьба ошиблась — испытание было напрасно.

Литта никогда не хотел первенства, никогда не искал власти, значения, не хотел и теперь, когда, судя по общему голосу, которого он не мог не понять, казалось, ему стоило сделать небольшой, может быть, шаг, протянуть руку, и в этой руке окажется сила, способная заменить почти царское могущество. Конечно, как оно выйдет на самом деле, еще ничего не известно, и по правде-то все это окажется вздором; но мечтать и видеть очень ясный намек на осуществление этой мечты никто не мог бы запретить ему в данную минуту. Однако Литта не только не хотел мечтать об этом, а, напротив, добросовестно разобрал все, так сказать, уголки своей души, нет ли там где-нибудь чувства, склонного к тому искушению, которое надвинулось на него, и ничего не нашел: в его душе жило

другое чувство, заглушить которое время все-таки было не в силах. Он все еще любил, любил по-прежнему и, может быть, больше прежнего.

«Разлука для любви — все равно, что ветер для огня,— вспомнилось ему.— Когда огонь силен — ветер только может раздуть его; когда же огонь слаб — он его тушит».

Это чувство не было заглушено разлукой, но свидятся ли они? А если свидятся, то что же из этого может выйти? И Литта должен был ответить себе на этот вопрос, что ничего, кроме горя, страдания и муки. Это сознание полной безнадежности было ужаснее всего.

Он не хотел думать об этом, но воспоминания сами собою мелькали пред ним.

Шесть лет назад,— также в декабре — может быть, даже в тот же самый день, что сегодня, они сидели на веранде, под густыми листьями винограда; вечерний воздух был тепл и прозрачен, цветы благоухали, и она была рядом с ним — но — увы! — в последний раз. Это было их последнее свидание. А теперь он один, в далекой стране; порывистый, леденящий ветер шумит за окном и крутит белые хлопья снега, и шумит жалобно, протяжно, и камин мелькает своим красным светом, и так тоскливо и скучно, и пусто кругом! Так что ж уж тут власть, значение и сила?

Резкий, сухой стук заставил Литту невольно вздрогнуть. Что-то крякнуло в соседней комнате — должно быть, половица лопнула.

Граф провел рукою по лицу и, встряхнув волосами, наклонился к бюро, вынул пачку счетов и записочек, а затем сосредоточенно принялся рассматривать их. Ему не хотелось еще спать. Он желал рассеять свои мысли чем-нибудь совсем посторонним.

Литта был богат. Он имел в северной Италии значительные поместья, приносившие ему хороший доход. Но этот доход вследствие расстояния, получался крайне неаккуратно. Деньги, которые граф получил в последний раз, приходили к концу, у него предстояли платежи (были долги кое-какие), и нужно было рассчитаться по счетам, а между тем было неизвестно, когда придет новая получка. Литта написал письмо; но он знал, что отправить из Италии в Петербург значительную сумму денег вовсе не легко, в особенности при тех событиях, которые происходили во Франции. А тут еще, если действительно потребуют его приезда ко двору, будут предстоять новые издержки, совсем неожиданные и не входившие в расчет.

И Литта принялся, стараясь сосредоточиться, за разборку счетов, но мысли его путались, цифры разбегались и не слушались его. Он все складывал какую-то графу, и каждый раз получал разные итоги: то 416, то 395, раз даже вышло 500. Наконец Литта поймал себя на том, что снова сидит задумавшись и рука его машинально выводит на бумаге очень красивую пятерку с двумя нулями.

«Что ж это со мною?» — подумал он, и, протянув руку, достал с маленькой, вделанной в бюро, полочки книжку в белом пергаментном переплете с золотыми углами и золотою же застежкой в виде сфинкса.

Он раскрыл книгу и отыскал пятую таблицу.

На ней был изображен посвященный в тайны Изиды, сидящий между двумя колоннами святилища. У его ног распростертыми на земле лежали два человека, одетые: один — в красное, другой — в черное. Посвященный правою рукою делал у себя на груди знак сосредоточия. Колонны означали закон и свободу повиноваться ему или нет. Посвященный, или иерофант — орудие тайных знаний,— представлял собою гения добрых внушений сердца и рассудка. Делаемый им знак приглашал слушаться вышнего голоса, утишив страсти и похоть. Два человека служили символами зла и добра, которые оба находятся в подчинении у властителя Арканов.

Под таблицами Литта перечел знакомые слова:

«Прежде чем сказать о человеке, счастлив он или нет, узнай сначала, как распорядился он своей волей, потому что «всякий человек созидает себя по подобию дел своих». Твоя будущность зависит от доброго или злого гения. Сосредоточься в молчании, внутренний голос заговорит в тебе: пусть ему ответит твоя совесть».

VI

БРИЛЛИАНТОВЫЙ КРЕСТ

На другой день с одиннадцати часов утра начали приезжать к Литте с визитом люди, не только бывавшие у него прежде, но и те, которых он вовсе не знал. Тут были и его сослуживцы, и гражданские чиновники, и придворный, который «возобновил» с ним вчера знакомство, и тот который «следил» за его успехами в шведскую войну, и даже сам Безбородко. Все они приезжали как будто невзначай, осведомиться о здоровье графа, как, мол, он се-

годня себя чувствует и вообще все ли обстоит благополучно у него.

Литта принял первого посетителя вежливо и любезно, и только что простился с ним, как явился второй, потом еще два сряду. Литта принял и их. Они посидели, поговорили и уехали. Но за ними последовали новые и новые, и с каждым часом все больше и больше.

Литта, не привыкший к толчее, вдруг устроившейся теперь у него в доме, почувствовал, что у него просто разболелась голова. Лакеи с ног сбились. Он выбрал минуту и, взяв шляпу, хотел уйти, но на лестнице его поймал опять какой-то господин, уверявший, что встречался с ним у баронессы Канних и что ему «очень приятно», и т. д.

Наконец Литта велел не пускать к себе никого, сказать, что его нет дома, что он нездоров, болен, умер — все, что хотят, лишь бы его оставили в покое.

Боясь теперь сделать новую попытку выйти из дома, чтобы опять не поймал его кто-нибудь на лестнице, граф сидел у себя в кабинете, как арестованный, досадуя на всех и все, а к его подъезду то и дело подъезжали кареты и сани. И каждый из этих посетителей воображал, что придумал что-нибудь новое, что он один только явился к Литте, чтобы «вовремя» забежать к человеку, который был, по общему голосу, на пороге «случайности». Этот «общий голос», столько раз обманывавший, безосновательный, иногда даже ни на чем не основанный, все-таки еще возбуждал к себе доверие людей, которым, видимо, мало было что делать, кроме как сновать по городу и накидываться с жадностью на каждую новость. Теперь Литта узнал, что таких людей было в Петербурге гораздо больше, чем можно было ожидать этого.

Из иностранной коллегии ему принесли формальное извещение, что ему будет дана частная аудиенция по делам Мальтийского ордена.

Он знал, что он — единственный теперь мальтийский рыцарь в Петербурге, знал, что с переходом от Польши к России части ее владений Острожская ординация была теперь в черте русской территории, что отношения ее к правительству еще не выяснены и что давно следовало бы возбудить о них вопрос. Вчера на балу государыня сама вспомнила об этом, и так как не в ее привычке было откладывать дело в долгий ящик, то она приказала послать ему это извещение. Все это было весьма просто и естественно, и никто, собственно, не имел права делать из этого каких-нибудь дальнейших выводов.

Литта понимал это, и его заботило в данном случае совсем другое. Если начать дело и желать довести его до благоприятного для ордена решения, для этого нужны были деньги и, может быть, большие. Между тем Литта не знал, когда еще получит свои деньги из Италии, а в настоящую минуту для него было даже затруднительно обставить должным образом свое появление на аудиенции. Требовались почетная карета, ливреи, и для него самого, носившего в последнее время русскую военную форму, необходим был роскошный наряд мальтийского рыцаря, которого он уже давно не надевал. Все это стоило не дешево. Времена, когда братья ордена довольствовались скромным одеянием с белым полотняным крестом на груди, давно прошли, и теперь нужно было явиться к блестящему двору могущественной государыни с подобающей роскошью, к которой привыкли тут. У Платона Зубова, например, одни кружева стоили около тридцати тысяч рублей, не говоря уже о бриллиантах.

Как раз в то время, когда Литта занимался расчетами и соображениями, пред ним явился его итальянец-камердинер.

— Что вам? — спросил граф.

— Какой-то человек желает видеть эчеленцу,— проговорил камердинер.

— Я сказал, чтобы никого не пускали ко мне!.. Что ж вам еще нужно? — ответил Литта и отвернулся к окну.

— Но этот человек говорит, что у него есть дело к эчеленце.

Граф, не отвечая, продолжал задумчиво глядеть пред собою.

— А вы послали за Абрамом? — спросил он вдруг.— Мне нужно его.

— Он обещал прийти сегодня,— ответил камердинер и, подождав немного, добавил: — Так что же, эчеленца, прикажете ответить тому человеку?

— Какому человеку? Ах, тот, что пришел!.. Да кто он такой?

— Почтенный старик немец; он назвал себя господином Шульцем и велел просить эчеленцу, чтобы вы его приняли..

Литта пожал плечами. Он не знал никакого Шульца.

— Да что это: господин, чиновник? Каков он собою? — спросил он опять.

— Он скромно одет, похож на иностранного купца.

— Просите! — сказал наконец Литта.

Шульц вошел и почтительно поклонился графу. Это был высокий старик с бородой, в синих очках и с подстриженными волосами. На нем были коричневый шерстяной камзол, такие же панталоны, синие нитяные чулки и толстые башмаки с пряжками.

— Позвольте мне, граф,— заговорил он по-немецки,— представиться вам: я — бриллиантщик по профессии... недавно явился в Петербург...

Литта, уже раздраженный сегодняшним утром, недружелюбно смотрел на него, но это, видимо, мало смущало старика Шульца. Его лицо было совсем спокойно, и, как ни вглядывался Литта в его темные, выпуклые очки, плотно прижатые к лицу, он не мог рассмотреть скрытых за ними глаз.

— Садитесь. Что же вам угодно? — спросил он.

Старик немец опустился на стул, и Литта только теперь заметил, что в его руках был небольшой футляр черного сафьяна. Шульц открыл футляр и подал Литте. Там лежал великолепный мальтийский крест белой финифти, осыпанный кругом бриллиантами и приделанный к цепи, на которой тоже сверкали драгоценные камни.

— Дивная работа! — не мог удержаться Литта.

Он с трудом говорил по-немецки, припоминая слова, но все-таки довольно порядочно.

— Может быть, вам, как мальтийскому рыцарю, пригодится эта вещь? — заговорил Шульц.— Я бы с удовольствием продал ее, граф.

Литта задумался. Бриллиантовый крест был действительно очень хорош и нужен был ему в особенности теперь, чтобы явиться ко двору. Но чем заплатить сейчас?

— Если вы сомневаетесь насчет денег,— подхватил Шульц, как бы угадывая его мысли,— то достаточно будет вашего слова — скажите: когда можно будет получить, и я обожду. Таким людям, как вы, можно доверить.

— Но ведь вы меня совершенно не знаете. Я в первый раз вас вижу,— возразил Литта.

— Я знаю мальтийских рыцарей,— ответил Шульц, пожав плечами.

— Скажите: это — ваша работа? — спросил опять Литта, разглядывая крест и поворачивая его к свету, чтобы заставить играть камни.

— Нет, эта вещь досталась мне случайно: я приобрел ее еще в Германии, и вот до сих пор не мог найти покупателя, а переделать на другое жаль — работа хорошая.

Литта долго еще любовался работой.

— Вот видите ли,— заговорил он наконец,— мне действительно нужен был бы этот крест, но теперь я не могу дать вам даже задаток: я не знаю, когда получу деньги, которые жду. Но если вам угодно подождать...

Шульц встал с места и поклонившись произнес:

— Я повременю; вы можете оставить вещь у себя.

Литта тоже встал. Почтенный вид старика и то доверие, которое он оказывал ему, невольно заставили графа отнестись к нему с уважением.

— Я вам дам сейчас расписку — на какую сумму только? — проговорил он, наклоняясь над бюро и ища бумагу.

Старик улыбнулся широкою улыбкой.

— Не надо расписки; ваше слово должно быть крепче всякого документа.

И, поклонившись еще раз, он вышел из комнаты, затворив за собою дверь.

Литта сейчас же пошел проводить его, но ни в соседней комнате, ни в следующих не настиг его: Шульц исчез так быстро, словно его вовсе не было.

На лестнице Литте раскланялся Абрам, за которым он посылал утром и который ждал его теперь. С этим Абрамом многие имели дела в Петербурге, и, между прочим, у него в руках уже было несколько расписок графа Литты за деньги, ссуженные под большие проценты.

— А, это — ты! — кивнул ему граф.— Ты не видел, прошел мимо тебя сейчас высокий... старый...

Абрам открыл широко глаза и, видимо, не мог взять в толк, что ему говорили.

— Граф присылали за мной,— заговорил он,— и вот я тут. Графу нужна моя служба, я услужу графу...

Литта не стал расспрашивать его дальше. Несмотря на свое шестилетнее пребывание в России, он еще плохо владел русским языком, и столковаться ему с Абрамом было затруднительно, когда дело не касалось денежного вопроса.

— Ступай! — сказал он ему и повел к себе в кабинет. Придя сюда, он приблизился к бюро, отложил в сторону крест, на блеск бриллиантов которого так уставился Абрам жадными глазами, и, сев в кресло, быстро проговорил: — Мне нужны деньги...

Он знал, что Абрам будет сначала вздыхать и охать, но потом все-таки даст и сдерет проценты вперед. Но, к его удивлению, Абрам кивнул головою и, хитро прищурившись, проговорил:

— Я знаю это. Как меня пришли сегодня звать к гос-

подину графу, я уже знал, что графу деньги нужны теперь.

— Откуда же ты знал это? —сдвигая брови, спросил Литта.

— Я все знаю... Мне многое известно, господин граф. Сколько же вам нужно?

— А сколько ты можешь дать?

— А если граф не будет скупиться, то сколько он пожелает.

Литта принялся пересматривать счета, подсчитывать и наконец, в двадцатый раз, убедился, что меньше пяти тысяч ему не обойтись на первое время.

— Пять тысяч теперь и через две недели еще столько же,— проговорил он.

— Много, много денег! — не утерпел-таки вздохнуть Абрам.— С собою у меня нет столько — я принес только три тысячи... Если господину графу угодно...— И он, опустив руку в карман, вынул оттуда пачку билетов и выложил их на стол, после чего добавил: — Остальные будут доставлены.

Литта с каким-то словно омерзением поглядел на эту пачку.

«А не бросить ли это все? Зачем, к чему это? Разве нельзя продолжать жить, как прежде? — пришло ему в голову.— И почему этот Абрам вдруг так охотно старается всучить мне свои деньги сегодня? Смотрит и боится только, чтобы я не отказался от них, и ждет расписки на двойную сумму, с причислением процентов?.. Как все это гадко!»...

И в то же самое время Литта уже брал бумагу, сгибал ее пополам и, взяв перо, нес его к чернильнице. Его взор нечаянно упал на отложенный в сторону крест, вдруг особенно блеснувший в эту минуту. Вероятно, угол света, под которым лежал теперь крест, был особенно благоприятен для игры камней.

Но в этом случайном блеске было еще как будто что-то странное. Узор маленьких камешков, окружавших большие бриллианты, точно составил четыре буквы. Это был один миг, но Литта прочел в них латинское слово: «cave» — «берегись!» Однако он моргнул глазами, окунул перо в чернильницу и стал писать расписку.

Абрам взял ее, когда она была готова, оставил деньги и ушел.

«Что это? показалось мне или на самом деле так? — подумал Литта и, взяв крест, стал внимательно рассмат-

ривать его. Но как он ни поворачивал его, под каким углом ни смотрел,— ничего особенного нельзя было заметить. Это была теперь простая ювелирная вещь — очень тонкой работы, правда, и только.— Однако ж он не сказал мне даже цены,— вспомнил Литта,— и не оставил адреса»,— но, осмотрев футляр, нашел на внутренней стороне его адрес Шульца, который жил на Морской, и тут же решил, что сегодня же пойдет к нему и заплатит хоть что-нибудь из полученных от Абрама денег.

VII
LA PETIT BOUDOIR

Беспокойному дню, начавшемуся так тревожно, не суждено было кончиться отдыхом, на который рассчитывал Литта вечером.

Пред обедом ему принесли записку от баронессы Канних; она была составлена очень ловко, на самом изящном французском языке. Баронесса звала его к себе вечером и давала понять, что если он откажется, то это будет принято за выражение гордости с его стороны и за пренебрежение, с которым-де он отнесется к прежним и старым друзьям своим. Словом, выходило так, что если не отправиться к этой Канних, то это будет служить подтверждением возникших догадок: «Вот, мол, я какой! И знать вас больше не хочу!»

Как только стемнело, Литта оделся и пешком пошел отыскивать лавку Шульца. Он нашел ее не без труда, но она оказалась запертою снаружи очень плотно железными ставнями. Литта решил не стучать, подождать до завтра, когда лавка будет днем, по всем вероятиям, открыта, и направился к баронессе.

Здесь его сейчас же приняли. Он думал, что у Канних вечер, что он застанет у нее много народа, но в сенях толкались только домашние лакеи и шуб на вешалках не было.

— Баронесса одна? — спросил Литта у швейцара.

— Пожалуйте-с! — крякнув, ответил тот, кланяясь и величественно простирая руку к лестнице.

Граф поднялся по мягкому красному ковру, в котором так и тонула нога, прошел пустой зал, помпейскую комнатку и очутился в большой красной гостиной, где бывал обыкновенно у баронессы. Гостиная оказалась пуста. Литта остановился в ожидании хозяйки.

— Это — вы, граф? — послышался ее голос.— Войдите сюда.

Против той двери, в которую вошел Литта, была другая. Она обыкновенно была скрыта шелковою гардиной, но сегодня последняя была поднята, и дверь полурастворена.

Литта направился на звавший его голос и вошел в соседнюю комнату, в которую его допускали теперь в первый раз.

Это был так называемый «маленький будуар» — le petit boudoir — хозяйки, обтянутый сплошь белым атласом, увешанный зеркалами и картинами, на которых нимфы кружились вокруг безобразного Пана или убегали от преследования сатиров. На камине, на фарфоровых часах, пастушок обнимал свою пастушку, мягкий розовый полусвет лампы ласкающе лился с потолка.

Баронесса, вся в кружевах и в лентах, сидела на софе, выставив как бы случайно из-под пышной оборки узенький носок, обутый в атласную туфлю.

— Здравствуйте! — встретила она Литту, протягивая ему руку.— Садитесь... Я уж думала, что вы не приедете!

Граф поцеловал протянутую ему руку и не совсем ловко уселся в какое-то безобразное низкое кресло, не привычный к такой мебели.

— Я думал, баронесса, что у вас будет много народа,— проговорил он.

Ни будуар, ни сама баронесса с ее кружевами не произвели на него пока никакого впечатления.

— А застали меня одну? — подхватила она.— И жалеете об этом?.. а?

Литте нужно было ответить, что «нет, напротив, и т. д.», этого требовали вежливость и приличие. Он, разумеется, так и сделал.

Но баронесса осталась недовольна его тоном.

— Что это, граф? — сказала она.— Вы точно обедню служите — так говорите торжественно... Да вам неловко... Сядьте поудобнее... подвиньтесь ближе... вот так!

Литта подвинулся и поправился, отчего, впрочем, ему не стало ни удобнее, ни ловчее. Его золотая шпага с надписью «За храбрость» уперлась в пол и мешала ему. Он начинал ощущать в себе не то робость, не то какое-то неприятное чувство. Он знал, что стоит только раз пересилить в себе это неприятное чувство и все, что окружало теперь его, понравится и будет очень приятно. Но он не хотел, чтобы это было так.

— Я к вам ненадолго, баронесса,— проговорил он,—

я сегодня ужасно устал, да и вы, может быть, кого-нибудь ждете еще? — добавил он, как бы не желая принимать на свой счет розовый полусвет будуара и кружевной наряд хозяйки.

— Я вас ждала одного,— протянула она и посмотрела прямо в глаза Литте.

Он невольно опустил свои глаза.

— Отчего же ненадолго? — продолжала она.— Вы останетесь до тех пор, пока вас не отпустят. Вы знаете, власть женщины иногда бывает сильнее воли мужчины.

«Что же это? вызов на состязание? Ну, хороше же!» — подумал Литта и ответил:

— Не всегда, баронесса. А впрочем, кто будет жить, тот увидит...

— И кто захочет, тот всего достигнет! — в тон ему продолжала Канних.

Между ними начался тот обычный в то время разговор полунамеков, недосказанных фраз и ответов, которым в особенности баронесса придавала какой-то тайный, сокровенный смысл, будто бы понятный только ей и ему. Все это было давно известно, в моде, и даже, так сказать, выработано практикой в очень узкую форму; но во всем этом — и в разговоре, и в этой обстановке полуосвещенного, пахнувшего курениями, будуара с нимфами и пастушками, и в красивой женщине, пред которой сидел Литта,— было что-то опьяняющее, нежное, соблазнительное и манящее к себе.

Разговор длился. Литта давал реплики, но все время оставался в границе, от которой они начали, не переступая ее и как бы нарочно дразня баронессу. Наконец она вдруг замолчала, откинула голову назад и, прищурившись, стала смотреть на графа сквозь свои подведенные, черные ресницы. Литта потупился и, равнодушно помахивая положенною одна на другую ногой, тоже замолчал с таким видом, что он сколько угодно готов сидеть так.

— Знаете что,— начала наконец баронесса,— я вам откровенно скажу: вы никуда не годитесь, никуда! — протянула она и вдруг села совсем прямо на своей софе, спустив ноги совсем на пол.

— Отчего так? — спросил Литта.

— Нет, граф, совсем другого нужно бы было на ваше место, совсем другого... Скажите, неужели с женщиной наедине вам так же легко, как под огнем неприятеля?

«Совершенно так же»,— хотел сказать Литта, но остановился, и опустил голову. Он вспомнил в этот миг

о Скавронской и почувствовал, что не может совсем искренне, совсем правдиво сказать свое «совершенно так же!». И тут же, досадуя на себя, зачем он оскорбил свою чистую грезу о той, которую любит, вспоминанием в такой обстановке, где все не шло этой грезе, он поднялся со своего места и, оборвав разговор, стал прощаться.

— А!.. бегство не есть победа! — произнесла торжествующим оттенком баронесса.— Я надеюсь, мы скоро увидимся.

Литта чувствовал в себе теперь какое-то недовольство собою, точно сделал что-нибудь дурное. Он раскланялся с баронессой и скорыми шагами, почти бегом, вырвался от нее с тем, чтобы никогда больше не вернуться сюда.

VIII
АУДИЕНЦИЯ

О полученном им приказании от двора явиться на аудиенцию по поводу дел ордена Литта послал подробное донесение на Мальту и, уверенный, что там это будет встречено сочувственно, стал готовиться к приему во дворце.

В назначенный день все было готово. Литта в богатом красном камзоле с великолепным бриллиантовым крестом на груди и с бриллиантовыми пуговицами и пряжками на башмаках, в собольей шубе, сел в восьмистекольную золоченую карету с белыми мальтийскими крестами, запряженную шестью белыми лошадьми цугом. На козлах кареты были кучер с лакеем в ливреях с золотыми галунами, а на запятках, в таком же одеянии, стояли два гайдука. У лошадей шли скороходы с черными и белыми перьями на головах. Все это было устроено частью в долг, частью на деньги, полученные от Абрама, который принес, как обещал, остальные семь тысяч.

Карета подъехала к большому подъезду Зимнего дворца, и два придворных камер-лакея, ожидавшие у дверей, высадили Литту под руки.

Аудиенция была частная (Литта не имел верительных грамот), и потому прием происходил без всякой торжественности и без присутствия двора. Графа встретил и провел дежурный камер-юнкер к покоям государыни.

Императрица приняла мальтийского кавалера в кабинете, у того самого столика, у которого выслушивала доклады своих сановников. Но наряд на ней был не тот, в котором она обыкновенно слушала эти доклады. Теперь на

ней был парчовый молдаван, опушенный мехом и застегнутый у горла драгоценною пряжкой, а напудренные волосы были собраны кверху.

Взглянув на нее, Литта сейчас же заметил ту огромную разницу, которая была в ней теперь, в сравнении с тем, как он привык видеть ее на балах или торжественных выходах. Теперь государыня была совсем другая, не строгая, не та, пред которою смутился даже саркастический Вольтер на торжественном приеме; теперь она была просто замечательно сохранившеюся, несмотря на свои годы, женщиной с ясными, умными, глубокими глазами и чарующей улыбкой, показывающей ее ровные до сих пор, белые, как жемчуг, зубы.

— Здравствуйте, граф,— проговорила она, когда Литта целовал ее руку.— Сядьте здесь... Поговорим! — и она показала на стул.

Литта сел.

— Итак,— начала Екатерина,— ваша Острожская ординация теперь находится в моей земле. Я много слышала о мальтийских рыцарях и всегда считала их достойными людьми. Мое всегдашнее желание было видеть их на своей службе; познакомьте же меня поближе с вашим уставом и с организацией ордена.

Литта поправился на своем месте и начал говорить и объяснять то, что от него требовали. Он говорил хорошо, плавно, не торопясь и не затягивая речи. Екатерина слушала его, изредка делая вопросы и замечания, которые ясно подтверждали, что недаром ум русской государыни был признан и прославлен повсеместно.

Этот живой и бойкий разговор увлек Литту, и он чувствовал, что давно с таким удовольствием не говорил ни с кем и что в данную минуту желал бы одного — чтобы как можно дольше не прекращалась эта беседа.

— Ну, а с Острожской ординации вы последнее время не получали доходов, кажется? — спросила государыня, снова возвращаясь к первоначальному предмету разговора.

— То есть пока она была во владении Польши, ваше величество,— ответил Литта.

— Ну, я надеюсь, что теперь орден не понесет никаких убытков. Я уже сделала распоряжение, чтобы снеслись с великим магистром о назначении при моем дворе министра-резидента Мальты, и, указала на вас, как на человека, который мог бы занять это место.

Литта поклонился. Ему в эту минуту казалось, что лучше этого ничего и придумать нельзя.

Екатерина улыбнулась ему тою улыбкою, которою она одна только умела улыбаться, и промолвила.

— Теперь мы будем видеться с вами.

— Если ваше величество позволите только,— опять поклонился Литта.

Во всем этом разговоре и в последовавшем затем, в течение всей аудиенции, не было сказано ни слова, не касавшегося дела, и, несмотря на это, все было так живо и интересно, как будто это был простой разговор, задушевный и самый приятный.

На прощанье Екатерина опять протянула Литте руку и сказала: «До свиданья».

Он вышел из кабинета опять с тем же чувством восторга и уважения к государыне, которое охватило его в первую минуту на балу у Безбородко, когда она, поговорив с ним, отошла от него. Была ли это симпатия, преданность, удивление — Литта не знал, но не мог не признать, что ему очень легко и хорошо на душе. И, если бы, казалось, теперь к нему кто-нибудь подошел с малейшим намеком на что-либо, он готов бы был растерзать его, может быть, на месте.

Тот же камер-юнкер, который провел Литту, провожал его снова по бесконечному ряду парадных комнат дворца, где изредка, в определенных местах, у дверей стояли часовые, отдававшие им воинскую честь.

На площадке лестницы Литта встретился с молодым человеком в генеральском мундире и, находясь еще под влиянием своей беседы, не обратил сначала на него внимания и не сразу узнал его. Это был князь Зубов. Последний окинул Литту с ног до головы испытующим, недобрым взглядом и, видимо, ждал от него поклона.

Граф узнал его не столько по его внешнему виду, сколько по своему собственному внутреннему отталкивающему чувству, которое всегда испытывает сильный и крепкий человек к изнеженному и слабому существу, родившемуся мужчиной и не сумевшему стать им в жизни. Этот красивый, женственный, двадцативосьмилетний мальчик всегда был противен ему. Поэтому и теперь он смело встретил вызывающий, дерзкий взгляд князя и мимоходом чуть заметно кивнул ему головою. Зубов, не ответив на поклон и не меняя выражения, посмотрел ему вслед.

Провожавший Литту камер-юнкер отлично заметил это бессловесное выражение вражды и сделал отсюда свое заключение.

IX
ОТЕЦ ГРУБЕР

Когда Литта оставил баронессу Канних в ее будуаре и его поспешно удаляющие шаги замолкли в зале, обделанная под стену небольшая дверь отворилась и на ее пороге показался гладко выбритый человек в сутане. Он сложил на груди руки и, качая головой и посмеиваясь, смотрел на баронессу, все еще сидевшую на своей софе.

— Ну что? Ведь говорил я вам, предупреждал вас, что ничего из вашей затеи не выйдет! — сказал он сквозь смех.

— Бегство не есть еще победа! — повторила баронесса последние, сказанные ею Литте, слова.— Вы слышали, отец, я это сказала ему.

— Слышал,— протянул он и махнул рукою,— но только верьте, что отец Грубер никогда не ошибается... никогда! — помахал он из стороны в сторону указательным пальцем и, подойдя к креслу, которое только что оставил Литта, сел против баронессы.

— Да, но я хотела попробовать одно из давно испытанных средств,— проговорила она, нервно перебирая кольца у себя на руке.

— Все средства хороши, когда ведут к цели,— вздохнул Грубер,— но граф — не такой человек, чтобы его можно было захватить тем путем, какой избрали вы, баронесса.

Канних оставила свои кольца резким движением, словно оборвала что-нибудь, и, облокотившись на валик софы, полуотвернулась.

— А разве он вам необходим? — помолчав, спросила она, искоса глянув на Грубера.

Тот, закинув голову, сначала кверху, выразительно опустил ее на грудь, в знак подтверждения того, что Литта необходим ему.

— Неужели вы думаете, что он в самом деле может пойти т е п е р ь высоко? — недоверчиво произнесла баронесса.

— Я ничего не думаю; теперь или после, но этот человек может пригодиться, и его упускать нельзя.

Отец Грубер, видимо, играл роль. Он говорил, как человек, который привык, что его слушают с удовольствием и придают цену его словам. Вследствие этого в его манере было что-то слегка деланное, аффектированное, в особен-

ности, когда он разговаривал с такими всецело преданными ему женщинами, как баронесса. Она была верною католичкою и давно подчинилась его влиянию.

— Так как же быть? — спросила она.

Грубер самоуверенно улыбнулся и, приподняв наискось правое плечо, скромно ответил:

— Действовать!.. До сих пор я оставлял в покое мальтийского кавалера, но теперь пора приняться за него...

— И вы приметесь?

— А вот посмотрим.

Грубер долгим житейским опытом (он был немолод уже) знал людей, в особенности женщин, и видел, что баронесса находится теперь в том состоянии душевного волнения, когда человеку особенно хочется высказаться, раскрыть другому все то, что мучит его. И, несмотря на поздний час, он терпеливо сидел на своем кресле с таким видом, как будто забыл, что, может быть, ему уже пора было уйти.

— Вот видите ли, отец,— заговорила вдруг баронесса, зажимая ладонями глаза, и опуская голову,— я должна признаться вам, как на духу... Я прошу вас теперь выслушать мою исповедь...

— Что такое? — удивился Грубер очень естественно и придвинулся поближе, сделав серьезное, внимательное лицо.

— Вот видите ли,— повторила она,— я не была с вами вполне искренняя... то есть не то, чтобы я солгала вам что-нибудь, нет, но я не все открыла вам...

Грубер слушал, слегка кивая головою и как бы говоря: «Ведь это ничего, вы расскажите только, я и успокою, и прощу, словом, сделаю все, что нужно, и это все в нашей власти».

— Когда вы сказали сегодня утром,— рассказывала между тем баронесса,— что граф Литта необходим вам, я предложила вам испробовать свое влияние на него. Я думала, что, бывая у меня в доме, он, почти никуда не показавшийся человек, выделил меня из общего уровня, и, когда мы увидимся наконец друг с другом, как это было сегодня вечером,— он объяснится и будет в моей власти, а следовательно, и в вашей... Ведь вы же добра ему хотите, отец, не правда ли? Следовательно, как же мне не помочь вам, то есть ему... ведь это все равно?

— Конечно,— произнес Грубер, и голос его прозвучал внушительно,— конечно, я желаю только добра и могу действовать лишь для вящей славы Божией.

Баронесса и не ожидала ничего иного. Она утвердительно кивнула головой и продолжала:

— Ну, вот видите! Когда мы остались с ним вдвоем сегодня, сначала я думала, что играю только роль, но потом...— она взглянула на патера. Он сидел, слегка отвернувшись, с бесстрастным лицом судьи. Глаза их не встретились.— Потом,— подхватила баронесса,— я почувствовала, что, кроме желания сделать добро человеку и угодить вам, во мне самой есть нечто такое, что заставляет меня не совсем равнодушно относиться к графу Литте. Я несколько раз смущалась, когда он взглядывал на меня. И вот, когда он сказал, что не всегда женщина бывает сильнее мужчины, и потом еще... Ах, отец, если бы вы знали, что за глаза у него!.. И потом эта сила, мощь, которою он так и дышит весь!.. Одну минуту мне казалось: скажи он мне быть его рабой, я бы не задумалась...

Грубер строго сдвинул брови и взглянул на баронессу; она смутилась и потупившись стала перебирать кружевную оборку.

— Вы должны быть рабой только церкви,— значительно произнес он, но сейчас же добавил, как бы смягчая строгость этих слов: — Но, разумеется, человек слаб, и ему извинительны и свойственны ошибки. Ищите себе поддержки в людях, которые могут преподать вам добрый совет!

— Вы не оставите меня, отец? — прошептала Канних. Ей показалось, что она покраснела в эту минуту.

— Я буду поддерживать вас,— успокоил ее Грубер.— Я вам могу сказать только одно: если вы ощутили в себе чувство, о котором говорили, то обыкновенно оно бывает обоюдно — это всегда происходит взаимно... и можно, за редкими исключениями, всегда рассчитывать на ответное чувство.

Грубер видел, как по мере его слов лицо баронессы сияло все больше и больше.

— Так вы думаете, отец, что это возможно? а как же вначале вы так были уверены, что граф Литта не такой человек? — спросила она.

— Я не знал, что вы хотите действовать искренне, но искренность — великая вещь...

— И вы допускаете, что когда-нибудь в нем проснется настоящее чувство?

— Может быть, оно проснулось уже! — произнес Грубер, подливая масла в огонь.— Во всяком случае, я желал

бы лучше видеть его у ваших ног, чем у чьих-нибудь других. Я знаю, что вы не сделаете ему вреда...

— Боже мой, я бы хотела ему только счастья, только радости.

— Так будемте же действовать! — повторил Грубер и поднялся со своего места.

Когда он ушел, Канних долго еще ходила по своему будуару, не имея сил успокоиться. Наконец она выпила стакан флер-д'оранжевой воды и пошла спать.

«Но что за человек, какой ум, какое знание жизни!» — удивлялась она отцу Груберу.

X

КОНДИТЕРСКАЯ ГИДЛЯ

Выйдя из дворца, Литта сел снова в свою золотую карету; дверца хлопнула, лакей вскочил на козлы, и карета тронулась.

Зимний день выдался светлый. Солнце, обычно редко показывающееся в декабре над Петербургом, светило теперь, но не грело, а только играло на алмазном снеге и на узорах замерзлых окон кареты. Колеса скрипели на морозе странною, звенящею музыкой. Сквозь матовые от покрывших их узоров стекла пробивался мягкий, ровный свет.

Внутри кареты, несмотря на холод, было очень уютно и опрятно, она мягко покачивалась на своих упругих рессорах. Литта невольно огляделся с удовольствием.

«Что это?» — мелькнуло у него, и он, высвободив из-под шубы руку, взял с бархатной подушки возле себя сложенную в несколько раз бумажку, бросившуюся ему в глаза.

Бумажка была сложена очень аккуратно и, видимо, нарочно подброшена так, чтобы ее заметили.

Граф развернул ее с тою ничего собственно не значащею улыбкою, с которою люди обыкновенно встречают всякую таинственность.

Это была записка, писанная левой рукой. Литта знал, что почерк левой руки у всех людей одинаков.

«Сегодня вечером Вас ждут в кондитерской Гидля»,— стояло в записке, и затем была подпись: «Ajaks Norbaks» [1].

---

[1] «Аякс Норбакс».

Записка была на французском языке. Литта разорвал ее и бросил. Какое было дело ему до того, что какой-то таинственный «Аякс» сообщал кому-то, что его ждут в кондитерской Гидля? Сам Литта почти не бывал в этой, впрочем, модной кондитерской и не принял на свой счет приглашения, решив, что оно случайно попало к нему в карету, может быть, даже по ошибке. И он стал думать про разговор с государыней и про свое назначение послом при ее дворе.

Приехав домой, он приказал вымыть дорогую карету, вытереть ее замшей, словом, сделать так, чтоб она не испортилась. Распорядившись также насчет лошадей и о том, чтобы озябшим слугам дали водки, он вошел к себе. И вот, к своему удивлению, снимая шубу и доставая из ее кармана носовой платок, он нащупал там опять сложенную в несколько раз бумажку. Это оказалась совершенно такая же записка, как найденная им в карете, и с тою же подписью.

«Что за вздор! — подумал Литта, придя к себе в кабинет и бросив записку на бюро.— Однако это ко мне, очевидно, ко мне... Но зачем, к чему?.. Кому нужно?»

И он невольно думал все об этом, пока камердинер и два лакея, помогая ему раздеваться, снимали с него парадный наряд.

— Принесите мне что-нибудь поесть да дайте стакан вина, я прозяб,— приказал Литта, когда переодеванье кончилось, и в ожидании завтрака стал ходить по комнате.

Камердинер, торопливо перебирая своими мягкими туфлями и слегка отогнувшись назад, принес ему на серебряном подносе два хрустальных графина с белым и красным вином, стаканы, хлеб, кусок холодной ветчины, телятины, паштет и вазочку икры, которую Литта очень любил.

Граф при виде подноса почувствовал, что он голоден, и, подойдя к столику у бюро, на который камердинер поставил поднос, начал стоя есть. Он налил себе вина в стакан и хотел его выпить, но вдруг, не донеся до рта, снова поставил на поднос и поспешно схватил с бюро лежавшую там записку. Его взор нечаянно упал на эту записку, когда он хотел выпить вино, и случайно он прочел стоявшую на ней подпись «Ajaks Norbaks» от правой руки к левой, то есть наоборот. Вышло: «Skabronskaja» [1].

Литта не верил своим глазам. Снова все, что таилось

---

[1] «Скавронская».

в нем в течение шести долгих лет, против чего он боролся, всплыло наружу при этом внешнем, неизвестно откуда пришедшем напоминании дорогого имени, словно и не было этой шестилетней борьбы. Но что это — мистификация, случайность? Литта не раздумывал, он знал только, что, несмотря ни на что, пойдет теперь в кондитерскую Гидля, пойдет, потому что разузнать, какое соответствие имелось между этой запиской и именем, которое он прочел на ней,— было для него необходимо. И он стал с нетерпением ждать наступления вечера.

Швейцарец Гидль торговал на одной из лучших улиц Петербурга — на Миллионной. Целый день здесь, в его кофейне, толпилась и сидела масса народа.

Литта вышел из дома в шесть часов, сообразив, что достаточно уже поздно, чтобы считать это время «вечером».

Придя в кондитерскую, он осмотрелся, выбрал свободный столик, спросил себе чашку шоколада и невольно начал приглядываться к окружавшей его публике, желая узнать, кому из нее было дело до него и кто же наконец призвал его сюда таким странным образом. Но все, казалось, были заняты сами собою и никто не обращал на него внимания.

Литте принесли шоколад и подали новую афишу о предстоящем театральном представлении. Шоколад он не стал пить и взялся от нечего делать за афишу. В ней сообщалось, что через две с половиной недели, на святках, состоится дебют известной французской актрисы Шевалье в трагедии Расина «Федра». Это была очень знаменательная новость, но Литте было не до нее, и он несколько раз перечитывал крупные буквы афиши, не вдумываясь в их смысл, в нетерпеливом ожидании, когда же подойдут к нему...

Наконец сам толстый швейцарец Гидль приблизился к его столику и учтиво проговорил:

— Может быть, графу угодно отдельную комнату? Там будет покойнее.

«А, он меня знает!» — удивился Литта и, решив, что, вероятно, ему нужно послушаться хозяина, встал со своего места.

Гидль повел его по длинному коридору, минуя, однако, комнаты, где бывали обыкновенно гости. Они прошли весь коридор, потом повернули в какой-то закоулок, совсем темный, и наконец Гидль отворил дверь и впустил Литту в просторную горницу, убранную совсем не по-трактир-

ному. Стены были окрашены густою, темною, мрачною краской; на простенке, против двери, висело большое распятие, посредине стоял дубовый стол, окруженный такими же скамейками; широкая лампа под зеленым абажуром бросала свой светлый, ровный круг с потолка.

От стола навстречу Литте поднялся одетый в черное патер, и граф сейчас же узнал в нем Грубера.

Патер Грубер, деятельный член иезуитского ордена в Белоруссии, явился в Петербург под предлогом представления Академии Наук каких-то своих изобретений по части механики. Он бывал, якобы в виду искания покровительства своим проектам, в домах петербургской знати, Литта встречался с ним и, между прочим, видал его раза два у Канних. Каждый раз при встрече патер намекал ему, что желал бы сойтись с ним поближе, но Литта уклонялся от этого...

— Не ожидали встретить меня здесь, граф? — спросил Грубер на отличном итальянском языке.

Он одинаково свободно владел языками немецким, латинским, английским, французским, русским и итальянским.

Литта отступил назад и с невольным удивлением произнес:

— Нет, не ждал!..

— Ну, вот видите! — улыбаясь сказал Грубер.— Присядемте, однако, время дорого. Я давно желал поговорить с вами наедине, а между тем так случалось, что это было затруднительно. Друг к другу нам ехать тоже было как-то неловко, кому первому? не так ли? Лучше всего здесь, на нейтральной почве... Правда, ведь? — и, говоря это, Грубер садился и придвигал табурет Литте.

Граф присел к столу боком, как будто хотел встать сейчас.

— Прежде чем вы скажете мне что-нибудь,— остановил он иезуита, слегка прикасаясь рукою к его руке,— прошу вас об одном — та записка, по которой я вызван сюда, написана вами?

— Да, мною,— кивнул головой Грубер.

— Подпись, которая стоит под нею, взята вами случайно или вы имели какое-нибудь основание подписаться так?

Грубер медленным и долгим взглядом посмотрел прямо в глаза Литте и, поджав свои тонкие, бескровные губы, ответил:

— Совершенно случайно!..

Граф не поверил ему, но решил, что во что бы то ни стало будет знать истину.

XI

AD MAJOREM DEI GLORIA[1]

— Я не сомневаюсь,— начал Грубер, близко пригибаясь к Литте и засматривая ему в лицо,— что вы, как мальтийский рыцарь, есть и всегда будете верным сыном католической церкви.

— Я тоже не сомневаюсь в этом,— проговорил Литта,— я всегда останусь в той религии, которую исповедую, в которой родился и которой служу как член ее воинствующего ордена.

— Аминь! — подтвердил иезуит,— об этом и говорить нечего. Но мы с вами находимся теперь в чужой стране, окруженные темными людьми, на пользу которых готовы поработать,— так? Не лучше ли нам действовать сообща, граф?

— Наша деятельность слишком различна,— возразил Литта,— я не знаю, на чем же мы можем сойтись...

— Как различна? — перебил Грубер.— Наш орден действует для вящей славы Божией — ad majorem Dei gloria; неужели вы не готовы служить этой цели?.. Позвольте! — остановил он Литту, видя, что тот хочет перебить его,— вы, конечно, знаете, что большинство ваших братьев по Мальтийскому ордену уже давно вступило в общество Иисуса... Отчего вам не примкнуть к ним?

Литта ответил не скоро.

— Святой отец,— проговорил он, как бы вдруг решившись высказаться,— насколько я слышал, иезуиты очень искусны в диалектике, но, простите меня, я буду говорить прямо,— не умею я идти окольными путями: мне не по сердцу многое в уставе вашего ордена...

Грубер нисколько не смутился этими жесткими словами.

— Что же не по сердцу вам, сын мой? — мягко, ласково и вместе с тем почти наивно спросил он.

Литта решил пойти совсем напрямик.

— Прежде всего «perinde ac cadaver»,— продолжал он,—

---

[1] Во славу Божию (*лат.*).

то есть «Будь таким, как труп, уничтожь свою волю, чтобы подчиниться старшим»...

— Что же здесь дурного? — спросил патер.

— Нельзя допустить уничтожение свободной воли в человеке! Ведь все могущество, вся сила ордена, которому я служу, именно основаны на этой свободной воле.

— Мы не станем вдаваться в определение понятия воли,— перебил Грубер,— то правило, о котором вы говорите, необходимо лишь для тех лиц братства Иисуса, которые поступают в него как духовные члены; вы же останетесь рыцарем ордена Мальты и для вас не необходимо это правило.

— Но все-таки оно есть! — настаивал Литта.

— Это как кому дано понимать: кто захочет уничтожить в себе волю, тому благо; это касается нас, но дурного в том нет ничего.

— Затем правило «reservatio mentalis» [1],— сказал Литта. Ему впервые в жизни приходилось еще вести такую беседу с иезуитом о вещах, близко касающихся братства, и это интересовало его.— По этому правилу, насколько я знаю, можно сделать все, лишь бы мысленно найти себе оправдание, причем в крайнем случае можно даже просто считать таким оправданием слова «ad majorem Dei gloriam».

— Это правдоподобно,— подтвердил иезуит.

— Но ведь это же ужасно! Ведь этак можно допустить все — и убийство, и всякое преступление.

— Но если цель благая? — воскликнул Грубер.— Разве для такой цели нельзя допустить зло, которое вознаградится потом добром?

— Цель оправдывает средства! — перебил Литта.—Это ужаснее всего. Неужели правда, что братья-иезуиты держатся этого правила?

— Правда, сын мой, правда, и тут нет ничего ужасного.— Грубер встал со своего места и выпрямился во весь рост. Глаза его блестели, ноздри слегка расширились.— Как? — заговорил он,— вы порицаете эти правила, находите их дурными? А между тем смотрите, сколько блага сделали они, смотрите, какое могущество приобрело наше братство при помощи их! А где то зло, о котором вы говорите? вы видели его?.. Нет, вы видели наши школы, вы знаете о наших трудах на пользу науки, вы слышали нашу проповедь. Разве это — зло?

Литта тоже встал и твердо произнес:

---

[1] На основании здравого разума *(лат.)*.

— Если в ваших школах преподают и в проповедях распространяют правила, которые вы защищаете теперь, то да, это — зло!

Но Грубер, казалось, не слушал его.

— Я вам говорю о том могуществе, которое имеет наш орден везде,— почти кричал он теперь,— весь земной шар в нашей власти, нет государя сильнее нас и нет человеческого могущества больше нашего. Меня с вами столкнула судьба в России, соединимтесь же здесь, и я вам обещаю такое могущество, о каком вы и не мечтали никогда.

— Мне его не нужно,— тихо проговорил Литта и сделал шаг к двери.

Ему давно было уже не по себе. Несмотря на красноречие патера, он не мог сочувствовать ему. В этой комнате с тесными стенами было как-то тесно, душно, и от этого разговора Литта чувствовал, словно голову его сковывают железными обручами. Он сделал шаг к двери, забыв уже обо всем — и о подписи на записке, лишь бы уйти поскорее.

Грубер не выказал ни малейшего движения удержать его. Он стоял со скрещенными на груди руками, освещенный сверху светом лампы, и своими быстрыми карими глазами следил за движением Литты. Наконец он снова произнес:

— Граф, я обещаю вам могущество, силу, все, чего вы только пожелаете.

Литта, сморщив лицо, направился к двери.

— Граф, подпись на записке не была случайная! — вдруг произнес Грубер, и Литта, вздрогнув, всем телом, вернулся и снова подошел к столу.

Кулаки его нервно сжались, грудь тяжело стала дышать, он не мог уже выговорить ни слова и только глазами и всем движением головы спрашивал объяснения.

Иезуит, сжав губы, не то улыбался, не то кусал их.

— Говорите же... ради Бога! — с трудом произнес Литта, опираясь на стол.

— Да что же говорить? — пожал плечами патер.— Чего вы волнуетесь так? Вы думаете, я даром вам говорил о могуществе нашего братства? — покачал головою Грубер.— Неужели вы думаете, что мы не знаем о вас ничего? неужели вы думаете, что нам неизвестно то, что происходило в Неаполе? Разве я не вижу теперь, что вы до сих пор любите графиню Скавронскую?

Литта ничего не ответил, а только как-то непроизвольно махнул рукою возле лица и закрыл глаза.

Выждав немного, Грубер опять заговорил:

— Вот видите ли... и вы не можете сказать, что это — неправда.

И в этих словах послышались другие слова, которые значили: «Вот, видите, вы в моих руках теперь».

Литта сделал невероятное, почти нечеловеческое усилие и, совладав-таки с собою, проговорил:

— Ну, что ж из этого? Люблю ли я или нет — это касается меня.

— Да! — протянул патер.— Но графиня, вероятно, скоро вернется в Петербург.

— Как в Петербург? Зачем в Петербург?! — воскликнул Литта, не помня уже себя.

— Я знаю, что она уже давно в дороге сюда... как только схоронила мужа.

— Схоронила мужа! — повторил Литта машинально, по инерции, слова Грубера.

— И вы и этого не знали? — удивился тот.— Но ведь Скавронский умер, уже год тому назад.

Литта не мог знать это: считая себя связанным как бы словом — не искать встречи со Скавронскою, он никогда даже ничего не расспрашивал и не узнавал о ней, тем более что это лишь расстраивало бы его собственную рану.

«Так она — вдова, свободна и едет сюда!» — думал он, но все-таки сознавал, что сам он был по-прежнему связан, и счастье было невозможно.

— Граф, я обещаю вам брак с графиней Скавронской,— услышал он снова голос Грубера.

Все вертелось в глазах Литты, ходили какие-то круги и, казалось, уже не Грубер говорил это, а чей-то голос звучал совсем с другой стороны.

— Какой брак? — проговорил Литта, не узнавая и своего голоса.— Какой брак?.. Разве это возможно?

— Для вас ничего невозможного нет,— ответил Грубер с расстановкой.— Примкните к нам, и графиня будет вашею женой... Хотите заключить договор на этом условии?

— Да как же это? — не поверил Литта.

— Хотите заключить договор? — повторил Грубер.

Круги заходили сильнее, в висках застучало. «Perinde ac cadaver», «reservatio mentalis»,— замелькало в голове Литты, и вдруг он, топнув ногою и раскинув руки в сторону, хрипло крикнул несколько раз:

— Да нет же, нет!

Не мог он продать свою душу и, продав ее, перестать

быть рыцарем, перестать быть достойным той, которую любил! Ведь все равно и тогда счастье не было бы возможно, потому что он презирал бы себя сам и Скавронская была бы вправе сделать это. И Литта бросился к двери.

Грубер, как молния, кинулся за ним и схватил его за руку.

— Приди сюда, верный сын наш! — зашептал он каким-то протяжным, торжественным шепотом, таща Литту от двери.— Приди сюда и знай, что ты выдержал искус, что отныне братство Иисуса будет доверять тебе, и если ты захочешь вступить в него, то примет тебя... Те правила, на которые не согласился ты, придуманы нашими врагами. Но мы держимся их, испытываем людей посредством их. И вот те, которые согласились на эти правила и потому были отвергнуты нами, рассказывают, будто мы держимся их... Это — наши враги, но не друзья. Нет, общество Иисуса принимает в свою среду только достойных и испытанных людей. Ты с честью выдержал искус! Он был тяжел для тебя, но ты выдержал его. Приди же... дай обнять тебя!

И не успел Литта опомниться, как патер Грубер уже обнимал его, прижимал к своей груди, усаживал и поил из появившегося откуда-то в его руках стакана.

— Боже мой! — произнес наконец граф, приходя в себя.— Мне кажется, что ум мой путается, я ничего не различаю. Где ж тут правда?

— В тебе самом, в нас! — проговорил Грубер, и льстивые речи неудержимым потоком полились у него.

Через несколько времени Литта вышел от Гидля измученный, усталый, изнеможенный, но вполне примиренный с Грубером и с его братством.

XII

«ОНА»

Первое представление пьесы, или дебют новой актрисы, да еще иностранной знаменитости были такими редкими явлениями в Петербурге, что считались целыми событиями, о которых заранее кричали на всех углах и на которые сбиралось все общество, наполняя театр битком.

Хотя трагедия «Федра» Расина не была уже новостью, но выступление в ней артистки Шевалье возбудило сильнейший интерес.

Театр был полн. В партере блестели расшитые камзолы богачей и военные мундиры, в ложах — роскошные наряды дам. Был антракт, первое действие, после которого Шевалье, как-то неестественно протяжно и торжественно пропевшую свою роль с рассчитанными якобы пластическими телодвижениями, вызывали бессчетное число раз, только что кончилось.

Литта стоял, опершись на рампу, спиною к оркестру и оглядывал зал в свой лорнет.

С тех пор как он узнал, что графиня Скавронская, год тому назад овдовевшая, должна появиться в Петербурге, он стал чаще бывать на общественных собраниях. Он не мог не признаться себе в слабости, что причиной этого было желание увидеть ее. Раз не совладав с собою, не справившись со своим сердцем в течение шести лет и допустив в себе эту большую слабость, он допустил и меньшую, то есть искал случая увидеть Скавронскую, хотя мельком, издали, с тем, чтобы потом скрыться, уехать куда-нибудь, исчезнуть, но один раз, один только раз ему хотелось взглянуть на нее. И так как ему очень хотелось этого, то он сейчас же нашел и оправдание этому. Ведь он не должен был искать встречи с любимой женщиной тогда, когда она была не свободна, замужем; но теперь дело другое, теперь она ничем не связана и только он должен блюсти свой обет рыцаря. И Литта решил, что, повидав ее раз издали, он удовольствуется этим навсегда.

Он бывал в последнее время на катаньях, в театре, ходил по Летнему саду, но нигде еще не встретил графини Екатерины Васильевны. Теперь он стоял и внимательно осматривал ложи; некоторые из них еще не были заняты, так как приезжать к первому действию считалось не в моде. Но многие уже собрались.

К Литте то и дело подходили вновь объявившиеся друзья его; они здоровались с ним, жали ему руку и старались заговорить. Он отвечал рассеянно, желая поскорее отбояриться. Это принимали за напускаемую им на себя важность и оттого делались еще почтительнее. Баронесса Канних упорно лорнировала его из второго яруса.

Об его аудиенции у императрицы и даже о поклоне на лестнице с Зубовым, который был замечен дежурным камер-юнкером, знали уже и тоже перешептывались.

Вдруг зал пришел в движение. Пустые ложи стали быстро наполняться, хлопая дверьми. Генерал-полицеймейстер с озабоченным лицом пробежал по дорожке партера, несколько человек засуетились и, похватав свои шляпы,

тоже направились к выходу, и, как по команде, в одно мгновение весь партер поднялся.

Государыня в сопровождении свиты вошла в свою ложу. Она села впереди, с тремя придворными дамами. Сзади остались мужчины, среди которых Зубов блестел своими бриллиантами.

Литта, оторвав взор от царской ложи, повел его вдоль первого яруса и в тот же миг почувствовал, что сердце его словно упало и ноги подкосились — она, Скавронская, была здесь!

Она сидела в ложе со своей сестрой, графиней Браницкой. Милое, дорогое лицо ее нисколько не изменилось. Она была все такая же, как прежде, если не лучше прежнего. Те же глаза, те же волосы, то же почти детское выражение. Она сидела и оглядывалась с любопытством кругом, радуясь, улыбаясь и как бы здороваясь с этою русскою, от которой она отвыкла, толпою, и счастливая своим возвращением домой.

Толпа заметила графиню Скавронскую. Лорнеты направились в ее сторону, шепот похвалы сорвался с многих губ.

Литта стоял, не сводя взора с дорогой ему женщины, в упор до неприличия глядя на нее. Он совсем забыл, что с ним сделалось. Если бы он мог за минуту пред тем ожидать, что появление Скавронской произведет на него такое впечатление, то ушел бы из театра. Это была мучительная, но вместе с тем невыразимо прекрасная боль; как ни мало вяжутся эти слова между собой, но тут они как-то вязались.

Оркестр заиграл. Нужно было сесть на место. Литта, вероятно, ни за что не сделал бы этого, если б его сосед по креслу не задел его садясь и не извинился.

Литта опомнился и сел. Он уже не видел, как пластично шагала Шевалье по сцене, не слышал, как выпевала она свою роль; он ничего не видел, ничего не слышал и ни о чем не думал.

Так провел он весь вечер, и то казалось ему, что Скавронская видит его и только нарочно делает вид, что не замечает, то, наоборот, он был уверен, что она и не подозревает о его присутствии здесь; и он не мог разобрать, что для него было лучше: и то, и другое казалось одинаково тяжело.

Но вот занавес опустился в последний раз. Толпа неистово захлопала, вызывая актрису. Публика партера по-

валила к выходу. Литта смешался с ее потоком, который вынес его в большие сени театра.

Суетливые лакеи с шубами в руках отыскивали своих господ, господа — лакеев. Была невообразимая толкотня, кругом стоял неумолкавший говор.

Литту, который как-то бессознательно замешался в этой толпе, пожалуй, уже не отдавая себе отчета, зачем он здесь, толкали со всех сторон.

— Граф... граф, здравствуйте! А я думала, что вы заглянете в мою ложу! — раздался под самым его ухом голос Канних.

Он поглядел на нее, как бы не понимая, что ей от него нужно. По счастью его лакей, отыскав его в эту минуту, накинул ему на плечи шубу, и Литта, поклонившись баронессе, выскочил на крыльцо.

Здесь, у крыльца, стояли шум и гам, которые обыкновенно сопровождали разъезды многолюдных собраний. Экипажи подъезжали, как хотели, никто не распоряжался ими. Усадив господ, лакеи и кучера старались раньше других вырваться из общей путаницы. Это считалось особым молодечеством для форейтора и кучера, которые не обращали уже ни на что внимания, зацепляли другие экипажи, ломали их, давили народ, лишь бы «не осрамить» своего барина и вывезти его раньше других. Этот содом был до того обыкновенен, до того привычен, что, казалось, иначе и быть не может, и Литта равнодушно смотрел, как сшибаясь путались кареты, как лошади, фыркая и топчась, били копытами и запутывалась неудобная для таких случаев запряжка, в шесть лошадей цугом.

Вся эта суматоха и бестолочь происходили в освещенном фонарями подъезда пространстве, и вырвавшись оттуда, кареты исчезали в темноте, преследуемые бранью и криками отставших кучеров.

XIII
СТОЛКНОВЕНИЕ

Одна карета особенно рвалась вперед. Это была золоченая, богатая карета на тяжелых, крепких колесах. Форейтор ее, не обращая решительно ни на что внимания, отчаянно стегал лошадей своих и чужих и кричал громче всех.

— Пади, пади! — раздавался его неистовый крик, и не успевшие посторониться рисковали быть задавленными.

Литта отошел несколько от подъезда вперед, чтобы найти свой экипаж, но богатая карета загородила ему дорогу.

Что-то задержало ее сзади. Она задела задним колесом за санки, в которых сидел какой-то купец, беспомощно, с испуганным, бледным лицом махавший руками. Однако это был один миг. Карета рванулась вперед, санки опрокинулись, и купец, барахтаясь, исчез где-то внизу. Карета двинулась и с размаха сшиблась с другою; что-то крякнуло, треснуло. Кузов кареты, на которую наехала первая, качнулся; оттуда раздался женский крик испуга.

Литта был в эту минуту у самых лошадей. Он, не рассуждая, выхватил шпагу и, нервно ударив ею несколько раз по соединению валька с дышлом, перерезал его. Передние лошади цуга с форейтором, почувствовав свободу и испугавшись бившихся у них по ногам постромок, понеслись вперед. Карета остановилась. Кучер, выпустив вырванные из его рук вожжи, едва усидел на козлах и в голос кричал страшную брань. Литта, не обратив на него внимания, хотел обойти карету, но вдруг в ее окне увидел высунувшееся искаженное злобой лицо Зубова.

— Что такое? Вперед... пошел! — кричал последний, не понимая, что случилось, но чувствуя лишь, что его экипаж остановился.

Дышловых лошадей уже держали под уздцы двое дюжих добровольцев из толпы.

Кучер кареты, с которою столкнулась карета Зубова, заметив, с кем имеет дело, хлестнул по своим лошадям и, как-то счастливо высвободившись (там, сзади, тоже помог кто-то), умчался в темноту.

Зубов вышел из кареты. Вокруг собралась толпа. Зубов был очень бледен и весь трясся и от испуга, и от злости. Фигурка его в собольем бархатном салопчике была очень жалка и смешна теперь. Кто-то из толпы, узнав его, снял шапку и поклонился. Это вышло еще комичнее.

— Да что случилось? — задыхаясь и глотая слова, продолжал спрашивать фаворит.

Кучер, сползший уже с козел, повалился ему в ноги на снег и прерывающимся, отчаянным голосом силился объяснить:

— Я, ваша светлость, неповинен, видит Бог, неповинен... Вот господин валек испортил, кони и рванулись... Что же мне делать?.. Я не виноват...

Зубов посмотрел на «господина», на которого указывал кучер, и узнал Литту.

Граф, разумеется, не ушел, вовсе не желая скрываться пред Зубовым, и, как только тот обратился к нему, он, приподняв шляпу, спокойно проговорил, называя себя:

— Граф Литта... Если вы почитаете себя обиженным, князь, я к вашим услугам.

Вслед за тем Литта повернулся и пошел, не заботясь уже о князе Зубове и о том, чем кончится это столкновение.

Графиня Скавронская, опомнившись от первого испуга, после того как ее карета чуть не опрокинулась, столкнувшись с тяжелою каретой Зубова, дрожа всем телом, схватила сидевшую с ней рядом сестру за руку и едва выговорила:

— Саша, что же это?

Браницкая, давно привыкшая к этим беспокойным разъездам и испугавшаяся гораздо меньше Скавронской, ответила уже улыбаясь, потому что теперь их карета катилась беспрепятственно по широкой улице.

— У вас, за границей, ты ничего подобного не видела? Везде свои нравы, мой друг. Что же, мы, кажется, отделались благополучно?.. Почти каждый раз, после выезда куда-либо вечером, приходится поправлять что-нибудь в карете.

Скавронская чувствовала, как нервно билось ее сердце. Было ли это от испуга, или от того, что она видела, кому они обязаны избавлением,— она боялась признаться себе. Она инстинктивно жалась теперь в холодный угол кареты, чтобы чем-нибудь не выдать себя. Ей казалось, что сестра должна была слышать, как шибко билось ее сердце.

— А ты знаешь, кто нас спас? — спросила Браницкая после долгого молчания.

«Не знаю»,— хотела ответить Екатерина Васильевна, но не решилась — голос сразу выдал бы ее.

Она рада была темноте, в которой они сидели, потому что сестра не могла видеть ее лицо.

— Катя, ты спишь? — спросила та, подождав еще немного.— Что с тобой?

— Ничего,— ответила из темноты Скавронская, сама удивляясь своему голосу,— так он оказался спокоен.— Я испугалась только... и потом боюсь говорить на морозе...

— Это был граф Литта,— продолжала Браницкая, видимо, не боявшаяся говорить на морозе,— мальтийский рыцарь... Ты, верно, встречала этих рыцарей в Италии, они там где-то поблизости, кажется; про них рассказывают чудеса, и цесаревич очень интересуется ими.

Однако, не встретив в сестре сочувствия к разговору, она замолчала.

Карета поехала тише, пробираясь по ухабам Большой Морской.

— Сначала,— заговорила опять Браницкая, как бы думая вслух,— я испугалась за него. Ведь карета, которая зацепила нас, была Зубова, а этот не станет церемониться... Но теперь думаю, что граф Литта отлично знал, что делал; недаром говорят, что итальянцы очень хитры... Зубов, пожалуй, уже и не опасен ему. Однако, значит, он сильно уверен в своем успехе.

— В каком успехе? — спросила Скавронская.

— Ах, это — целая история!.. Вот уже сколько времени, как ходят разные толки, это — самые последние у нас новости... Началось все на последнем балу у Безбородко. С тех пор только и разговоров, что про графа Литту.

— Каких разговоров? — протянула Скавронская, отклоняясь вперед.

— Ждут его «случая».

— Ждут... его... случая? А... он? — переспросила Скавронская, не заботясь уже о том, что ее голос дрогнул и что сестра может заметить это.

— А он, кажется, очень рад,— ответила та.— По крайней мере говорят так, да к тому же, видишь, он не побоялся даже оскорбить самого Зубова. Значит, рассчитывает уже на свою силу...

Браницкой показалось, что в это время с той стороны, где сидела ее сестра, послышалось сдержанное всхлипывание. Она поняла, что с нею делается что-то неладное.

— Катя, что с тобой? — забеспокоилась она.— Что ты? Неужели еще не пришла в себя от испуга? Да полно...

— Нет, не может этого быть... не может! — силилась между тем выговорить Скавронская.— Не может быть... я... знаю его...

— Кого ты знаешь? Литту?.. Что с тобой?..

— Знаю... там... еще в Неаполе... И вдруг теперь... Боже мой!.. Это было бы так ужасно!.. Нет! неужели это — правда? — И в холодной темноте кареты Скавронская вдруг прижалась к плечу сестры и сквозь слезы шепнула ей: — Саша... я... люблю его... потом расскажу все...

XIV

ЭРМИТАЖ

Зубов взволнованно ходил большими шагами по своему кабинету. Его секретарь Грибовский сидел у особого столика с пером в руках и внимательно следил за ним, провожая его глазами.

— Пиши! — проговорил Зубов и начал диктовать: — «Орден Мальтийский есть орден католический, и посему»... или нет, «понеже...» — Зубов подошел к окну, побарабанил пальцами и, быстро обернувшись к секретарю, проговорил: — Нет, не так... Начни снова!

Грибовский спокойно и послушно отложил начатый лист в сторону и взял чистый.

Зубов опять принялся диктовать.

Уже третий день сочиняли они все то же самое. С самого происшествия у театра при разъезде Зубов потерял аппетит и сон. Он все силился выдумать какую-нибудь такую бумагу, при помощи которой сразу можно было бы кончить с графом Литтою, но какая должна быть эта бумага, он не знал. Он то начинал составлять длинную записку о вреде Мальтийского ордена вообще, то старался выставить Литту как католика и вредного человека в частности. Но, помимо того, что ему было трудно совладать со стилем, все это выходило очень бессознательно и слабо: ни доводов, ни улик никаких не было. Зубов сердился, заставлял Грибовского двадцать раз начинать то же самое. Они испортили целую кипу бумаги, но из этого еще ничего не выходило. Так третий вечер уже ходил Зубов, диктуя, по кабинету. Он непременно «сам» хотел составить эту бумагу.

«А по силе законов российских,— диктовал он,— толиковое распространение безверия и схизмы»...

Часы пробили половину восьмого. Грибовский, которому давно надоела вся эта история, поднял голову и с некоторым удовольствием взглянул на часы.

— Осмелюсь доложить, ваша светлость, что уже половина восьмого,— проговорил он.— Сегодня эрмитажное собрание назначено.

Зубов поморщился, как будто ему не было дела до этого собрания.

— Может быть,— продолжал Грибовский,— ваша светлость, вы поручите мне составить бумагу?

Он понимал, что это будет ему гораздо спокойнее.

Зубов подумал с минуту и наконец сказал:

— Хорошо... попробуй... напиши... я посмотрю. А мне в самом деле пора в Эрмитаж.

Грибовский торопливо собрал со стола бумаги и с облегченным вздохом поспешил уйти, прислав вместо себя камердинеров князя, которые стали одевать последнего к вечеру.

Зубов долго возился со своим туалетом, так что, когда появился в Эрмитаже, там почти все приглашенные были в сборе.

На эрмитажных собраниях всякий этикет забывался — все приезжали, когда хотели, и делали что кому вздумается.

Зубов, войдя, увидел, что государыня играла уже в карты с Нарышкиным и Пассеком. Его не подождали. Однако князь сделал вид, что вполне примиряется с этим, и беззаботно, стараясь казаться очень в духе, здоровался со сгибавшимися пред ним со всех сторон придворными и поклонился дамам, между которыми в числе приглашенных была Скавронская. Сестра последней постоянно бывала приглашаема на эрмитажные собрания. Зубов сел у карточного стола и начал следить за игрою.

Вдруг его словно толкнул кто, и он почти непроизвольно взглянул на дверь. На пороге появился граф Литта.

«Уж это чересчур»,— мелькнуло у Зубова, и он в первый раз вместе со злобою к этому человеку, которого уже считал соперником, почувствовал робость пред ним и страх за свое собственное положение.

В самом деле Литта, казалось, начинал пользоваться заметными милостями императрицы. Он был приглашен сегодня в Эрмитаж и, разумеется, приехал потому, что отказаться от этого приглашения было бы дерзостью.

Зубов видел, как он вошел, как приблизился своею смелою, видною походкой к государыне и как она поздоровалась с ним.

— А вы чуть не опоздали, граф,— проговорила она,— еще немного — и было бы поздно... А! Вот видите! — добавила она и прислушалась.

Где-то в одной из дальних комнат раздался фальшивый звук скрипки.

Все переглянулись, не зная, что это значит.

Звук повторился еще раз.

Тогда государыня встала, положила карты и направилась к дверям, сделав знак следовать всем за собою.

Прошли несколько комнат. В крайней из них оказалось направо и налево по двери. Императрица приказала дамам идти в одну дверь, а кавалерам — в другую. Разделившись таким образом, гости нашли в смежных комнатах целый выбор готовых маскарадных костюмов. Это было сделано совершенным сюрпризом. Все должны были нарядиться и надеть маски.

Литта волей-неволей должен был подчиниться и надел на себя домино, не желая возиться с другим каким-нибудь нарядом.

Одетые маски выходили в зал, где уже играла музыка и составлялся импровизированный костюмированный бал.

Литта тоже вошел в своем домино, когда зал был почти уже полн.

Войдя сегодня в Эрмитаж и приближаясь к государыне, чтобы поздороваться с нею, он сейчас же заметил Скавронскую. Она сидела у окна, молчаливая и грустная. В ней не было уже того оживления, которым светилась она в театре. Она тоже видела, как он вошел, и губы ее слегка задрожали, но выражение глаз, с которым она посмотрела на него, Литта не мог забыть теперь. В них были и упрек, и презрение, и страдание, и жалоба, и мольба.

Свойственную всякому человеку способность догадки можно развить — посредством известного упражнения — в прямое понимание без слов чужих мыслей; Литта давно достиг этого. Но теперь он и без всякого понимания мыслей сразу почувствовал, отчего Скавронская смотрела так на него.

Он отлично понял: она говорила этим взглядом, что знает, зачем он сегодня в Эрмитаже, знает, что не для нее он здесь и что это ей невыносимо мучительно, и она никогда не простит ему этого. И он хотел сказать ей, что это — неправда и что он любит ее.

Остановившись у двери, он теперь испытующе следил из-под своей жаркой и душной маски глазами за мелькавшими пред ними феями и пейзанками, стараясь разглядеть, которая из них была Скавронская.

Зачем он это делал — он не мог дать себе отчет. Но и в Эрмитаж он приехал, опять обманув себя, что надеялся увидеть ее в последний раз.

Кто-то бесцеремонно просунул руку ему под руку сзади. Он обернулся; рядом с ним было красное домино. Литта невольно сделал движение отдернуть руку. Но домино не выпустило ее.

— Пойдем! — проговорил из-под красной маски чей-то измененный голос, настойчиво, почти приказывая...

«Неужели это — она?» — мелькнуло у Литты, но он сейчас же отогнал эту сумасшедшую, как ему казалось, мысль.

— Пойдем! — повторило домино еще настойчивее.

И Литта пошел.

— За кого ты меня принимаешь, маска? — спросил он.

— Граф Литта... Я никогда не ошибаюсь,— прошептала маска.— На плече у вас приколота розовая кокарда.

Литта посмотрел и тут только заметил, что на его домино действительно была кокарда.

— Что ж это значит? — спросил он.

Ему не ответили.

Они прошли пустую гостиную, потом другую, попали каким-то образом в недоконченную еще отделкой, нетопленную комнату со стенами, не вполне увешанными картинами, часть которых лежала на полу в раскупоренных ящиках, с торчащею по углам соломою, потом очутились в проходном коридоре.

Все это произошло очень быстро. Литту тянули почти насильно.

Сделав по каменным плитам коридора несколько шагов, они вошли в затянутую ковром глухую комнату. Здесь на столах и на мебели в беспорядке были разбросаны куски материи, тюль, части костюмов, ножницы и нитки.

— Теперь вы — мой! — проговорило домино, запирая дверь на ключ.

Литта теперь только решил, что все это ему очень не нравилось. И что это за домино и кто она такая?

— Узнаете меня? — спросила его спутница, снимая маску.

Это была баронесса Канних.

— Баронесса!.. Вы каким образом здесь? — удивился Литта, причем тоже снял маску.

— Каким образом здесь? — передразнила Канних.— Очень просто, а вместе с тем с большими затруднениями. От моей портнихи я узнала, что ей заказаны костюмы для нынешнего вечера, и явилась сюда в качестве ее помощницы. Меня пропустили. А когда большинство дам было уже одето, я надела домино, вышла в зал и смешалась с гостями. А кокарду вам пришпилил камер-лакей, муж моей портнихи. Что это мне все стоило — не ваше, разумеется, дело.

Все эти истории, стачки с портнихами и лакеями были очень не по душе Литте, и он почти грубо спросил, опускаясь на стул:

— Что же вам угодно?

— Отчего вы перестали бывать у меня? — ответила вопросом Канних, подступая к нему.

Граф опустил глаза, не зная, что сказать.

— Вот видите ли, я долго думала об этом,— заговорила она,— хотела писать вам... но потом догадалась, что вам теперь нельзя ни бывать у хорошеньких,— это слово она проглотила как-то запнувшись,— женщин, ни получать от них записки...

— Отчего же это? — спросил Литта не из желания объяснения, а скорее, чтобы, так сказать, отмахнуться от нового намека Канних.

— Оттого,— шепотом протянула она, желая казаться хитрее, чем это было нужно,— что за вами теперь следят, высматривают вас... и вот только на такую — правда, все-таки рискованную, шутку,— она показала на свое домино,— и можно было пуститься. Права я?.. Ну, а теперь,— вдруг меняя тон, добавила она,— по крайней мере час в нашем распоряжении.

Прежде чем уйти отсюда, что Литта сейчас же решил сделать, он хотел остаться совсем правым пред этой женщиной, а потому произнес:

— Но, баронесса, я, если вы припомните, никогда не давал повода...

— Я все помню,— перебила баронесса.— Вы думаете, я не поняла, что мне говорили ваши глаза в последнее наше свидание у меня?

Граф поднялся со своего места.

— Мои глаза ничего не говорили вам... ничего, кроме того, что мне было у вас нестерпимо душно... Ваши предположения безосновательны. Завтра же вы убедитесь, что ваши намеки — клевета.

Литта видел, как менялось, бледнея, лицо баронессы, но ему это было приятно. В том состоянии, в котором он находился, ему нужно было кому-нибудь прямо в лицо сказать, что его опутывают в последнее время ложью, клеветой, и он с удовольствием делал это теперь.

— Ничего подобного нет и быть не может,— продолжал он.— Я прошу вас отпустить меня... Дайте мне ключ от двери!

Канних отстранила руку, как будто он собирался отнять у нее ключ, и твердо заявила:

— Вы останетесь со мною, я так хочу.

Литта покачал головою.

— Напрасно, баронесса!

Канних постояла с минуту, как растерянная, потом крепко, до боли кусая нижнюю губу, прошла несколько раз по комнате взад и вперед, словно забыв, что она не одна, и наконец, остановившись пред Литтой, протянула ему ключ, говоря:

— Ступайте, но только помните, что ни одна женщина не простит вам никогда того, что вы делаете.

Литта, выйдя в коридор, отыскал прямой ход в комнату, где они переодевались, и, скинув там домино, уехал домой, не заглянув в зал, откуда слышалась музыка и где бал еще продолжался.

XV
СЕСТРЫ

Графиня Браницкая жила в самом Зимнем дворце, в отведенном ей помещении окнами на Неву. Скавронская, пока отделывали ее собственный дом на Миллионной улице, доставшийся ей вместе со всем огромным состоянием покойного мужа, остановилась у сестры. Они, столько лет не видевшие друг друга, вспоминали теперь свое детство, снова очутившись вместе.

Был первый час ночи. Стук отъезжавших от Эрмитажа экипажей давно замолк. Скавронская лежала, убранная совсем на ночь, в постели, закинув за голову руки и уставившись глазами пред собою. Графиня Александра Васильевна не ложилась еще и как бы нарочно медлила у туалета, надевая чепчик и поправляя волосы. Она изредка взглядывала на сестру, отлично понимая то состояние, в котором та находилась теперь.

— Катя,— проговорила она,— не дать ли тебе капель?.. у меня есть.

Скавронская не ответила и даже не шелохнулась.

Александра Васильевна сделала вид, что и не ждала ответа, и принялась бережно складывать жемчуг в коробку.

— Саша, а ты видела его, как он вошел сегодня? — вдруг спросила Скавронская.

Браницкая ниже нагнулась над своим жемчугом.

— Да,— ответила она, стараясь говорить как можно равнодушнее.

— Ты знаешь, мне все еще не верится... Нет, не может быть! Как я увидела его сегодня, так все как-то ушло, и я не верю.

Александра Васильевна встала со своего места и, вздохнув, будто хотела этим сказать, что и она всем сердцем желала бы не верить, да ничего не поделаешь, подошла к сестре и села к ней на кровать.

— Ах, Катя, Катя... Бедная ты моя! — вздохнула она опять.— И нужно же было вам встретиться!

— Нет, ты скажи,— перебила Скавронская, вдруг оживляясь,— нужно было приезжать мне в этот противный Петербург... Я точно ждала ведь чего-то. Так вот во мне словно говорило что-то: «Не езди!» — а приехала.

— Да ведь ты знала, что он здесь?

— Да, знала.

— И все-таки приехала?

Скавронская повернулась лицом к сестре и, облокотившись на подушку, ответила:

— Ах Саша, если б ты знала, какое это было чувство! И увидеть хотелось... то есть не мне хотелось увидеть его, а чтобы он меня увидел, понимаешь?.. и тоже узнать, какой он стал... переменился ли... Потом я думала: это его обещание там юношеское — это пустяки... может быть, оно как-нибудь и устроится... ведь не постригся же он в самом деле... И вдруг!.. что же вместо всего узнаю? Это ужасно!.. просто ужасно!..

Закрыв лицо руками, она откинулась на подушку и уткнулась в нее.

Александра Васильевна чувствовала, что ей нечем утешить сестру, нечего сказать. Она положила только ей на голову руку и ласково стала водить по ней.

Скавронская долго лежала так, не двигаясь.

— Ах,— сказала она наконец, дрогнув плечами,— знаешь, о чем я думала тут, когда лежала?

— Ну, о чем? — спросила ее сестра.

— Я больше не могу встречаться с ним, не могу!.. Это свыше сил моих.

— Это было бы самое лучшее,— согласилась Браницкая.— Но нельзя же тебе из-за него запереться дома. Тебе нужно развлечение... одной тебе тоже оставаться нельзя.

— Это я все уже обдумала. Я уеду завтра же в Старово, а ты пока устроишь мне дозволение переехать в Москву... Я думаю, меня не станут удерживать при дворе. На что я им?..

— Ну, не знаю... С твоим состоянием, с твоим личиком... ты слишком заметна здесь, таких слишком мало при дворе.

— Ах, не говори мне этого! — перебила Скавронская.— Не говори мне про мое лицо — оно противно мне... Понимаешь?.. Мне все противно теперь...

— Ну, это пройдет! — уверенно успокоила графиня.

— Так, ты думаешь, не отпустят? — вдруг спросила Скавронская, как бы теперь поняв смысл этих слов, разрушавший все ее планы, и в ее светлых, испуганных теперь, голубых глазах блеснуло такое беспокойство, что сестра ее невольно одумалась.

— Ну, это-то — пустяки, это мы устроим, Бог даст... Только зачем же тебе уезжать в Старово?

— А как же? — успокоившись спросила Скавронская.

— Да просто скажись нездоровою. Ну, не выходи никуда уж, если тебе так хочется, пока я устрою тебе разрешение.

— Нет, и не говори этого! — протянула Скавронская ладонь к сестре, словно хотела зажать ей рот,— и не говори этого! Быть все-таки так близко здесь... в одном городе, слышать о нем постоянно, знать, что он бывает здесь... Нет... я уж решила — завтра же я уеду в Старово и там скажусь больной.

Браницкая не возражала, видя, что противоречие только хуже волнует сестру.

— Ну, вот видишь, Катя,— заговорила она помолчав,— все обойдется — уедешь, Бог даст, забудешь... Мало ли что еще случится. В Москве много народа... увидишь людей, познакомишься... и все переменится.

Скавронская тяжело вздохнула.

— Нет, не переменится,— не вдруг ответила она,— уж наверно, такая моя жизнь — судьба... И ведь, несмотря на все, все-таки я чувствую, что он дорог мне... если б только... кажется...

— Ишь, сердце-то как у тебя бьется! — сказала Браницкая, кладя ей на левый бок руку.

— Ну, довольно, не будем говорить об этом! — решила Скавронская, но они долго еще не спали и все говорили о том же самом.

XVI

В ГАТЧИНЕ

«Нет, конечно, довольно, нужно разом решить все это»,— думал Литта, сидя в санях, гладко скользивших по дороге в Гатчину.

Он не ложился после вчерашнего собрания в Эрмитаже и еще до восхода солнца выехал из Петербурга, чтобы как можно раньше явиться к цесаревичу. Спать ему, однако, не хотелось.

Он то и дело погонял ямщика, и, несмотря на то, что лошади, казалось, старались из всех сил, все-таки находил, что они бегут слишком тихо, и ужасно удивился, когда сани подъехали наконец к гатчинской рогатке... Он думал, что он еще по крайней мере только на полудороге.

На рогатке его окликнул часовой, но когда граф, распахнув шубу, показал свой мальтийский крест на груди, блеснувший бриллиантами, его сейчас же пропустили.

Сани поехали тише. Литта приказал ямщику направиться прямо ко дворцу.

Здесь он, зная уже гатчинские порядки, вылез у ворот и, снова показав свой мальтийский крест, который опять создал ему беспрепятственный пропуск, прошел пешком через двор.

У подъезда графа задержал офицер, но, узнав в нем мальтийского кавалера, растворил двери.

В прежнее время бывало, когда Литта ездил представляться его высочеству, как генерал-адмиралу, обыкновенно все запреты кончались для него у дверей подъезда, и затем его встречали очень радушно и прямо шли докладывать о нем; он знал уже, в какие часы следовало приезжать, и потому всегда попадал в такое время, когда цесаревич принимал его немедленно. Но сегодня он заметил, что отношение к нему переменилось в Гатчине.

Встретивший его в приемной дежурный при его высочестве Растопчин, с которым Литта был лично знаком и который всегда крайне любезно относился к нему, теперь поздоровался с ним довольно официально, точно не узнав его, и стал тихо и подробно расспрашивать его, зачем он, по какому делу и почему желает представиться его высочеству. Литта ответил, что дело, по которому он приехал, касается его лично и что он сам доложит о нем цесаревичу. Растопчин по своей привычке двинул несколько раз подбородком вперед, поглядел опять искоса на Литту и просил подождать, не вступая в дальнейшие разговоры.

Ждать Литте пришлось очень долго. Растопчин тут же при нем занялся какими-то бумагами; на плац, находившийся пред дворцом (окна приемной выходили на него), привели солдат и произвели им ученье. Растопчин ушел куда-то. Литта начинал с нетерпением уже поглядывать на ведущую во внутренние покои дверь, ожидая, когда же она растворится и Павел Петрович выйдет к нему или его самого проведут туда. От этой перемены в приеме сердце его болезненно сжималось.

Наконец за дверью послышались быстрые, сердитые шаги, и Павел Петрович вышел в приемную, слегка подергивая плечом на ходу.

Литта успел уже приготовиться и стоял, почтительно вытянувшись. Цесаревич оглядел его с ног до головы, близко, совсем близко подошел к нему и, не здороваясь, резко проговорил:

— Чем могу служить?

Графу показалось, что Павел Петрович нарочно заговорил по-русски, чтобы резче подчеркнуть свое неудовольствие. Он сделал низкий поклон и подал цесаревичу сложенную вчетверо бумагу, которую держал в руках, по-русски же ответив:

— Прошу у вашего высочества милости.

Павел Петрович нервно почти выхватил бумагу из рук Литты, развернул ее и стал читать.

И вдруг, к своему удивлению, граф увидел, как по мере чтения менялось сердитое выражение лица Павла Петровича. Пробежав бумагу до конца, он совсем иными — ласковыми — глазами взглянул на мальтийского рыцаря и со своею доброю улыбкой, при которой углы губ опускались у него, тихо проговорил:

— Вы просите отставки?

— Так точно, ваше высочество.

— Зачем?

— Думаю уехать. По многим причинам мне бы не хотелось дольше оставаться в Петербурге.

Павел Петрович оглядел его еще раз, но совсем уже иными глазами, и повернувшись проговорил: «Пойдемте, я хочу поговорить с вами». После этого он провел графа в свой кабинет, где Литта бывал уже у него, и показал ему на стул у маленького столика, стоявшего у окна, а сам сел на кресло по другую сторону столика и спросил, приступая прямо к делу:

— Какие причины?

Литта взглянул на него.

Цесаревич, казалось, понял этот взгляд.

— Я не сомневался в вас: мальтийский рыцарь не может поступить иначе. Но вы говорите, что хотели бы совсем уехать из России.

Граф наклонил голову в знак подтверждения.

— Может быть, этого и не нужно, это — уже крайность... Мне необходимы во флоте такие люди, как вы, и, кроме того, я желал бы видеть при себе мальтийского рыцаря.

— Но, ваше высочество...— начал было Литта.

— Я желал бы видеть вас при себе,— повторил Павел Петрович.— Хотите переехать в Гатчину, ко мне? Этим все будет кончено.

— Если бы это было так, ваше высочество! — произнес Литта.

Павел Петрович повернулся на месте, и плечо его опять дернулось.

— Говорите все... не люблю загадок! Тут неясно что-то! — отрывисто произнес он и, взглянув на Литту, вдруг добавил, наклоняясь к нему, и ласково кладя руку на его руку на столе: — Расскажите мне, как брату! Может быть, я успокою вас.

Искренность, простота и глубокое участие, звучавшие в этих словах, показали графу, что цесаревич видит, что у него есть тяжелое, безысходное горе на душе. Так мог говорить только человек, сам испытавший многое, и Литта, всегда относившийся с особенным чувством умиления к «гатчинскому затворнику», как называли цесаревича при дворе, почувствовал теперь еще больше почтительной приязни и доверия к нему.

— Ваше высочество,— проговорил он,— я бежал в Россию от того же самого, от чего теперь приходится бежать мне отсюда. Я не про то говорю, от чего можно было укрыться в Гатчине... Нет, тут другое. Я не имею права больше оставаться здесь... Шесть лет тому назад, в Неаполе...

И Литта рассказал, что было с ним в Неаполе и почему он явился в Россию.

Цесаревич слушал, не перебивая.

— Теперь она здесь? — спросил он, когда Литта кончил.

— Да,— тихо ответил тот.

Павел Петрович положил ногу на ногу и задумался.

— Теперь она свободна,— заговорил снова Литта,— но я... я связан по-прежнему.

— А она... продолжает к вам относиться все так же?

Литта ничего не ответил. Вчерашний взгляд Скавронской, которым она встретила его в Эрмитаже, живо вспомнился ему.

— Да,— сказал Павел Петрович,— другого выхода нет,— вам нужно ехать. Нужно, чтобы она забыла вас — чтобы вы совсем исчезли для нее, умерли... И медлить нельзя... Вы когда думаете ехать? — спросил он вдруг, по своей привычке никогда не откладывать принятого раз решения.

— Конечно, как можно скорее,— ответил Литта,— как только выйдет отставка.

— Об этом позабочусь я сам,— перебил Павел Петрович,— это не задержит.

— Потом я жду денег из Италии; у меня здесь долги, нужно рассчитаться с ними.

— Хорошо. Так, пока устроитесь, можете переехать сюда и живите в Гатчине вплоть до отъезда. Я буду очень рад.

Конечно, лучше этого ничего нельзя было найти теперь для Литты; он с искренним чувством благодарил цесаревича, и между ними начался один из тех разговоров, которые граф уже не раз вел с ним — о любимом ими обоими Мальтийском ордене.

Литта был оставлен обедать в Гатчине.

После оказанного ему приема Растопчин иначе — не так, как утром, но по-прежнему — проводил его и, как бы извиняясь за утро, стал уверять, что он был в хлопотах, занят и что у него вообще столько дела, что голова идет кругом.

XVII
НА ПУТИ

Очутившись снова в санях по дороге из Гатчины в Петербург, Литта почувствовал, что ему дышится легче, чем утром. Было ли это оттого, что разговор с цесаревичем облегчил его душу, или утомление от бессонной ночи достигло того высшего предела, когда тело начинает ослабевать и в нем появляется сонная, успокоительная истома, или, наконец, просто оттого, что он, долго не бывавший за городом, дышал теперь свежим воздухом поля, покрытого чистым снегом,— но только Литта чувствовал эту легкость

в груди и, прислонившись к спинке саней и закутавшись в шубу, думал: «Да, уеду теперь — и все будет кончено». И он мысленно уже прощался и с этим снегом, к которому успел привыкнуть и который ему не суждено будет, вероятно, скоро увидеть, и с этою лихою ездой на тройке, и со всем, что он оставил в Петербурге.

Сани визжали полозьями. Пристяжные, вскидывая ногами, подбрасывали снег, и по сторонам бежала, удаляясь гладкая белая равнина. Литте казалось порою, что не он едет, а эта равнина бежит назад от него, унося его мысли и грезы.

И вот эти мысли становятся все менее и менее ясными, белая равнина сливается с небом и охватывает его, и он точно окунается в нее. И ему спокойно, хорошо и тепло... И Литта уже не соображает, где он. Сон одолевает его, и он не борется с ним. Однако бряцанье бубенчиков он слышит ясно... только они звучат тише, будто издалека.

Граф не знал, сколько прошло времени, но бубенчики перестали звенеть, сани остановились.

Литта открыл глаза. Было почти совсем темно. Ранние зимние петербургские сумерки надвинулись и окутали все кругом.

Сани стали возле маленького домика, потонувшего в снегу, с покосившимся крылечком и с освещенными окнами.

«Станция! — догадался Литта, взглянув на столб с надписью на приколоченной к нему доске.— Лошадей менять будут».

Привезший его ямщик слез с козел, подпрыгнул на месте и, расправляя затекшие ноги, подошел к нему, сняв шапку. Литта бросил ему на чай мелочь.

— Скорей! — сказал он.

С другой стороны саней подошел почтовый староста и, тоже сняв шапку, проговорил, видимо, привычным голосом, не в первый раз в жизни повторяя свои слова:

— Придется обождать маненько — лошадок-то нетути...

И он с тем же, как ямщик, движением мотнул вперед шапкой, точно ждал, что и ему дадут на чай за его известие.

Литта нахмурился, но, зная по опыту, что при таком известии всякие разговоры со старостой напрасны, молча вылез из саней и, приказав позвать к себе смотрителя, поднялся по ступенькам крылечка в холодные сени, слабо освещенные сальным огарком в помещенном на стене фонаре.

Эта роскошь была несколько необыкновенна.

— Милостивый государь мой, сударь,— остановил Литту неизвестно откуда появившийся теперь возле него смотритель,— не угодно ли вам уже здесь скинуть шубу, потому что там,— он показал на комнату для приезжих, куда хотел войти Литта,— придворная княгиня, так холода им нанесете... Позвольте, я сам помогу вам... и шубку к себе отнесу,— расторопно суетился смотритель, заметив богатую одежду Литты.

— А лошади скоро будут? — нетерпеливо переспросил Литта, из уважения к княгине снимая шубу в сенях.

— Повремените малость, ваше сиятельство, вот и княгиня ведь ждут,— и, бережно обняв одною рукой широкую шубу Литты, смотритель поклонился ему, отворяя дверь.

Граф, нагнувшись, вошел через низкую дверь в тесную комнатку станции.

На диване, под наклеенными на стене лубочными картинками, сидела старушка в белом чепчике, а против нее у стола, спиною к двери, та, которую смотритель назвал «княгинею».

Но Литта сейчас же узнал эти светлые золотистые волосы, эти плечи, под красной шелковой косынкой, манеру ее, руки... Это была «она», живая, прекрасная, милая.

Они, оба, решив сегодня ночью уехать как можно скорее из Петербурга, казалось, сделали все от них зависящее, чтобы не встретиться: он возвращался из Гатчины, куда ездил хлопотать об отставке, она отправлялась в свою пригородную мызу Старово, чтобы ждать там себе дозволения переехать в Москву,— и вот именно потому, что они сделали все, чтобы не видеться, они и сошлись, встретились лицом к лицу, так что отступление было невозможно.

Скавронская повернула голову и почему-то встала при виде Литты. Она сделала торопливое движение, как бы ища выхода, куда скрыться из этой комнаты.

И вдруг графу пришла ужасная мысль, что она может подумать, что он ехал за нею по пятам и что назойливо искал с ней увидеться.

— Графиня,— заговорил он, подходя,— я не ждал этой встречи... я не мог думать, что увижу вас. Я возвращаюсь из Гатчины, от генерала-адмирала, которому возил свою просьбу об отставке...

Это было первое, что ему пришло в голову, и он говорил это, чувствуя, что нужно было говорить ему.

Старушка-няня в белом чепце тоже привстала со своего места и, испуганно взглянув на Литту, узнала его, метнулась из стороны в сторону и, часто заморгав своими слипающимися старческими глазами и умигивая навернувшиеся слезы, как тень, проскользнула мимо Литты и вышла из комнаты.

Он и Скавронская остались одни. Литта смотрел и ждал, что ответит Екатерина Васильевна, что скажет она; все его обеты, борьба и покорность пред испытаниями исчезли и улетучились; жизнь зависела теперь от нее.

— Отставка?..— силилась она понять его слова.— Вы подаете в отставку?.. Как же это? Я слышала, что, напротив, вы должны получить повышение... награды...

Страшная, невыразимая, больше чем физическая боль как бы пронизала все существо графа, и он с дрогнувшими щеками и с дрожащим подбородком приблизился к ней еще и заговорил,— заговорил не словами, но голосом, выражением, не заботясь о самых словах и не следя за ними:

— Какое повышение? Кто вам сказал это? Ложь все!.. Я завтра же уеду отсюда, я поселюсь в Гатчине... пока, до отъезда... Ложь!.. Я люблю вас... одну только вас... в вас мое счастье... радость моя... вся жизнь для меня — вы одна...

Скавронская встала со своего места, пошатнувшись сделала два шага к нему и опустила руку ему на плечо.

— Ну, прощайте,— проговорила она.— Прощайте! Мы не увидимся с вами?

— Нет, графиня... лучше...

— Да, лучше,— ответила она,— уезжайте... уезжайте... скорей!..

И снова, не совладав с собою, граф вдруг охватил молодую женщину, прижал к себе, и на один миг счастье вернулось к нему.

— Прощай навсегда! — шептал он.

Крючок у двери стукнул, и распорядительный смотритель влетел в комнату, заявляя, что лошади готовы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

КУРЬЕР ИЗ ИТАЛИИ

С тех пор как Литта поселился в Гатчине, в ожидании, пока дела его позволят ему уехать наконец совсем из Петербурга, он окончательно потерял свой вдруг возникший престиж в придворном обществе и на него махнули рукой, как на человека «конченного», карьера которого потеряна навсегда, по крайней мере в России.

Впрочем, его отъезд в Гатчину возбудил в первые дни большие толки.

— Нет, представьте себе, Литта-то каков, а? А ведь мы думали было... и вдруг...— говорили одни.

— Нет,— возражали другие,— мы ждали этого... мы всегда говорили. Но все-таки странно...

Однако мало-помалу оказалось, что все ожидали именно того, что случилось; все предвидели это и, сойдясь наконец на этом и сами уверив себя, что они действительно предвидели, стали забывать о Литте.

Поэтому случилось и следующее: когда Грибовский принес составленную им бумагу о Мальтийском ордене Зубову, тот прочел ее со вниманием, очень похвалил, но отложил в сторону, сказав, что «теперь не надо уже», и самодовольно улыбнулся. Счастливая звезда этого бездарного, бесталанного, но красивого мальчика, видимо, не закатывалась, и он не задумывался сейчас же приписать своему влиянию исчезновение Литты с петербургского горизонта.

— Так как же, ваша светлость, вы п р о с т и т е теперь ему? — спросил Грибовский, поглядывая на отложенную бумагу.

— Там увидим еще... но теперь я думаю повременить... да... А какие еще бумаги у тебя? — добавил Зубов, кивнув на толстый портфель.

— Из Италии приехал курьер, ваша светлость,— ответил Грибовский.

— И привез кипу бумаг? — недовольно подхватил Зубов.— Ты разобрал их?

— Бумаг немного, и ни одной важной, все больше старые газеты; верно, просто этого курьера прислали проехаться на государственный счет в Россию — так, для него самого... иногда это и мы делаем со своими курьерами.

— А кто же этот курьер? — спросил Зубов.

— Дворянин, ваша светлость, так по крайней мере в паспорте значится, по фамилии синьор Мельцони.

— Мельцони... Мельцони? — повторил Зубов, который хотя и слышал очень немного итальянских фамилий, но делал вид, что знает их наперечет.— Нет, никогда не слышал,— решил он.

«Я в этом и не сомневался»,— мелькнуло у Грибовского.

— Так что же он привез? — спросил Зубов.

— Да больше, ваша светлость, вещи — много кораллов, недурную коллекцию камней,— и, говоря это, Грибовский стал вынимать из портфеля ящик за ящиком и выставлял их на столе.

Лицо Зубова, понявшего теперь, чем наполнен был портфель, мгновенно повеселело.

— А... вот это так! — проговорил он, принимаясь раскрывать ящик и вынимать вещи.— Все это хорошо!

Кораллы ему, видимо, очень понравились, но особенно доволен он остался камеями, зная особенную любовь императрицы к их собиранию.

— Да,— решил Зубов,— так я сейчас же отнесу это государыне... Вот что: нужно будет наградить этого Мильзони; так, кажется?

— Точно так, ваша светлость, Мельцони,— поправил Грибовский.

— Так ты говоришь, что он просто так сюда приехал.

— Совершенно без всякого дела, ваша светлость.

— А! Ну, ничего, пусть повеселится! — и, собрав ящики с камеями, Зубов поднялся со своего места и направился к двери.— Да,— обернулся он,— поезжай к этому итальянцу и скажи от моего имени, что он будет награжден; узнай, что ему будет лучше? Какая награда? А теперь отнеси сейчас же это,— он показал на ящики,—

наверх... Так съезди...— и Зубов поспешными шагами вышел из комнаты.

Грибовский проводил его чуть сдерживаемою насмешливою улыбкою.

О приезде итальянского курьера в Гатчине узнали в тот же день (цесаревичу были привезены тоже некоторые вещи), и Литта очень обрадовался этому известию. Он сейчас же подумал, нет ли для него у курьера каких-нибудь пакетов. Важные бумаги весьма естественно боялись доверять почте и обыкновенно ждали оказии для их пересылки. Документ на получение по переводу на банк или просто деньги были в данную минуту очень важны для Литты, и он почти был уверен, что с приехавшим курьером пришло если не это, то во всяком случае какое-нибудь извещение о деньгах. Он доложил цесаревичу о причине своей отлучки из Гатчины и отправился в Петербург, с тем чтобы побывать только у курьера.

Литта застал Мельцони в номере гостиницы. Тот встретил своего старого неаполитанского знакомого графа довольно равнодушно, но Литту в первую минуту неприятно поразила необходимость снова столкнуться с этим человеком, который ему был не по душе теперь. Он не знал, что курьером прислан именно Мельцони, и, знай это, просто написал бы из Гатчины; поехал же Литта лично, чтобы повидать человека, прибывшего из Италии, родной его страны... И вдруг этим человеком оказался Мельцони.

— Вот мы снова встретились с вами, граф,— заговорил Мельцони, здороваясь с Литтою.— Садитесь! Как вам живется здесь? Я ведь знал, что вы тут... хотя, помните, после нашей дуэли вы как-то исчезли очень скоро из Неаполя.

Литте было досадно, что этот человек так прямо заговаривает о вещах, о которых ему-то и следовало бы помолчать теперь, и решил холодно и как можно вежливее постараться показать ему, что, кроме дела, не желал бы вести никаких других разговоров.

Но Мельцони, видимо, не стеснялся. Он очень развязно, слегка развалясь на стуле и заложив ногу на ногу, смотрел в глаза Литте и как бы говорил ему: «Да, мой милый, хоть и не рад ты, что попал именно ко мне, а все-таки я не боюсь тебя».

— Ну, ведь это — дело прошлое! — продолжал он.— Что же, с тех пор много времени прошло... Ну, вы как? обжились здесь?.. А мне ваш Петербург не очень нра-

вится — холодно, сыро... Не хотите ли стакан вина? Я велю подать чего-нибудь.

— Вы сказали, что знали о моем пребывании здесь,— перебил Литта, не ответив на его вопрос.— У вас, может быть, есть поручения ко мне или бумаги?

— Как же, как же, милый друг, есть... есть! — перебил Мельцони.— Вам сейчас дать их?

Этот покровительственный тон удивил Литту.

— Да, сейчас,— ответил он, но с таким выражением, из которого было ясно, что он не желает обращать внимание на заносчивость своего собеседника.

Мельцони, как бы с полною готовностью сделать Литте всякое удовольствие, встал, достал ключи, вытащил из-под постели большой чемодан, отпер его и начал рыться в нем.

— Вот, вот,— наконец проговорил он, доставая несколько пакетов, и, подойдя к Литте, подал их ему.

Граф стал быстро распечатывать и бегло просматривать полученные им пакеты. Тут были несколько писем от товарищей-мальтийцев, затем письмо от великого магистра, письмо от дюка ди Мирамаре, который сообщал, что он жив и здоров, женился и живет теперь в Риме. В большом пакете, запечатанном печатью Мальтийского ордена, Литта нашел формальное полномочие о назначении его резидентом ордена при русском дворе, но нигде не было ни намека на какие-нибудь деньги или что-нибудь подобное. Правда, великий магистр, насколько Литта успел пробежать его письмо, почему-то утешал его и давал понять, что все, мол,— тлен и суета в этом мире.

— Что, граф, интересные новости получили? — спросил Мельцони.

— Да, очень,— ответил Литта и стал собирать свои бумаги.

— Узнали что-нибудь о ваших бывших имениях? — опять спросил Мельцони, так равнодушно, как только мог это сделать.

— О моих бывших имениях? — переспросил Литта.— Что это значит?

Мельцони улыбнулся, заранее предвкушая удовольствие, какое ему предстояло сейчас, так как он берег для Литты очень интересную новость.

— Очень просто! — проговорил он.— Декретом Французской республики, только что изданным, все поместья Северной Италии, принадлежащие дворянству и монашеским орденам, отняты у прежних владельцев и объявлены собственностью народа.

Литта сразу понял теперь тот покровительственный тон, которым считал себя вправе разговаривать с ним Мельцони. Но он понял также, что он, за минуту пред тем считавший себя богатым человеком, стал теперь нищим, потому что все его родовые командорства находились в Северной Италии и он лишился сразу всего состояния.

Как, однако, ни было ужасно для него это известие, как ни вглядывался Мельцони в его лицо, чтобы уловить хоть тень, хоть малейшее выражение волнения, лицо Литты осталось совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его.

— Неужели это — правда? — произнес он тем же тоном, каким спрашивал у Мельцони пакеты, взглядывая на него своими большими, ясными глазами.

— Правда, правда,— подхватил Мельцони,— вероятно, на днях об этом будет объявлено официально.

Мельцони говорил очень нервно, боясь, что Литта не верит ему, и вся его тощая, маленькая фигурка была в движении. Однако граф вполне верил, и только спокойствие его от этого не изменилось. Он слишком хорошо умел владеть собою, чтобы выказать пред Мельцони свое волнение.

— Благодарю вас за известие,— сказал он, вставая,— до свидания,— и, поднявшись во весь рост, с особенным достоинством поклонился итальянцу, удивленно смотревшему на то, как он принимает известие о внезапной потере своего состояния, а затем, выпрямившись, направился к двери.—Вы мне позволите,— обернулся он к Мельцони, уходя,— прислать вам какой-нибудь подарок в благодарность за привезенные пакеты?

Мельцони, потеряв уже свой дерзкий, покровительственный вид, невольно поклонился ему ниже, чем хотел сделать это.

II

ЗАЧЕМ ПРИЕХАЛ МЕЛЬЦОНИ?

Выходя из гостиницы, Литта встретил зубовского секретаря Грибовского, который, исполняя поручение князя, шел извещать Мельцони о награде.

Грибовский нарочно отвернулся от графа так, чтобы тот видел, что он не желает ему кланяться, но Литта вовсе и не заметил его.

«Ишь, гордость какая в этом человеке! — подумал последний: — Идет, словно мир покорил!» — и, чувствуя, что его совершенно не заметили, стал нарочно громко звать прислугу и расспрашивать, где комната итальянского курьера.

Мельцони встретил его (Грибовский был одет довольно просто) сначала очень сдержанно, но, когда узнал, что к нему явился секретарь князя Зубова, немедленно растаял и согнулся в три погибели.

Грибовский сообщил ему причину своего посещения, и Мельцони выказал при этом такую жадность, сквозившую в каждом его слове, что не трудно было понять, что самою лучшею для него наградою будут деньги. Грибовский так и решил это.

Выяснив себе этот главный вопрос, секретарь Зубова, чтобы не сразу уйти, перешел к самому общему разговору, который обыкновенно ведут постоянные жители города, встретившись с приезжим иностранцем. Он стал расспрашивать, как понравился Мельцони Петербург, сожалеть, что тот приехал в самое дурное время, и расспрашивать, что он намерен делать. Мельцони отвечал, что Петербург ему очень нравится (Литте он только что говорил совсем другое), что дурное время пройдет и он останется хоть до лета, чтобы вполне узнать русскую столицу, и что приехал сюда, надеясь рассеяться и повеселиться.

— Так вы в «Красный кабачок» поезжайте,— посоветовал ему Грибовский,— цыган наших послушайте, потом... все это очень интересно... за городом; на тройке туда поехать можно.

— Да. А в самом городе есть какие-нибудь учреждения, где можно провести время? — спросил Мельцони.

— О, сколько угодно! Театр есть. Вот тоже трактир «Старый Пекин», Гидля кондитерская, там недурно кормят... и по-французски говорят... Для вас, как иностранца, это важно, особенно в первое время...

Мельцони очень обрадовался этому и просил рассказать ему, как найти кондитерскую.

— Я, пожалуй, подвезу вас,— предложил Грибовский,— для первого раза, потом уже сами будете знать.

— Вот и отлично,— согласился Мельцони.

Они поехали вместе, и на Мильонной Грибовский выпустил своего спутника, указав ему кондитерскую.

Мельцони вошел туда с теми движениями и манерой, которые свойственны человеку, попавшему впервые куда-

нибудь. Он огляделся и, заметив стоявшего за прилавком хозяина, прямо подошел к нему.

— Мсье Гидль? — спросил он по-французски.

— К вашим услугам,— ответил тот, расправляя свой белый фартук и кланяясь.

Теперь Мельцони знал, что ему делать.

— Чашку кофе,— проговорил он.

Гидль кивнул головою и сказал:

— Сейчас.

— С римским сахаром,— добавил Мельцони.

Гидль приостановился, быстро взглянул на него и спросил:

— Вы, вероятно,— иностранец?

— Я приехал из Рима,— ответил Мельцони, заметно только для самого Гидля прикасаясь рукою ко лбу и к груди.

— Пожалуйте! — проговорил содержатель кондитерской и пошел вперед, показывая ему дорогу.

В коричневой комнате с Распятием в задней стороне кондитерской, куда Гидль ввел Мельцони, было уже много народа. Все сидели за столом и поднялись навстречу Мельцони. Сидевший на главном месте Грубер подошел к нему, спрашивая:

— Синьор Мельцони?

Итальянец отвесил низкий, почтительный поклон и подал Груберу сложенную в три раза бумагу, которую уже заранее вытащил из кармана.

Грубер развернул ее, просмотрел, сделал вид, что поцеловал стоявшую на ней надпись, и, обращаясь к Мельцони, снова проговорил:

— Так милости просим. А мы заждались вас... мы давно уже в сборе.

— Я не властен был над собою,— оправдывался Мельцони,— меня задержали.

Грубер стал знакомить его с присутствующими: Бжозовский, Вилли, Эверанжи, Вихерт, называл он, и Мельцони каждому низко кланялся и получал такой же ответный поклон. Они сели. Грубер указал Мельцони место против себя.

— У вас есть бумаги? — спросил он.

Мельцони вынул несколько запечатанных писем и передал иезуиту.

— Ну, что, как идут дела? — заговорил тот снова.— Что, его святейшество все еще не решается гласно восстановить наш орден?

— Кардинал Консальви прилагает все старания,— ответил Мельцони.

— Ну, что ж, дождемся, а пока будем и так работать.

Иезуиты говорили по-латыни.

— Одно из самых важных сообщений, которые я привез,— начал Мельцони,— это, вероятно, появление в России перфектибилистов.

— Все-таки! — не удержался один из иезуитов, ударив по столу кулаком.

— Не перфектибилистов, а иллюминатов... иллюминатов,— повторил Эверанжи, обращаясь к Мельцони.— С тех пор как мы добились изгнания их из Баварии под этим именем и разгрома их шайки, пусть они так и называются.

Тайное общество перфектибилистов было основано Вейсгауптом с целью противодействия иезуитам.

— Не в этом дело! — перебил Грубер, кусая ногти.— Я уже имею сведения — мне казалось по крайней мере, что они тут устроили свое гнездо...

— Да,— продолжал Мельцони,— у нас стало известно, что они направились сюда... и даже сам Adam Vetus[1] должен быть здесь...

Он знал, какое впечатление должно произвести на отцов-иезуитов это имя.

— Adam Vetus! — шепотом повторило несколько голосов.

Только Грубер и Бжозовский казались спокойны.

— Я верю, что при помощи Божией и этот человек нам будет не опасен; может быть, мы справимся и с ним,— произнес первый.

Но его лицо стало все-таки неспокойно. Видимо, сообщенное Мельцони известие было гораздо неприятнее ему, чем колебание папы восстановить орден иезуитов.

— Однако нужно принять меры; но что сделать? — спросил Эверанжи.— Главное, нет такого человека, которого они подпустили бы к себе.

— У меня, пожалуй, найдется такой человек,— процедил сквозь сжатые зубы Грубер.— Еще что? — обратился он к Мельцони.

---

[1] Древний Адам *(лат.)*.

— Затем наши отцы находят, что пора вам приступать к деятельности более открытой в России, пора свергнуть Сестренцевича[1].

— Всеми бы силами души желали этого,— вздохнул Грубер,— да рано еще. Впрочем, об этом я сам напишу подробно,— и он опять вопросительно взглянул на Мельцони.

— Еще,— продолжал тот,— в Италии желали бы знать, как идет дело о склонности графа Литты к русской графине, которая вернулась сюда.

«В Италии», собственно говоря, не особенно желали знать это, потому что там были дела и поважнее любви Литты, но Мельцони самому хотелось получить эти сведения. Грубер с улыбкою глянул на него и произнес коротко, не вдаваясь в объяснения:

— За этим следят.

Мельцони почувствовал себя слегка неловко.

— Относительно склонности русского наследного принца к Мальтийскому ордену тоже немалый интерес возбужден в Италии,— опять заговорил он, как бы желая переменить разговор.— Вот, кажется, все главное, а частности еще узнаете из писем.

Грубер стал распечатывать письма и, по мере того как просматривал их, передавал другим. Впрочем, некоторые он оставлял у себя, не показывая.

— Ну, а теперь,— заговорил он, покончив с письмами,— докажем нашему брату из Италии, что мы тут не бездействуем и тоже имеем кое-какие сведения! — и, говоря это, он отыскал в лежавших пред ним на столе бумагах небольшой листок, весь исписанный очень мелко.— Собрание иллюминатов,— прочел он,— назначено на двадцать пятое число вечером. Они соберутся в доме графа Ожецкого...

— Но ведь самого графа нет в Петербурге, и, с тех пор как он уехал за границу, дом его стоит заколоченным,— заметил кто-то.

— Иллюминатам отопрут его,— проговорил Грубер.— Они соберутся в доме графа Ожецкого,— повторил он,— и один из наших братьев проследит, кто будет входить в этот дом, а для того, чтобы узнать, на чем решат они, от нас будет там человек, от которого мы выведаем все

---

[1] Богуш Сестренцевич (1731—1827) — митрополит всех римско-католических церквей в России, противодействовавший иезуитам.

нужное. Вот видите, синьор Мельцони, и мы тут знаем кое-что...

Итальянец почтительно слушал, невольно удивляясь предприимчивости и предусмотрительности Грубера.

— Дело наше в России в опытных руках — я вижу теперь,— произнес он вслух.

Грубер самодовольно улыбнулся.

Когда они наконец разошлись, Мельцони вышел из кондитерской задним ходом вместе с Грубером, который показал ему дорогу. Они вышли не на Миллионную, а на пустынный берег Мойки. Снег, начинавший подтаивать и покрываться гололедицей, не блестел уже своею серебряною белизной. Темные деревья по другую сторону Мойки качались и шуршали обледенелыми ветками.

— Боже мой, как тут неприветливо у вас! — проговорил Мельцони, скользя на каждом шагу и стараясь идти как можно осторожнее, чтобы не упасть.

— Ничего,— успокоил Грубер,— скоро начнет уже совсем таять и наступит весна. Здесь она очень грязна, но за городом хорошо. Ведь первая неделя поста близка.

— А скажите, отец, исповедь католиков в чьих руках здесь?

— Официально она в руках клевретов Сестренцевича, но много верных сынов католической церкви приходит и к нам...

Они сделали круг и вышли на Миллионную.

— Ну, теперь вы найдете дорогу? — спросил Грубер.

— Да. А вы куда?

— Я к графу Литте; мне нужно повидаться с ним.

— А вы с ним в хороших отношениях? Вы видитесь? — спросил Мельцони.

— Конечно... да, в хороших отношениях,— подтвердил Грубер, прощаясь с ним.

И они разошлись.

III

ЛАВКА БРИЛЛИАНТЩИКА

Только очутившись один на улице, в своей карете, Литта, выйдя от Мельцони, тяжело вздохнув, почувствовал, что новое, неожиданное горе взвалилось ему на плечи. Он не мог не поверить полученному известию. В самой Франции уже давно были отобраны все земли дворян и духовенства, дело теперь дошло и до Северной Италии, из которой образована была Цизальпинская республика.

— О, Боже мой, Боже мой! — проговорил граф, силясь сообразить, что ему делать теперь.

Однако нужно было подумать, как управиться с делами и расплатиться хотя бы с теми долгами, которые были сделаны уже в надежде на получку денег.

Один долг — старику Шульцу, который поверил ему свой крест без всякой расписки,— особенно беспокоил графа. В счет этого долга была уплачена только часть, остальное нужно было уплатить.

«Да, уплатить или вернуть крест»,— решил Литта и, обрадовавшись, что он может разделаться еще с этим долгом, велел ехать в Морскую, к лавке бриллиантщика.

Старик Шульц встретил его очень приветливо. Небольшая, низкая, но чистенькая и опрятная лавка была очень уютна и походила скорее на обыкновенную комнату с зеркалом, простым круглым столом и креслом с высокою спинкою у окна. Только небольшая витрина с ювелирными вещами в углу говорила о профессии жившего тут хозяина. Шульц встал со своего кресла навстречу Литте, улыбнувшись ему, как желанному гостю.

— Не думайте, что я приехал к вам с деньгами,— произнес граф.— Напротив, я приехал сообщить вам, что их у меня не только нет, но и не будет.

— И не будет? — переспросил Шульц.

— Да. Я только что получил известие, что лишен всех своих земель и всего состояния. Мои командорства конфискованы правительством французской республики...

Шульц покачал головою.

— И вот я приехал к вам, чтобы покончить со своим долгом,— продолжал Литта.— Вот, видите ли, там мною заплачено уж тысяча рублей, а теперь все, что я могу сделать,— это вернуть вам цепь с крестом, предложив эту тысячу рублей вам в виде платы за то, что я пользовался вашею вещью. Это — единственный для меня выход.

— Так... так! — забормотал Шульц.— Мне очень жаль вас... Только зачем же тысячу?.. Зачем вы будете платить мне? Ведь вещь осталась у вас совсем целою, она не испорчена.

— Я думаю, что нет,— сказал Литта, снимая с себя мальтийский крест и передавая его Шульцу.

Тот взял его и начал рассматривать.

— Да,— проговорил он,— нисколько не испорчена: тот же чистый и прозрачный блеск — эта цепь была на достой-

ной груди... Хорошо,— добавил он,— я приму вещь обратно и верну вам вашу тысячу рублей.

— Нет, на это я не соглашусь,— перебил его Литта.— Зачем же? Пусть деньги останутся у вас. За что же вы будете терять?

Шульц в это время достал из кармана плоский черный футляр, вынул оттуда круглые серебряные очки и, надев их вместо своих синих, продолжал разглядывать бриллианты. Он мельком посмотрел на Литту, и тот, поймав взгляд его быстрых глаз из-за серебряных очков, вдруг заметил в них что-то знакомое, давно забытое, исчезнувшее, как отдаленное воспоминание...

— Poursuivre des biens pèrissables, c'est se vouer á l'èternitè de la mort [1],— проговорил вдруг Шульц на совершенно чистом французском языке.

— Лагардин-Нике! — воскликнул Литта, узнав старика.

Тот поднял голову и спокойно ответил:

— Да, я — тот, кого вы знали в Неаполе под именем Лагардина-Нике.

Граф почувствовал как будто какое-то смущение.

— Что же это значит? — спросил он.

— Это значит, что я не хочу принимать ваши деньги и, открывшись вам, надеюсь на вашу скромность. Вы видите теперь, что я приехал в Петербург не с одним делом скромного бриллиантщика. Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся с вами, и скорее даже, чем вы думаете. А пока позвольте передать вам,—и он, достав из конторки пачку билетов, подал их Литте.

— Зачем бы вы ни приехали сюда,— можете быть покойны, что я не стану выдавать вас,— ответил Литта.— А теперь, если уж вы непременно хотите вернуть мне деньги, то дайте за них какую-нибудь вещицу; мне нужно послать подарок тут одному приезжему...

— Если вам это будет угодно,— ответил бриллиантщик, подходя к витрине, и, вынув несколько вещей, разложил их на столе.— Если вам угодно, я даже сам пошлю вещь по адресу,— добавил он.— Ведь вы хотите послать ее?

— Да. Тут приехал курьер из Италии, его зовут Мельцони, он остановился в гостинице. Мои слуги в Гатчине; если вы пошлете,— буду очень благодарен.

---

[1] Преследовать преходящие блага — это значит обречь себя на вечную смерть *(фр.)*.

— Вот пошлите эту вещь,— показал старик табакерку из какого-то особенного, совершенно черного, как уголь, сплава, с широкою плоскою крышкой, на которой посредине был вделан большой бриллиант, ярко блестевший на черном фоне.

Литта отложил эту табакерку и, повторив еще раз, кому ее следовало послать, написал благодарственную записку Мельцони, чтобы отправить ее вместе с вещью, простился и вышел.

Может быть, в другое время его больше заинтересовало бы это неожиданное для него появление в России старика, которого он видал в Неаполе и который сделал ему когда-то странное предсказание, но в настоящую минуту он слишком был занят своими мыслями о постигшем его новом несчастье.

В самом грустном, отчаянном положении заехал Литта в свой городской, занимаемый им в Петербурге, дом, чтобы осмотреть, что можно было продать там, и, к удивлению своему, застал у себя Грубера.

«И что ему надо еще от меня?» — подумал Литта.

А Грубер между тем уже ласково здоровался с ним и стал объяснять свое появление тем, что случайно узнал, что граф в городе, и спешил ему засвидетельствовать свое почтение, имея, между прочим, в то же время и дело к нему...

— Какое же дело? — нехотя спросил Литта, у которого и своих хлопот было теперь достаточно.

— Прежде всего,— начал Грубер,— позвольте спросить вас: верный ли вы сын католической церкви и действительно ли желаете и впредь носить звание монашеского, рыцарского ордена не по одному лишь наименованию, но и по делу, как до сих пор вы действовали, сражаясь с неверными?

— Конечно,— произнес Литта, взглядывая на иезуита, как бы желая узнать, к чему тот еще спрашивает это.

— И даже поставить дело церкви выше своих дел? — продолжал спрашивать Грубер.

— Я это обязан сделать,— ответил граф.

— И пойдете на явную опасность?

Литта встрепенулся. Ему именно теперь, в том состоянии, в котором он находился, нужна была какая-нибудь опасность, какое-нибудь сильное ощущение, и, чем было опаснее положение, в которое его хотели поставить, тем было лучше для него. Если бы его послали на смертельный риск, он только обрадовался бы этому.

— Вы, конечно, после нашего последнего разговора имеете теперь настоящее понятие об обществе Иисуса? — заговорил снова Грубер, поняв и без слов душевное состояние Литты.

— То есть я знаю с ваших слов, что орден иезуитов не руководится теми правилами, которые ему приписывают.

— И верьте этому,— подтвердил Грубер.— Теперь слушайте! Здесь появились люди, составившие заговор против нас, то есть против церкви, которой мы служим. Они хотят во что бы то ни стало выгнать нас из России... Нужно ратовать против них.

— Если эти люди желают сделать зло, я готов помочь ва́м против них,— сказал Литта.

— Еще бы не желают! Конечно, желают. Но дело в том, что нужно, чтобы смелый, храбрый и достойный человек вошел в их среду, чтобы он не сробел явиться к ним в тайное собрание. Оно назначено у них завтра... И вот я рассчитывал на вас, граф.

Эпитеты «смелый, храбрый и достойный» были нарочно подчеркнуты Грубером, который смотрел теперь на Литту вызывающе, как бы испытывая его.

— Пойти нетрудно,— подумав, ответил граф.— Но как же я попаду к ним?

— Я вам сообщу место и собрания, и условный пропуск, и как войти туда — все.

— Хорошо! Я войду, а потом что?

— Потом — это будет зависеть от вас... смотря по тому, как вы поведете себя; я уверен, что вы не сделаете ничего недостойного вас. Действуйте лишь во славу Божию, и Бог поможет вам.

— Если так, то я согласен,— проговорил Литта, и иезуит протянул ему руку.

IV

В СТАРОМ ДОМЕ

Груберу важно было лишь одно — чтобы Литта попал как-нибудь на собрание перфектибилистов, или иллюминатов, как называли их иезуиты. Он выбрал именно его, зная, что у иллюминатов существовали известные степени посвящения и что Литта, достигший в Мальтийском ордене высшего звания, может быть принят у них, как один из посвященных уже. Была также вероятность, что известные честность и прямодушие мальтийского моряка откроют ему

свободный доступ в их среду, на что ни сам Грубер, ни один из иезуитов не могли рассчитывать. Иллюминаты знали их всех наперечет. И вот Грубер надеялся, что, как бы Литта ни был принят ими — как друг или враг,— впоследствии можно будет выпытать у него нужные сведения. Лишь бы только Литта попал на собрание.

И в самом деле расчет иезуита, казалось, оправдывался.

Заколоченный, неприветливый, старый, необитаемый дом графов Ожецких был расположен на отдаленном берегу реки Фонтанной, почти за чертою города. Широкий диск луны освещал этот дом с заколоченными окнами, казавшийся погруженным в глубокую таинственную тишину, когда Литта, оставив свой экипаж далеко позади, подошел к нему пешком. Он приблизился к воротам ограды. Они не были заперты. Он перешел двор, ярко освещенный луною, и скрылся в тени подъезда. У двери он стукнул особенным образом, как научил его Грубер, и, к удивлению его, она отворилась.

Собственно говоря, до сих пор граф не особенно верил еще, что тут есть в самом деле что-нибудь. Но теперь, при виде отворившейся ему двери и стоявшего пред ним старого слуги, он начал невольно интересоваться, что будет дальше с ним и в какой вертеп его заведут.

«Если это — ловушка, тем лучше для меня,— решил Литта и сказал слуге условленный пропуск, когда же тот молча поклонился ему и повел по лестнице, подумал: — Он не запирает, однако, двери... Странно!..»

Пройдя несколько комнат и, между прочим, большой танцевальный зал, они подошли к двери, ведшей, вероятно, в бывший кабинет хозяина. Вся мебель в доме, люстры и зеркала были в белых чехлах, густо покрытых слоем пыли. Было сыро и пахло затхлостью.

По всему этому Литта ожидал попасть по крайней мере в общество каких-нибудь разбойников, явиться к ним открыто и, если нужно, силой заставить их сознаться в задуманном; но все это мелькало у него в голове как-то неопределенно — может быть, они накинутся на него и покончат с ним.

Шайки разбойников были тогда обыкновенным явлением не только для Литты, как уроженца Италии — классической страны бандитов, открыто занимавшихся там своим промыслом,— но и для жителей Петербурга, вокруг которого сплошь и рядом случались убийства и грабежи. Еще в семидесятом году нашли убитого злодеями строителя

Владимирской церкви на самой постройке. Его похоронили у алтаря.

«Заговор, враги»,— представлял себе Литта со слов иезуита, и его воспитанное на постоянных битвах воображение рисовало ему вовсе не то, что он нашел в действительности.

Просторная комната, в которую его ввели, была самая обыкновенная жилая комната, чисто прибранная, и царившая в ней опрятность производила отличное впечатление. Литте невольно стало немного стыдно и своих мыслей, и заряженного пистолета, захваченного с собою на всякий случай.

В комнате, освещенной восковыми свечами, сидело человек пять. Двух из них Литта знал: это были Александр Федорович Лабзин и старый бриллиантщик с Морской улицы.

— Вот видите ли,— заговорил старик, вставая ему навстречу,— я говорил, что мы увидимся с вами, так и вышло,— и он, видимо, довольный приходом Литты, подошел к нему, протягивая руки.

— Лагардин-Нике... господин Шульц...— путаясь, забормотал Литта, не ожидавший ни этой встречи, ни того приема, который делали ему.

— Называйте меня здесь прямо Vetus; брат, я для вас теперь Ветус и больше ничего.

— Позвольте,— несколько оправившись, остановил его Литта: — Вы меня встречаете, точно заранее ждали меня.

— Конечно, ждали! — спокойно ответил Ветус.— Неужели вы думаете, что мы пустили бы к себе человека, которому не следовало бы быть среди нас? Мы, давая сведения через известное нам лицо отцу Груберу, знали, что он выберет именно вас, по крайней мере рассчитывали так, и это было ему подсказано. Мы никогда не собираемся здесь, а знак и пропуск, открытые вам Грубером, фальшивы. Если бы он сам вздумал явиться к нам или выдать нас, тут никого не нашли бы. Впрочем, Грубер слишком хитер для этого.

— Но мне было сказано, что я иду к врагам своей церкви,— перебил Литта.

— Враги церкви! — усмехнулся Ветус.— Вы увидите, какие мы враги церкви... Нет, граф, не мы — враги церкви, и сегодня же вы убедитесь в противном, если захотите.— С этими словами старик подошел к столу, взял с него знакомую уже Литте цепь с мальтийским крестом и, приблизившись к нему, снова заговорил: — Вы знаете, ка-

кая это цепь? Эта цепь и этот крест один из трех, принадлежавших великому магистру Лаваллете.— Вместе с этим Ветус сделал рукою знак высшей мистической власти и обнял Литту левою рукою, приставив свою ногу к его ноге, колено к колену и грудь с грудью, причем шепнул ему на ухо: — Он жив в сыне!

Литта понял знак, прикосновение и слова. Теперь он верил Ветусу и обязан был хранить в тайне все, что увидит здесь и узнает.

— Вы уже носили эту цепь с честью, достойный брат,— продолжал старик,— наденьте же ее снова; она принадлежит вам по заслуженному праву.

Литта стал на одно колено, и Ветус надел на него драгоценную, древнюю цепь Лаваллеты.

После этого он вернулся на свое место и, указав графу на стул, ударил три раза в стол с ровными промежутками, последний раз— сильнее.

— Собрание открыто,— произнес он.

— Сегодня должен быть приведен к нам обличитель, успели ли вы, брат, сделать все, что было необходимо? — спросил один из сидевших у Ветуса.

Тот вынул из кармана часы — дорогой, прекрасный хронометр, и, посмотрев на них, ответил:

— Да, в эту минуту, вероятно, все уже сделано. Можно начать...

Вслед затем встав, он обернулся в сторону города и, сосредоточив всю силу своей воли и весь как-то напрягшись, прошептал несколько слов.

— Иди! — расслышал через несколько времени Литта снова повторенные стариком слова.

— Иди! — приказывая твердым, сильным голосом, повторил Ветус и сделал движение руками, как бы приглашая к себе кого-нибудь.

Подождав еще несколько минут, он вздохнул, вернулся на свое место и сел с закрытыми глазами.

Все молчали, наступила полная тишина. Казалось, все ждали чего-то, и Литта, подчинившись общему настроению, тоже стал ждать и инстинктивно взглядывал на дверь.

Прошло много времени, но оно как-то не тянулось совсем. Ожидание было нетрудно. Наконец Ветус открыл глаза, склонил голову в сторону двери и прислушался.

В пустынном зале раздались шаги, слышавшиеся все яснее. Они постепенно, ровно приближались к двери... Вот они затихли. Дверь растворилась, и на пороге ее показалась тощая, маленькая, нервная фигурка Мельцони.

V

ОБЛИЧИТЕЛЬ

Старик-бриллиантщик послал выбранную по его указанию Миттою табакерку с запискою графа.

«Примите эту вещь в благодарность за Ваше беспокойство по доставлению мне пакетов,— написал Литта,— и верьте, что, если я смогу быть Вам полезным когда-нибудь, Вы можете обратиться ко мне, заранее будучи уверены, что Ваша просьба будет исполнена».

Мельцони пробежал записку и, развернув принесенную ему вещь, не мог с искреннею, неподдельною радостью не удивиться щедрости Литты. Бриллиант сиял чудным блеском, как звезда, так и переливаясь, так и играя всеми цветами радуги.

У итальянца невольно разбежались глаза, и он стал любоваться подарком. Он придвинул свечи, поворачивал из стороны в сторону табакерку, улыбался, вглядывался и заставлял еще ярче светиться драгоценный лучистый камень. Вода в нем в самом деле казалась дивною.

«Однако откуда он мог достать это? — соображал Мельцони.— Ведь вещь не дешевая. Значит, у него не все еще потеряно. Да, впрочем, и по виду его нельзя было судить».

И он снова принимался смотреть на блеск камня.

А между тем вделанный в черную поверхность бриллиант постепенно, но верно делал свое дело. Мельцони не заметил, как его мелькание утомило сначала его глаза, потом почувствовал какое-то смешанное чувство не то усталости, не то совсем особенной бодрости во всем теле, и утомление глаз перешло в его мысли, в мозг... Еще минута — голова его качнулась вперед, и он остался недвижимым на своем месте. Он спал.

Прошло несколько времени. Вдруг какая-то чисто внешняя сила, которой Мельцони не мог сопротивляться, толкнула его, заставила выпрямиться, подняться, надеть на себя верхнее платье и идти на улицу, вперед, туда, куда звала его эта сила. Он повиновался и шел с открытыми, но бессознательно уставленными в одну точку глазами, шел твердым, поспешным шагом, поворачивая из улицы в улицу и выбирая самый короткий путь к заколоченному снаружи дому графа Ожецкого. Он сразу нашел дверь, которая осталась незапертою, поднялся по лестнице, прошел зал и очутился на пороге комнаты, где его ждали.

Ветус, удовлетворенный, кивнул головою, затем встал и протянул руку по направлению к Мельцони. Тот послушно остановился. Глаза его по-прежнему были открыты, руки бессильно опущены, во всей его фигуре была видна покорность и подчинение. Старик чувствовал свою власть над ним и заставлял его повиноваться.

— Можешь ли ты говорить? — спросил он.

Мельцони сделал усилие шевельнуть губами.

— Отвечай! — приказал Ветус.

— Да, могу,— вздохнул Мельцони.

Он тяжело дышал и говорил с большим трудом. Старик приблизился к нему и положил руку ему на голову. Мельцони стал дышать ровнее.

— Можешь ли ты видеть себя наяву? — спросил опять Ветус.— Ты едешь в Петербург, въезжаешь в заставу. Что ты везешь с собою? Ты видишь это?

Лицо Мельцони сделалось осмысленнее, и он проговорил:

— Да.

— Что же ты везешь?

— Письма.

— Кому адресованы самые важные из них?

— Отцу Груберу.

— А! — произнес Литта, внимательно следивший за каждым словом.

Ветус движением руки остановил его и снова обернулся к Мельцони.

— Тот, кто посылал тебя, давал тебе словесные поручения?

Мельцони опять не ответил, и лицо его опять стало безжизненно.

— Ты стоишь теперь пред кардиналом Консальви,— сказал старик,— что он приказывает тебе?

Фигура Мельцони сейчас же приняла подобострастный вид, и он, как будто слушая, склонил голову.

— Синьор Консальви говорит мне, чтобы я поторопил братьев.

— Каких братьев? — перебил его Ветус.

— Иезуитов,— ответил Мельцони, словно недовольный тем, что его перебили,— чтобы я поторопил братьев в Петербурге начать действовать. Он говорил мне, что я увижусь с ними в кондитерской Гидля. Пора им действовать, пора им свергнуть митрополита Сестренцевича и самим занять его место.

— Теперь ты в Петербурге, в кондитерской Гидля,— проговорил Ветус,— окружен своими и рассказал им о приказании. Что отвечает Грубер?

— Он отвечает, что и сам рад бы действовать, но еще не время.

— Знает ли отец Грубер, что митрополит Сестренцевич — вполне достойный человек, что это — истинный пастырь своего стада, который заботится о нем, не ищет для себя никакой выгоды и не хочет вмешиваться в мирские дела, заботясь лишь о духовных?

Мельцони видимо делал усилие повиноваться.

— Да, знает,— наконец проговорил он.

— А остальные его братья?

— Тоже,— ответил Мельцони.

— И все-таки хотят зла этому человеку, хотят уничтожить его?

— Да.

— Чего же ищут они для себя?

Мельцони сделал новое усилие и с большим трудом проговорил:

— Власти!

Литта сидел, закрыв лицо рукою, изредка только отымая ее и взглядывая пред собою. Ему казалось ужасным, непростительным то, что он узнавал теперь.

— Они ищут этой власти для себя, пользуясь без разбора всеми средствами? — продолжал спрашивать Ветус.

— Всеми средствами,— повторил Мельцони.

Старик грустно покачал головою.

— А где теперь Грубер? — спросил он вдруг.

Мельцони не ответил.

— Посмотри вокруг этого дома... на дворе никого нет?

— Никого.

— Иди дальше.

Мельцони стал покачиваться, как будто со вниманием высматривал что-нибудь, и наконец широко улыбнулся.

— Вижу! — сказал он.

— Где же он?

— Тут, вблизи ворот, стоит в тени. Он закутался. Ему холодно.

— Хорошо,— сказал Ветус,— ты выйдешь другою дорогою: из зала повернешь направо, пойдешь по коридору и спустишься в сад; там есть тропинка; по ней выберешься далеко от того места, где стоит Грубер. Слышишь?

— Да! — сказал Мельцони и повернулся.

— Погоди! Ты придешь домой, ляжешь в постель и проснешься завтра, совершенно забыв, что с тобою было сегодня вечером, и завтра же принесешь продавать подаренную тебе табакерку бриллиантщику Шульцу, в Морскую, и спросишь за нее тысячу рублей. Ступай!

Мельцони опять повернулся и пошел тем же размеренным шагом, каким появился здесь.

— Любопытный субъект! — кивнул ему вслед Лабзин, обращаясь к старику.

— Да,— ответил тот,— он легко поддается; впрочем, я давно уже знаю свою силу над ним.

VI

ИСПОВЕДЬ БАРОНЕССЫ

Исповедывавшихся было немного. Баронесса Канних ждала своей очереди. На ней было простое черное платье, густая вуаль скрывала ее лицо. Приехавшие раньше ее и раньше попавшие в очередь, друг за другом, в строгой тишине и торжественности вставали со своих мест и, по знаку церковника, скрывались за колоннами, где помещалось место исповедника.

Скамья, на которой сидела баронесса, мало-помалу таким образом пустела с правой стороны и наполнялась вновь прибывающими слева.

Благолепие храма, полумрак, легкая прохлада, царившая тут, и запах сырости, смешанный с запахом осевшего дыма ладана, производили особенное, размягчающее душу впечатление.

Баронесса старалась сосредоточиться и думать о своем главном грехе — обуревающей ее страсти, не встретившей взаимности и потому готовой перейти и в гнев, и в ревность. Она чувствовала себя оскорбленною, уничтоженною, и потому вдвойне несчастною.

Грустно сидела она, опустив голову, в ожидании, пока церковник сделает ей знак идти. Вот наконец он кивнул головою. Баронесса почему-то вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, и она быстрыми, частыми шагами пошла за колонны.

Тут сумрак сделался как будто гуще. Канних опустилась на колена на покатую скамеечку у маленького решетчатого оконца, проделанного в закрытом огороженном месте для исповедника. Кто-то кашлял там негромким,

сдерживаемым кашлем. Сквозь этот кашель охрипший голос предложил ей покаяться.

— Главный грех мой,— начала баронесса давно уже обдуманные и несколько раз повторенные себе слова,— главный грех мой в том, что я люблю,— она запнулась,— да, я люблю,— повторила она,— и боюсь, что эта любовь преступна... я — вдова.

— Любовь твоя разделена? — спросил голос.

— Нет. И в этом вся беда моя. Мало того, она отвергнута.

— Почему?

— Не знаю и боюсь думать об этом.

Она замолчала, опустив голову.

За решеткой тоже молчали.

— Он ссылался на свои обеты? — вдруг послышался голос оттуда.— Он говорил, что не свободен?

Баронесса почувствовала, как невольный трепет охватывает все ее тело. Прежде чем она сказала еще что-нибудь, там уже знали всю суть ее исповеди и указывали прямо на любимого ею человека.

— Вы все уже знаете, отец! — произнесла она почти испуганно.

То настроение, в котором находилась она, готовясь к исповеди, давало теперь себя знать, и исповедник показался ей наделенным свыше даром прозрения.

— Да,— подхватила она в приливе какого-то вдохновения,— да, он связан обетом, но не на него ссылался он. Он просто прогнал меня, дерзновенно попрал ногами мое чувство...

Она старалась говорить возвышенно, чтобы идти в тон с торжественностью минуты, и начала прерывающимся голосом подробно рассказывать все происшедшее на балу в Эрмитаже, не щадя ни себя, ни Литты.

— Да, ты виновата,— послышалось в ответ, когда она кончила,— ты виновата, но он еще виновнее тебя... Он не должен был идти за тобою, не должен был вовлекать твою слабость в грех.

— О, я знаю свою вину и раскаиваюсь в ней! — вздохнула баронесса.— Но простится ли она мне?

— Смотря по тому, что ты намерена будешь делать теперь.

— Бросить, бросить навсегда, очиститься,— заторопилась Канних, делая даже руками движение, будто стряхивая с себя что-нибудь.

— И простишь ему, и оставишь безнаказанным его оскорбление?

Баронесса задумалась. Она боялась ответить, боялась солгать.

— Тяжело думать об этом, тяжело говорить,— произнесла она наконец и робко, как бы ища возражения, добавила: — Разве нужно простить, разве это было бы справедливо?

— Это было бы малодушно и непростительно,— произнес голос.

Баронесса вздохнула свободнее.

— Он виноват в своем грехе, и должен понести кару за него,— продолжал голос.— И ты должна быть орудием ее. Такова воля справедливости. Твоя вина до тех пор не искупится, пока ты не покроешь ее его наказанием.

— Так что же делать? — с отчаянием, шепотом произнесла баронесса.

— Прежде всего — прервать с ним всякие сношения.

— О, всякие!..— подтвердила баронесса.

— У него есть твои письма?

— Пустые записки... ничего не значащие.

— Всякая записка есть документ, и всякий документ значит очень много. Тебе нужно вернуть их назад.

— А если он скажет, что у него их уже нет, что он уничтожил их?

— Тем хуже для него.

— Но как же я получу их?

— Для этого прибегни к власти.

— К чьей? К какой власти? — не поняла баронесса.

— Поищи, подумай! У него, вероятно, есть враги из сильных мира сего... обратись к ним.

Глаза баронессы засветились сдержанною радостью. Ей казалось, что ее выводят на истинный путь.

— Но тогда как же я сама? — запнулась она.— Ведь и о себе я должна писать.

Но в ответ ей из-за решетки торжественно прозвучал голос:

— В этом будет твое искупление!

— В этом... искупление,— повторила баронесса.— Но как же все-таки...

— Можно так написать, что ты будешь выгорожена, насколько возможно. Это, конечно, зависит от тебя.

Баронесса задумалась. Она уже готова была не пощадить себя для благого, как она думала, дела.

— Но к кому же обратиться? — спросила она вновь.

— Подумай, поищи... кто может иметь вражду против него и помог бы тебе, кто, наконец, сильнее всех в Петербурге...

«Зубов!» — мелькнуло у баронессы, и она, точно осененная свыше, тихо прошептала:

— Зубов, князь Платон...

— Небо внушило тебе это имя! — послышался ответ.

Баронесса вышла от исповеди, обливаясь слезами, но они были для нее и радостны, и жутки вместе с тем, и, сев уже в карету, она долго обдумывала все то же самое и на все лады переворачивала подсказанное ей средство отмстить графу Литте.

В самом деле для нее было лестно раскрытие якобы легкой интриги с придворным человеком — это служило доказательством ее сношений с высшими сферами. При тогдашней легкости нравов для молодой вдовы это было даже лестно — тут не было ничего предосудительного. К тому же все дело будет сохранено в тайне. О ней заговорят в этих высших сферах, но заговорят также и о нем — вот какой он смиренник, этот монах в рыцарском одеянии! Хорош! У него там какие-то переписки с дамами!.. Словом, Зубов, вероятно, воспользуется этим, как должно, и выгородит ее.

VII

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

Грубер обещал на собрании иезуитов, что один из членов ордена будет послан им к дому графа Ожецкого, проследить, кто явится туда на заседание иллюминатов; но он никому не доверил этой важной обязанности и сам продежурил все время в тумане и сырости петербургской весны. Он вернулся домой после этого дежурства простуженным; голос его охрип, у него сделались насморк и кашель. Это было вдвойне досадно, потому что из наблюдений ничего не вышло. Он ничего не узнал или, пожалуй, узнал многое, хотя вовсе не то, что было ему нужно.

Он видел из своего темного угла за воротами, как пришел в дом Литта и как его туда впустили. Но кроме графа никто не входил. Грубер долго ждал. Наконец показалась какая-то фигура, и, когда она вошла в освещенную пло-

щадь двора, иезуит узнал Мельцони. В первую минуту он хотел остановить его, но сейчас же решил, что остановит итальянца потом, когда тот выйдет назад, и что это будет гораздо лучше. Теперь от Мельцони ничего нельзя было бы добиться, а тогда он будет пойман на месте.

И вот Грубер ждал, ждал долго и терпеливо, но ни Мельцони, ни Литта не вышли из дома и, кроме них, никто не входил туда.

Далеко за полночь иезуит решил обойти дом и, рискуя быть пойманным, пробрался в сад сквозь развалившийся забор, провалился несколько раз в снег и нашел наконец тропинку, которая вывела его к городу, далеко от самого дома. Тогда Грубер понял все: те, за которыми он следил, ускользнули от него по этой тропинке.

Он вернулся домой совсем больной, в отчаянии, что не узнал то, что его интересовало.

Он сидел с обвязанным горлом и с горчичником на спине, когда ему доложили о приходе Абрама. Грубер велел впустить его, поспешно снял свой горчичник и, приведя в порядок свой туалет, сел спиной к двери.

Абрам вошел и поклонился. Иезуит даже не обернулся в его сторону, но остался сидеть, как был, не удостаивая Абрама взглядом. Он всегда говорил с ним отвернувшись и шепча в это время молитвы.

— Вы звали меня? — спросил Абрам.

— Да, я звал тебя... Пять расписок графа Литты у меня; где шестая?

Абрам весь как-то съежился, скорчился и ответил не сразу.

— Все расписки у вас,— проговорил он наконец,— по всем деньгам, что вы давали...

— Знаю, но ты взял еще расписку вместо отсрочки. Граф Литта подписал тебе еще три тысячи.

Абрам сжал губы и съежился еще больше.

— И кто вам это сказал? И пусть у того глаза лопнут!.. И откуда у меня еще расписка? И все у вас... все пять.

— Я тебя спрашиваю, где шестая? — спокойно произнес Грубер, причем по-прежнему, не удостаивая обернуться, смотрел пред собою и шептал губами.

— Да нет же у меня... нет у меня! На какие ж деньги? — заговорил снова Абрам.

Иезуит вздохнул и, будто желая обласкать своего собеседника, тихо ответил ему:

— Послушай, если ты сейчас не отдашь шестой расписки, завтра же тебя не будет не только в Петербурге, но и на свете, может быть; ты знаешь — моего слова довольно, чтобы сгноить тебя в тюрьме.

— И разве я не служу вам? — вдруг слезливым голосом подхватил Абрам: — Разве я не служу вам, как пес верный... служу...

— Если ты упрямишься,— пожал плечами Грубер,— хорошо, ступай... но пеняй потом на себя.

Абрам переступил с ноги на ногу. Он чувствовал, что нужно было подчиниться. Он весь был во власти иезуита.

— Господин аббат,— сказал он,— за что же это?.. Разве вам мало того? Там ведь на двойную сумму и с процентом.

Иезуит молчал.

— Господин аббат!

Грубер молчал, словно забыл о его существовании.

Робость и страх мелькнули в выражении лица Абрама. Он как бы машинально полез в шапку, вынул оттуда тряпицу и, развернув ее, достал расписку, склонился, почти ползком, приблизившись к столику у кресла Грубера, положил документ и отскочил назад, к двери.

Иезуит не шелохнулся. Абрам ждал.

— Господин аббат,— решился он наконец заговорить,— я вернул документ... я положил его.

Ответа все еще не было.

Абрам, все более и более теряясь, жалобно забормотал что-то, оправдываясь и прося прощения. Лицо его стало бледнее обыкновенного, он упоминал про жену, детей.

— Хорошо,— наконец проговорил Грубер,— ступай, возьми свою долю на камине!

Абрам кинулся к камину, схватил лежавшую там, завернутую в бумагу, стопку золотых и скрылся за дверью.

Как только он ушел, Грубер надел перчатки, осторожно двумя пальцами взял оставленную Абрамом расписку и стал окуривать ее ладаном, а затем приказал вошедшему на его зов слуге:

— Карету мне!

Когда ему подали карету и он, закутавшись потеплее, сел в нее, кучер спросил, куда ехать.

— К графу Литте,— приказал Грубер.

Литта остался на несколько дней в столице ввиду изменившихся своих обстоятельств и выписал из Гатчины камердинера. В полученных из-за границы иностранных га-

зетах было уже напечатано о декрете французской республики. Литта написал на Мальту о своем положении, надеясь единственно на помощь оттуда, хотя знал, что в то время орден располагал очень скудными средствами.

Литта сидел целыми днями у себя, и Грубер застал его дома.

— Не принимать, сказать, что я болен,— приказал граф камердинеру, но тот, несмотря на это приказание, все-таки ввел о. Грубера и на сердитый взгляд Литты ответил испуганным, недоумевающим взглядом, как будто не понял приказания графа.

— Ну, вот я приехал поговорить с вами, хотя совсем нездоров... простудился,— сказал Грубер, кашляя и оглядываясь с приемами домашнего, своего человека, которые он удивительно умел усваивать себе, куда бы он ни попадал.

Литта невольно догадался, где мог простудиться Грубер, и насмешливая улыбка мелькнула у него на губах. Иезуит принял эту улыбку за приветствие.

— Что же, граф,— начал он снова,— были вы тогда в этом доме? Узнали, увидели?

Литта понял, что иезуит приехал выпытывать у него, и прямо и откровенно ответил ему:

— Напрасно будете стараться; от меня вы ничего не узнаете.

— Неужели вы поддались их соблазну? — воскликнул Грубер, всплеснув руками и поднимая глаза к небу.

Он так рассчитывал на свое красноречие и на искусство убеждать всякого в том, в чем ему нужно было, что явился к Литте, почти уверенный в возможности снова привлечь его на свою сторону. Он представлял себе графа прямым, добродушным человеком, привыкшим к войне и опасностям, но не способным вести долгий и хитрый разговор, в котором (Грубер знал это по опыту) не было соперников у отцов-иезуитов. Если бы Литта даже и заупрямился, все-таки можно было раздражить, рассердить его и в минуту вспышки заставить проговориться.

Но, как ни хлопотал Грубер, все его старания оказались напрасны. Литта на этот раз не поддавался ему и отвечал ловко, спокойно и смело на все подвохи и ухищрения. Напрасно Грубер льстил ему, напрасно старался выставить своих противников в самом худшем свете и пугал громами небесными — ничего не помогло. Грубер бился часа два без успеха и начал в первый раз, может быть, в

жизни терять терпение и раскаиваться, что слишком понадеялся на свои силы.

«Я заставлю тебя говорить!» — подумал он, стискивая зубы и зло посмотрев на Литту, и вдруг, резко повернув разговор, вынул из кармана шесть расписок графа и, развернув их, стал разглаживать рукою на столе.

Литта удивился, откуда они попали к нему.

— Я к вам заехал главным образом по делу,— начал Грубер, не давая ему заговорить,— один бедный человек просил меня справиться насчет вашего долга ему. Ведь это — ваши расписки?

— Да, мои,— ответил Литта.— Но почему они у вас?

— Наша обязанность помогать бедным! — вздохнул Грубер.— Тот человек просил меня, и я взялся. Где ж ему тягаться с вами, граф!

— Да что ж ему тягаться! Он получит деньги по распискам, чего бы это мне ни стоило, и дело с концом.

— Да, но когда? — задумчиво спросил Грубер.

— Когда... когда? — замялся Литта.— Постараюсь поскорее.

— Но он не может ждать.

— Как не может ждать, когда он еще вчера взял у меня дополнительную расписку за отсрочку.

Грубер пожал плечами.

— Я тут ничего не могу поделать, но, разумеется, обязан помочь бедному человеку,— повторил он.

— Да поймите же, ведь это — гадость с его стороны. Ведь тут все расписки на двойную сумму... я взял вдвое меньше.

— Это вы все скажете на суде,— остановил его Грубер.

— Как на суде? Разве он хочет взыскивать судом?

— Да, если вы не внесете мне всей суммы сполна сегодня же; расписки все без срока.

Литта прошелся несколько раз по комнате. Дорого бы он дал теперь, чтобы иметь возможность вынуть и бросить эти деньги, которые так требовали с него!

— В настоящую минуту у меня нет денег,— проговорил он наконец, подходя к Груберу.

— В таком случае вы меня извините, граф,— ответил тот,— я принужден буду обратиться в суд.

— Если я без суда не могу заплатить в данную минуту, то что ж вы этим выиграете? И потом я говорю вам — подождите...

— Неисправных должников кредитор может посадить...

— Что?

— В тюрьму,— добавил Грубер.— Этот Абрам очень стеснен.

Литта опять заходил по комнате. То, что говорил иезуит, казалось ужасно, но правдоподобно. Можно было рассердиться, но ничего нельзя было сказать против. Наконец Литта овладел собою.

— В тюрьму! — протянул он только и, сощурив глаза, посмотрел в упор на Грубера.

— Есть одна возможность,— снова заговорил иезуит.— Я знаю, заплатить вы не можете, потому что ваше состояние потеряно; но, если вы захотите... если вы станете снова нашим другом, таким другом, что не будете иметь тайн от нас, тогда с этими расписками можно будет кончить очень легко.

Литта ничего не сказал, но так взглянул на Грубера, что тот сейчас же смолк и потом рассыпался хихикающим тихим смехом.

— Это, конечно,— шутка, я шучу, граф,— подхватил он и, вдруг снова сделавшись серьезным, добавил: — А впрочем, от шутки до дела недалеко; часто и из шутки дело выходит.

Граф смотрел на него с таким выражением, которое яснее слов говорило, что он ждет только, когда Грубер уйдет, и что сам он уже с ним разговаривать не станет.

VIII

ЧЕМУ УЧИЛ ПАТЕР

Чем больше обдумывала баронесса выслушанный ею совет, тем яснее становилось ей, что надо действовать, что она не имеет права «малодушничать» и, раз судьба делает ее орудием казни человека, который оскорбил ее, она не должна щадить себя. Брошенное в нее семя росло с поражающей силой.

Она попробовала составить черновое письмо. Написалось сразу очень хорошо.

«Я, неопытная бедная женщина, вдова,—стояло в этом письме по-французски,— беззащитная, имела неосто-

рожность вступить в переписку с мальтийским моряком, графом Литтою. В настоящее время он исчез из Петербурга так странно, так внезапно, не сообщив мне о том, не простясь, что это заставляет меня серьезно опасаться за последствия. Повторяю, я — слабая женщина, и кому же, кроме меня самой, вступиться за меня? Говорят, граф Литта в Гатчине. Если это так, то я умоляю заставить его вернуть мою переписку, ибо тут замешана моя честь, которая, разумеется, дорога всякой женщине. Я знаю, что ваша светлость — защитник слабых и покровитель несчастных; умоляю Вас помочь мне и простить, что прибегаю к Вам с таким щекотливым, лично касающимся меня делом. Но положение мое безвыходно, и одна мысль о том, что мои письма в руках пропавшего для меня навсегда человека, приводит меня в такой ужас, что минутами я готова наложить на себя руки».

«Не слишком ли уж это? — подумала Канних.— Э, ничего,— тем хуже для него!»

Перечитав письмо, она нашла его удачным и невольно подумала, что ею руководило особенное вдохновение. Письмо было адресовано Зубову.

«Или самой отвезти? — мелькнуло снова у Канних.— Да, конечно, самой, разумеется».

Она знала через свою портниху, у которой муж был камер-лакеем, все дворцовые порядки и, главное,— всю их закулисную сторону: когда кто принимает, в какой час и каким путем удобнее пройти к кому-нибудь. Решив отвезти свое письмо лично секретарю Зубова, Грибовскому, она оделась как можно темнее (темный цвет был к лицу ей, по ее мнению), но вместе с тем как можно богаче, и поехала во дворец, где жил Грибовский и помещалась его канцелярия.

Здесь, в приемной, всегда было много народа. Искатели мест, просители и просительницы пенсий и пособий, изобретатели проектов в потертом платье и предприниматели мильонных дел без гроша в кармане,— все это толпилось здесь каждое утро, усталое, голодное и измученное, с одним общим всем голодным выражением на лицах и желанием во что бы то ни стало урвать хотя грош без труда, на даровщинку, лишь бы быть сытым. Но наряду с этими «вечными» просителями сплошь и рядом являлись в эту приемную и сановитые баре, и гражданские и военные чины, почти все, почти все, кто чаял каких-нибудь благ от всесильного князя. Поэтому чиновник, сидевший у двери

за столом и с таким усердием и удовольствием чинивший гусиное перо, как будто в этом состояло призвание всей его жизни, нисколько не удивился при появлении разряженной баронессы Канних и, равнодушно взглянув на нее, продолжал свое занятие.

— Можно видеть его превосходительство? — подошла та к нему.

Хотя Грибовский был еще в чине полковника, но она сочла за лучшее, разумеется, повысить его в титуле. Чиновник не спеша поднял на нее глаза и проговорил:

— Видеть?.. Можно... да.

— Мне бы хотелось поговорить наедине,— заявила Канних.

Чиновник пожевал губами.

— Наедине? — протянул он.— Да... конечно... можно... Сядьте в очередь... надо ждать.

Последние слова он произнес по старой и давно известной форме, так что в них слышалось то же созвучие, но с иным значением, точно он говорил: «Надо ж дать!»

Баронесса оперлась раскрытою рукою о стол и сейчас же подняла руку. На столе оказалась ассигнация. В одно мгновение ока чиновник, как ни в чем не бывало, двинул лист бумаги — и ассигнация исчезла под ним. Все это он проделал с ловкостью и искусством, которым позавидовал бы любой фокусник.

— Надо доложить,— сказал он.

Баронесса «до-ложила» тем же порядком.

Чиновник сунул перо за ухо и пошел.

— Пожалуйте,— ласково проговорил он, снова появляясь в комнате, и баронесса, под завистливыми взглядами сидевших в приемной и чаявших приема, прошла в заветную для них дверь, опустив голову и шурша своим шелковым платьем.

Грибовский, еще молодой человек (ему было около тридцати лет), встретил ее таким взглядом, который говорил, что он и не таких просителей видал пред собою.

— Чем могу служить? — спросил он, придвигая стул.

— Судьба моя,— начала баронесса,— в ваших руках...

«И все-то они говорят то же самое! — подумал Грибовский,— хоть бы что-нибудь новое выдумали, право!»

— Что у вас? Наверно, просьба о пенсии? — спросил он, чтобы перейти прямо к делу и избегнуть предваритель-

ных объяснений, надоевших ему и давно известных наизусть.

— О, нет! — испугалась баронесса.— Нет, у меня совсем другое дело... Вот если вы прочтете... Я не знаю, так ли я написала, но вот из письма, я думаю, будет ясно,— и она подала письмо.

Грибовский стал читать сначала бегло, но при имени Литты вдруг сделался внимателен и, кончив письмо, просмотрел его еще раз. Канних сидела, стыдливо опустив глаза и склонив голову набок.

— Письмо составлено совершенно хорошо,— сказал ей Грибовский уже очень любезно.— Хорошо-с, все меры будут приняты, я сегодня же доложу его светлости.

— Вы понимаете, мне не хотелось бы говорить об этом, но... судьба моя в ваших руках,— повторила Канних, которой эта фраза видимо понравилась.

— Да что ж тут говорить? — поспешил снова остановить ее Грибовский: — Дело ясное... Вы можете быть совершенно покойны: все, что можно, будет сделано... Мы достанем ваши письма.

— О, да, сделайте это! — упрашивала Канних.

Грибовский очень ловко и учтиво стал расспрашивать, кто она, кто был ее муж, давно ли она в Петербурге и какие имеет связи. О Литте он не спросил ни слова.

IX

ОДИНОЧЕСТВО

Графиня Скавронская после своей встречи с Литтой на станции не долго прожила в Старове. Она захворала там и, боясь разболеться совсем, вернулась, по настоянию няни, снова в Петербург, не дожидаясь отпуска своего в Москву. Однако остановилась она теперь не у сестры, но поселилась в собственном своем, отделанном заново, доме на Миллионной.

Графиня Браницкая навещала сестру, думая сначала, что та лишь сказывается больною; но вскоре стала замечать, что ее Катя действительно худеет с каждым днем. Румянец сбежал с ее щек, глаза ввалились, руки сделались совсем прозрачными. Она потеряла сон и постоянно жаловалась на головную боль.

Однако несмотря на изменения, которые произвел в ней недуг, Екатерина Васильевна все же была красива по-прежнему. Казалось, она не могла подурнеть. Но ко

всему окружающему она относилась вполне безучастно. Ее звали прокатиться — она отказывалась. Ей предлагали пройтись по Царицыну лугу, расположенному в двух шагах от нее и покрытому чудесным цветником, дорожками, перерезанному ручейками и застроенному беседками,— она не хотела идти.

Придворный врач Роджерсон бывал у Скавронской, осматривал ее, качал головою и давал ей лекарства, но она не принимала их.

Няня предложила ей съездить к Сергию в монастырь. Екатерина Васильевна с радостью согласилась.

Весна, мокрая, грязная, болезненная и вялая в Петербурге, но теплая, легкая и прекрасная за городом, вступала уже в свои права. За городом было хорошо, дышалось легко смолистым ароматом распускавшейся зелени, воздух был чист. Прилетевшие птицы начинали свое чириканье, и солнце грело, сгоняя снег водяными ручьями.

— Нет,— сказала Скавронская сидевшей с ней в карете рядом старушке,— и как это вдруг всегда бывает: то зима, кажется, век не кончится, то заблещет солнце, и она пропадет, словно по волшебству — и не успеешь оглянуться, как уже теплое лето, да будто оно и всегда было, а о зиме уже и памяти нет.

— Так-то все, мой друг, так, и горе наше людское — пройдет и кажется, будто и не было его... все так-то! — вздохнула няня.

Скавронская задумалась. О, если бы няня была права! Если б она могла забыть свое горе, могла хоть надеяться!.. Но она знала, что «ее зима», ее несчастие не пройдет и для нее не может выглянуть солнце и согреть ее жизнь.

Однако эта поездка все-таки освежила молодую женщину. Вернувшись, она в первый раз поела как следует и проспала ночь спокойно, так что приехавший на другой день Роджерсон остался ею очень доволен и велел продолжать последние порошки, которые он прописал и которые, по его мнению, сильно помогли больной.

Среди этого однообразия, тоски, одиночества и скуки, на которые обрекла себя Скавронская, вдруг ворвался к ней Мельцони.

Он явился в ее дом с неотступным требованием, чтобы его пустили к графине, потому что у него есть важное дело до нее, не терпящее отлагательства.

Два лакея, которым он помешал в сенях играть в шашки, недоверчиво и слегка недружелюбно отнеслись к нему,

несмотря на его богатый костюм, по самой последней моде, в который он разрядился. Но он так убедительно просил их, обрадовавшись, что они понимают по-итальянски (лакеи оказались из числа тех, которые давно жили еще с покойным графом в Италии), что они наконец уступили его мольбам и пошли о нем докладывать. Однако они ходили раза два и возвращались, и снова Мельцони убеждал и просил их, пока графиня приняла его.

Дело оказалось в сущности самым вздорным: Мельцони придрался к каким-то денежным счетам по Неаполю, уверив, что будто бы хозяин палаццо, в котором жили там Скавронские, поручил ему переговорить. Однако Мельцони делал это с таким серьезным видом и так деловито, что графиня действительно поверила, что ему необходимо было видеть ее.

Поговорив о деле, Мельцони перешел на воспоминания о Неаполе, рассказывал, что видал там Скавронскую, восхищался ее красотою и искал случая познакомиться с нею, но, к крайнему своему отчаянию, не находил этого случая, а вот наконец судьба привела встретиться. И он тут же отблагодарил судьбу и т. д.

Вообще он вел себя, на взгляд графини, несколько странно. Его глаза горели каким-то особенным блеском, он говорил так горячо, так волновался и так хотел, чтобы его задержали, чтобы оставили подольше, что Скавронская несколько раз взглядывала на него, как бы спрашивая, что это значит.

Она не могла знать, что она составляет давнишний предмет страсти для Мельцони, который из-за этого еще в Неаполе чуть не покончил с Литтою при помощи отравленной шпаги, и что до сих пор он мечтает и думает лишь о ней и невыразимо счастлив тем, что сидит теперь с нею и говорит и смотрит на нее. В его худеньком теле текла все-таки южная кровь, и, казалось, он на все был способен теперь, чтобы только назвать своею эту чудную «северную красоту», как он окрестил в своих мечтах графиню Скавронскую.

Узнав, что она больна, Мельцони стал просить позволения привезти эликсир, который у него есть и который делает чудеса, вылечивая, как китайский корень женьшень, от двадцати двух болезней.

Насилу Скавронская отделалась от него. Но Мельцони уехал с твердою уверенностью, что получил позволение привезти свой чудодейственный эликсир.

X

ОБЫСК

Литта лежал у себя на постели и ворочался с бока на бок, напрасно силясь заснуть. Сон не шел к нему, и граф, думая об одном и том же, чувствовал, как устала его голова, и усталость эта переходила во все тело. И предшедшую ночь он тоже не спал. Он слышал, как пробило полночь, потом час. Было уже около двух.

И вдруг Литте показалось, что к двери его осторожно, на цыпочках, кто-то подошел. Граф притаил дыхание и прислушался: шорох стих.

«Нет, верно, мне показалось»,— решил Литта и снова зажмурил глаза.

Несколько минут все было покойно. Но вот опять Литта поднялся на подушке и вытянул голову в сторону двери. Там положительно что-то шевелилось, хотя так тихо, что едва можно было разобрать.

Литта спустил ноги с кровати, отыскал ими туфли и, надев на плечи халат, на цыпочках подошел к двери, ведшей в его кабинет, и приложил ухо. В кабинете был кто-то. Тогда Литта быстро распахнул дверь и остановился на пороге.

Кабинет был освещен. Свечка стояла на бюро графа, и ее заслоняла широкая спина наклонившегося над бюро человека, тень которого падала широкою полосою на часть комнаты.

Литта узнал своего камердинера, возившегося над его бюро и гремевшего ключами. Он ясно видел, как итальянец словно искал чего-то в одном из открытых ящиков бюро. Услыхав стук отворенной двери, камердинер быстро захлопнул ящик и отодвинулся от бюро.

— Что вы тут делаете? — спросил Литта.

Камердинер смутился и в первую минуту не знал, что ответить.

— Я... эчеленца...— начал он.— Я хотел убрать здесь.

— В два часа ночи? — переспросил граф.

— Да, но я думал... я не знал...— бормотал камердинер.

Он хотел найти какой-нибудь предлог, солгать, но ничего не приходило ему в голову. Он слишком был уверен, что его барин, проведший прошлую ночь напролет без сна, теперь крепко спит.

Графа долгое время уже интересовало, кто мог тогда подложить ему в карету и в шубу записки, приглашавшие его в кондитерскую Гидля. Теперь ему стала ясна связь

ночной работы, за которою он застал итальянца, с этими записками.

«Так вот оно что!.. Патер Грубер чисто ведет свои дела!» — подумал он и, приблизившись к бюро, бегло осмотрел его.

Он вспомнил, что, по счастью, все бумаги, более или менее важные, были у него в Гатчине и камердинер не мог ничего найти у него здесь.

В первую минуту, застигнув слугу врасплох, граф хотел было заставить его говорить и сознаться, но потом ему так стал противен этот итальянец, испуганно стоявший пред ним, что он мог только сказать ему:

— Ступайте прочь, ступайте — и чтобы завтра же вас не было у меня! Я вас не стану держать.

Камердинер, видя, что Литта ограничится, по-видимому, лишь тем, что выгонит его,— чего, впрочем, он боялся менее всего, потому что, зная, какие были теперь денежные средства у графа, и сам не находил выгодным служить у него,— сейчас же почувствовал под собою почву и, немного оправившись, проговорил:

— О, если эчеленца даст мне расчет...

— Вы получите ваш расчет! — крикнул Литта, топнув ногою, итальянец, вздрогнув, юркнул в дверь так поспешно, как только мог.

Ничто не могло так взволновать Литту, как какая-нибудь человеческая гадость, происшедшая у него на глазах. И этот поступок итальянца, служившего у него долгое время и ничего, кроме хорошего, не видевшего от него, возмутил его до глубины души.

«Господи! — думал Литта, ходя по своему кабинету из угла в угол.— До чего люди гадки, мерзки!.. Что же это? Нельзя быть спокойным даже у себя в доме».

И он снова заходил, забыв уже о сне и о позднем времени, и о том, что не спал прошлую ночь.

Бледные лучи петербургской перламутровой зари застали графа в этом состоянии. Мало-помалу в окна стал пробиваться наконец утренний туманный свет.

Литта потушил оставленную итальянцем на бюро свечу и, опустившись на кресло, закрыл глаза. Утренняя дрема начала одолевать его. Сна все еще не было, но какой-то туман застилал мысли — все путалось, кружилось. Физическая усталость брала свое.

Литта долго просидел так не двигаясь, наконец почувствовал, что кто-то осторожно трясет его за плечо. Он открыл глаза. Пред ним стоял выездной лакей и будил его.

— Ваше сиятельство,— говорил он,— ваше сиятельство, там вас спрашивают. Приказали доложить вам сейчас же... по делу, говорят.

— По какому делу, кто спрашивает?

Литта взглянул на часы: было половина девятого. Он спросил, где камердинер; лакей ответил, что итальянец давно ушел,— сказав, что не вернется.

— Проведите меня прямо в кабинет графа и просите их туда! — услышал в это время Литта за дверью, и вслед затем к нему вошел Грибовский в сопровождении двух полицейских.— Ничего, не беспокойтесь,— бесцеремонно сказал он Литте, видя его в халате,— ничего... Я явился к вам по именному повелению.

Литта сделал знак людям выйти и, решительно не понимая появления у себя в доме зубовского секретаря с полицейскими, обратился к нему с вопросом:

— Что же вам угодно?

Грибовский подал ему бумагу, добавив:

— А вот, не угодно ли прочесть...

В бумаге стояло, что полковнику Грибовскому поручается потребовать у графа Литты письма баронессы Канних, а буде он воспротивится тому, то произвести обыск и отобрать письма.

— Что за вздор! — не удержался Литта.— Какие тут письма? У меня нет никаких. Правда, были какие-то записки, и если я найду их, то отдам, пожалуй.

— Кому как! — ответил Грибовский.— Для вас, может быть, вздор, а для баронессы это очень важно.

Литта отлично понял, что это был только предлог, очень грубый, чтобы покопаться в его бумагах и отыскать в них что-нибудь подходящее для обвинения более серьезного. Зубов сказался в этом весь. Видимо, он не церемонился с Литтой, потерявшим всякое значение при дворе.

«Еще новая гадость!» — мелькнуло у графа, и он тотчас же спросил:

— Что ж, это по просьбе самой баронессы?

— Это я не могу вам изъяснить,— ответил Грибовский.— Я должен лишь получить от вас письма.

Литта отлично помнил, как, уезжая в Гатчину, сжег и уничтожил все лишние, ненужные бумажки, в числе которых попали, разумеется, и те несколько записок баронессы Канних, какие были у него.

— Послушайте, ведь все это не имеет же смысла,— сказал он.— У меня, правда, были записки, но я их уничтожил.

— Если вы будете упорствовать, мы примем должные меры,— возразил на это Грибовский.

Литта видел, что ему только хотелось приступить к этим «мерам».

— Позвольте в таком случае ключи,— добавил Грибовский, стараясь казаться равнодушным.

— А, если так,— произнес Литта, вставая,— то я вам скажу, что делать у меня обыск вы не имеете права. Иностранные резиденты и послы не подлежат обыскам. А я имею честь состоять уполномоченным державного Мальтийского ордена. Вот мои верительные грамоты,— и, достав из бюро доставленный ему Мельцони пакет, Литта передал его Грибовскому.

Тот задумался на минуту, просмотрел грамоты, а затем, протягивая их обратно, спокойно ответил:

— Да, но эти грамоты еще не вручены русской правительственной власти, не приняты еще, а потому здесь вы не признаны послом, и я имею полное право произвести обыск, согласно данному мне приказанию. Начнемте! — кивнул он одному из полицейских.

Тот сейчас же вытащил из кармана связку отмычек и, как хозяин, как привычный человек, стал возиться с ними у ящиков бюро.

«Совсем, как мой итальянец»,— усмехнулся Литта про себя.

Он отошел к окну и стал смотреть в него. Он знал, что ящики были почти пусты, и невольно радовался, что перевез бумаги в Гатчину. Там Зубов не смел его тронуть теперь.

Литта искоса следил за тем, как открывали его бюро, как выдвигали один за другим пустые ящики, и как лицо Грибовского все более и более становилось смешным от плохо скрываемого выражения досады.

Но вот дело дошло до того ящика, у которого ночью хозяйничал камердинер. Полицейский раскрыл его и вынул оттуда связку бумаг.

Литта вздрогнул. Он помнил, что ящик должен был быть пуст. Лицо Грибовского оживилось. Он с радостью схватился за бумаги.

— Что это такое? — спросил граф, подходя к нему и останавливая его за руку.

— Это мы у вас должны спросить, граф,— пожал плечами Грибовский.— А, впрочем, там видно будет — мы разберем.

— Эти бумаги,— проговорил Литта,— подложены сегодня ночью моим камердинером, которого я застал здесь.

— Это — обыкновенное оправдание,— перебил Грибовский.— Мы увидим,— и, отстранив Литту, он передал бумаги полицейскому.

Граф махнул рукою. Ему было в сущности безразлично. Он знал, что не виноват ни в чем и, что бы ни было в этих подложных бумагах, правда всегда должна выйти наружу; он был твердо уверен в этом.

Грибовский перешарил весь его кабинет и спальню. Литта оставил его делать, что ему хотелось.

XI
В СОБСТВЕННЫХ СЕТЯХ

Мельцони ехал в Петербург с готовыми планами, с самыми сложными надеждами и предположениями.

Он мало знал о России, и столица Русского государства представлялась ему каким-то особенным городом, где по улицам ходят медведи, и где жители едят сырое мясо и закусывают салом. В этом варварском, полудиком городе он представлял себе героиню своих грез — графиню Скавронскую — и возле нее Литту, обросшего, вероятно, бородою и носящего овчинную шубу мехом вверх и огромную мохнатую шапку. И вот этот Литта у него в грезах играл всегда или жалкую роль, или погибал от его мстительной руки. То ему чудились глухой, темный закоулок, кинжал, лужа крови и зловещий хохот. Хохотал, разумеется, сам он, торжествующий Мельцони. То он представлял себе ненавистного графа корчащимся в предсмертных муках от поднесенного ему яда. Словом, целый ряд историй, которые дошли до Мельцони и в виде преданий, и в виде рассказов о недавних случаях на его родине, не давал покоя его воображению и переносил их в действительность. Как все это ни было смутно у него, но он все-таки вез с собою на всякий случай в особом ящичке небольшую батарею таинственных баночек, которых сколько угодно можно было достать в Италии у любого аптекаря.

Однако, приехав в Петербург, Мельцони несколько разочаровался и как будто сконфузился. Медведей здесь не ходило, сырого мясо и сала никто не ел, Литта бородою не оброс и шубы мехом вверх не носил. Одно было совершенно так, как ожидал Мельцони,— это красота графини: она нисколько не изменилась, и Скавронская осталась прежнею.

Вместе с тем он увидел, что здесь не только природа, но и люди, и все как-то проще, естественнее, так что его

мечты и баночки как-то еще меньше идут здесь к делу, чем где-нибудь Однако он не спрятал их, не выбросил и не уничтожил.

При встрече с Литтою Мельцони понял, что подойти к нему не так легко, как казалось, и искать темного закоулка напрасно; но относительно графини у него были совсем другие мысли.

Пробравшись к ней под измышленным им предлогом и поговорив с нею, он окончательно потерял голову. С этой минуты красавица-графиня постоянно была у него пред глазами. Она нездорова; он просил позволения привезти ей эликсира; следовательно, опоить ее одним из тех одуряющих составов, которые были у него в ящичке, казалось возможным. И, не соображая, какую гадость он затевает, Мельцони представлял себе, как это все будет, или — вернее — может быть. Он, разумеется, вовсе не был уверен, что так и будет; все это представлялось ему в виде какого-то отвлеченного «будто бы»,— так люди, ставшие на поединке друг против друга с пистолетами, все еще думают, что то, что они затеяли, кончится ничем. Но вместе с тем он вынимал и готовил пузырек с «восточным эликсиром», свойства которого он знал.

«Если бы она могла, если бы только я мог думать, что она когда-нибудь полюбит меня,— приходило в голову Мельцони,— я ждал бы, как ждал терпеливо эти шесть лет... какое шесть лет... больше!.. Но нет, это невозможно... невозможно! — повторял он себе.— А что, если вдруг и вправду?.. Ведь что же — несколько капель, и она в моей власти!»

И картины, которые рисовались итальянцу при этом, были так заманчивы, что он готов был решиться, но именно в тот момент, когда решался, прятал свой пузырек обратно в ящик и запирал его.

«А Борджиа,— вспомнил он,— а тысячи подобных случаев? Разве все это — вздор, сказки? . разве они не существовали?.. Но то были решительные люди, а я... что ж я... решиться ведь только... только решиться».

В одну из минут такого колебания на пороге его комнаты появился отец Грубер. Мельцони сделал вид, или на самом деле так было, что очень обрадовался его приходу. Грубер был серьезен и важен.

— Садитесь, синьор Мельцони,— предложил он как старший и власть имеющий, заговорив строгим начальническим тоном.

Мельцони присмирел.

— Я знаю, что вы были в доме графа Ожецкого на собрании иллюминатов,— начал Грубер.— Конечно, вы сделали это в видах пользы нашего ордена... Я вполне одобрил бы вас, если бы вы предупредили меня. Зачем вы сделали это тайно?

Мельцони смотрел на иезуита большими удивленными глазами, как будто спрашивал: он ли сам сошел с ума или о. Грубер?

— В доме графа Ожецкого? — повторил он.— Да я никогда не был там!

— Молоды вы, чтобы провести людей опытнее вас!..— вспыхнув, крикнул Грубер, ударив по столу кулаком.— Я сам, слышите ли, сам видел, как вы входили туда.

Мельцони опять, еще удивленнее прежнего посмотрел на него и отрицательно закачал головою.

— Не может этого быть! — проговорил он, стараясь понять, зачем Груберу понадобилось взвести на него это обвинение.

— Неужели вы были там, как изменник? — нагибаясь к нему и засматривая ему в лицо, прошептал с каким-то злобным неестественным шипением Грубер.— Признайтесь же! Ведь вы знаете, что всякое слово запирательства только усугубит вашу вину.

Мельцони, все более и более робея, глядел на него, видя этот гнев и злобу и не понимая, чем они вызваны. Он готов был клясться, что никогда не бывал в доме Ожецкого; он не мог помнить, когда и как это случилось.

— Боже мой, клянусь вам Мадонной, клянусь всем святым...— начал он.

— Не клянитесь напрасно! — перебил Грубер.— Я вам говорю, что сам видел вас.

Подбородок Мельцони затрясся, колени его задрожали, он был жалок.

Но этот жалкий вид, казалось, только больше сердил Грубера.

— Негодный лжец! — крикнул он, вставая.— Я заставлю тебя сознаться!

Еще минута — и он, казалось, ударит несчастного перепуганного Мельцони.

— Боже мой,— почти плача, забормотал тот.— Да откуда же это? Как, за что?

Грубер резко отвернулся и с ужасом схватился за свою старую, умную голову. Впервые в жизни ему приходилось видеть измену иезуита своему ордену.

«Боже, до чего упали, до чего дошли! — пронеслось

у него в мозгу.— Среди нас появились изменники, и в такое время, когда мы окружены врагами!»

— Так ты не был в доме графа Ожецкого? — обратился он вдруг снова к Мельцони с укоризненною, злою усмешкой, стараясь как бы пронизать его своим взглядом.

— Не был, не был! — повторял тот.

— И это — твое последнее слово?

— Я не могу лгать на себя... Я не знаю, за что это?

Грубер, сделав решительный жест рукою, подступил к нему:

— Так чтобы сегодня же, сейчас, сию минуту тебя не было здесь! Слышишь? Ты соберешься и уедешь назад, а я дам знать о тебе, и там разберут твой проступок... Я сам видел... сам...

— Отец, выслушайте!.. Отец, я не лгу,— уверял Мельцони, но Грубер не дал ему говорить:

— Ты слышал, что приказано тебе?

Неповиновение было страшным поступком для иезуита, и Мельцони покорно склонил голову.

XII

ПРАВДА И КРИВДА

Литта оставил Петербург и снова поселился в Гатчине. Делать ему в Петербурге было больше нечего. Вокруг него образовалась теперь такая паутина, по-видимому, его оплетали со всех сторон так хитро и ловко, что сразу, одним ударом разорвать эту паутину, на что только и был способен Литта, казалось немыслимым. Нужно было терпеливо и усердно, по ниточке, начинать расплетать ее, хитрить, пожалуй, уклоняться и высматривать. Литта чувствовал, что не в состоянии сделать это. Стараться нанести вред тем людям, которые искали случая погубить его, то есть противопоставить зло злу, он тоже не мог. И вот он, долго обдумывая, что делать, и не находя выхода, наконец нашел то, что именно теперь требовалось от него,— это было просто и ясно: ничего не делать.

Да, граф решил ничего не делать, но спокойно ждать, пока правда вступит в свои права. Так учили арканы, так желал сам Литта. Он верил, что никакие человеческие ухищрения не поведут ни к чему и лишь отдалят торжество правды.

Верить твердо и неуклонно, что торжество наступит, что зло должно погубить само себя, и спокойно, с твердою

волею ждать, ничего не предпринимая против этого зла,— в этом была вся сила и защита. Каждое колебание, каждое поползновение к защите какими-нибудь другими путями было бы лишь тормозом, ненужным и вредным.

Пусть клевещут на него, пусть строят стену, чтобы спихнуть его: стена сама собою завалится и раздавит тех, кто строил ее. Нужны лишь сознание своей правоты и желание истины и добра.

С такими мыслями и чувствами уехал Литта в тихую Гатчину и поселился там на все лето, в маленьком отведенном ему доме.

Петербургская жизнь, беспокойная и тревожная, шла своим чередом. Суворов вернулся из Варшавы, покрытый новою славой. Двор переехал в Царское Село, отпраздновав свадьбу великого князя Константина Павловича. Персии объявили войну. Державин написал новую оду ко дню рождения императрицы. Графиня Головнина вышла замуж. Русские войска взяли Дербент, эту победу праздновали в Царском Селе, и Державин написал опять оду. Дубянский, переезжая через Неву с своей дачи, потонул с целой компанией, что наделало много шума. Устраивалась «рота» конной артиллерии.

Все эти новости не доходили до Литты, жившего вдали от них и старавшегося забыться. Он стал писать свои мемуары о войнах, в которых ему приходилось участвовать.

Цесаревич мало жил в Гатчине это лето. В июне родился у него в Царском Селе сын — великий князь Николай Павлович. В августе приехал в Петербург шведский король, под именем графа Гага, для сватовства к великой княжне Александре Павловне. Двор переехал в Петербург, и цесаревич проводил там большинство своих дней.

Литта оставался все лето безвыездно в Гатчине.

Мучительнее всего для него было полное незнание того, что сталось с графиней Скавронской. Он ни с кем почти не видался, а в редких разговорах с приближенными Павла Петровича боялся слишком ясно справляться о ней. Раз только цесаревич, приехав как-то в Гатчину на несколько дней и встретив мельком Литту, сказал ему мимоходом:

— Она все еще здесь — в Петербурге, никуда не показывается... больна...

Граф видел, что цесаревич помнил их разговор, и с благодарностью взглянул на него, но ничего не ответил, и великий князь не продолжал разговора.

Брак великой княжны Александры Павловны с шведским королем не состоялся. Это Литта узнал по тому страшно гневному и недовольному настроению, в котором цесаревич вернулся в Гатчину. Он долгое время был не в духе, и никто не видел его.

Дело Литты, между тем, тянулось в судебных инстанциях. С него взыскивали полностью по распискам; о результатах обыска не было никаких сведений, хотя Литта еще в Петербурге написал подробную записку с объяснением, что не знает, какие письма были найдены у него, потому что они были подброшены в ночь пред обыском его камердинером.

В Гатчину к нему не посмели еще явиться и как бы оставляли его в покое, хотя Литта знал, что Зубов не остановится ни пред чем, и, по всем вероятиям, его записка не будет иметь влияния. Отчасти он рассчитывал на заступничество цесаревича; последнему он ничего еще не говорил, но решил найти случай рассказать все, когда это будет нужно.

К графу приезжал из города подьячий из суда, по исковому делу, и намекал на то, что при известных с его стороны «действиях» можно затянуть дело. Литта прогнал его. Подьячий обещал, что в таком случае дело решится очень скоро, и Литте будут предстоять большие неприятности. С Мальты известий не было.

В таком положении застала графа осень. Дни становились короче и холоднее. Гатчинский домик, в котором жил Литта, летом — уютный и скрытый густою зеленью, стал менее приветлив и сквозил уже своими стенами меж оголившимся переплетом скрывавших его прежде деревьев и акаций. Ветер по вечерам начинал напевать свою жалобную песню. Небо с утра закутывалось серым пологом плотного тумана. Было сыро, темно, неприветливо.

XIII

ДОНОСЧИК ОТКРЫТ

— Извините, ваше сиятельство, что обеспокоил вас,— входя в комнату Литты, произнес человек в простом мещанском платье, кланяясь и вытирая промокшие от только

что выпавшего первого снега сапоги о порог, к крайнему огорчению гатчинского солдатика, который исполнял все обязанности при Литте, давно распустившем свою прислугу.

Граф обернулся от стола, за которым сидел (он писал свои записки), и, посмотрев на вошедшего, спросил, что ему нужно, и кто он такой.

— Вольноотпущенный человек графов Скавронских,— ответил тот с поклоном.— Имею доложить вашему сиятельству...

При произнесенном им имени Литта встал со своего места и, подойдя к посетителю, переспросил:

— Графов Скавронских? Ты прислан...

Но Литта не договорил своего вопроса, потому что сердце его сжалось.

— Нет-с, я сам пришел по собственной, так сказать, воле, пешком... Слава Богу, что отыскал-то вас.

Блеснувшая было надежда получить хоть какое-нибудь известие о графине исчезла, и Литта тяжело вздохнул.

«Места, верно, пришел искать»,— подумал он.

А вольноотпущенный Скавронских продолжал:

— Я, ваше сиятельство, все время с покойным графом за границей был и по-итальянски несколько не только понимать, но и говорить могу, а после, как умер граф, так ее сиятельство всем служившим при них вольную дала.

«Ну, так и есть»,— решил Литта и спросил:

— Что ж тебе? Ты служишь где-нибудь?

— В кондитерской Гидля, там очень хорошую цену дают, особливо кто иностранные языки понимает.

Литта стал внимательнее прислушиваться.

— Да. Так что же ты ко мне-то пришел? — спросил он снова.

— А вот пусть они выйдут,— кивнул человек на солдата,— тогда будет удобнее рассказать.

Литта велел солдату выйти.

Посетитель притворил дверь и, приблизившись на цыпочках к графу, словно подкравшись к нему, таинственно заговорил:

— В той самой кондитерской есть, ваше сиятельство, совсем назади, надо вам сказать, комната... Постоянно она бывает заперта, и ключ у самого хозяина...

— Знаю! — перебил его Литта.

Тот недоверчиво взглянул, как бы сомневаясь, что граф действительно знает, но все же продолжал:

— Так вот, давно хотелось мне узнать, что там есть

в этой комнате... Надысь вечером это пробрался я коридором к самой двери. Темно было... только щелка маленькая, и из нее свет идет в темноту-то ко мне. Приложил я глаз... и вижу: стол, а у стола сидят двое: один — пишет, а другой — ему говорит... Тот, что пишет, переспрашивает и опять пишет... и все в тетрадку заглядывает... И только, слышу я, говорят они про вас.

— Про меня? — переспросил Литта.

— Видит Бог, про вас... граф; говорят «Джулио Литта».

— Откуда же ты знаешь меня?

— Да как же мне не знать? — засмеялся человек.— Разумеется, знаю. И вот говорит один по-итальянски. А я-то ведь понимаю, а потому приложил ухо и слушаю: «Граф Литта,— говорит,— наш враг теперь навсегда, и ничего мы с ним не поделаем. Коли деньгами давить, так это ему ничего... А вот письма его насчет сношения с Польшей, так это дело будет другое».

— Как с Польшей? — удивился Литта.

— С Польшей... Один даже по-русски сказал — Варшава. «Их,— говорит,— у него нашли, а оказались они у него благодаря камердинеру; так теперь нужно его научить, что говорить»... Только слышу третий голос там. Посмотрел в щель — вижу, подошел к ним такой, и впрямь камердинер.

— Довольно,— остановил его Литта,— довольно!.. Теперь я понимаю... все понял.

— Так вот я и думаю, как бы это все вашему сиятельству рассказать, потому что дело здесь не совсем чистое выходит... ну, и пошел.

Литта закрыл руками лицо.

«Гадость-то людская,— подумал он,— гадость-то!.. А ведь вот, однако ж, совсем чужой человек пришел — предупреждает... Как это все сплетается!»

Теперь он знал по крайней мере, какую новую клевету взводили на него. И в эту минуту ему показалось, что это было уже слишком много, что почти сверхчеловеческие силы восстали против него и что ему уже не выправиться теперь, не выпутаться.

— Но как же это ты пешком пришел? Откуда же ты меня-то знаешь? — спросил немного погодя граф Литта.

— А конюха Дмитрия забыли? Батюшка, ваше сиятельство, из-за вас я человеком стал,— век я не забуду... к больному не побрезговали прийти, а то бы погибать мне, как собаке! — и Дмитрий стер рукавом навернувшиеся у него слезы, стараясь сделать это незаметно.

XIV

ДОКЛАД ИМПЕРАТРИЦЕ

С погодой происходило между тем что-то странное. В самых последних числах сентября разразилась гроза над Петербургом, и в народе говорили, что такое необычное явление не предвещает ничего доброго. В октябре метеор упал за каретой государыни. Снег выпал, и морозы завернули быстро. Все ожидали почему-то тревожной, беспокойной зимы.

К началу ноября императрица, видимо, чувствовала себя нехорошо и даже не скрывала этого. Причиной тому были, как ходил слух, неудача с браком великой княжны Александры Павловны и отказ шведского короля, сильно подействовавший на самолюбие императрицы Екатерины.

Государыня изменила свои привычки. По воскресеньям не выходила к обедне, оставалась вечером в своей спальне, и обыкновенно проводившие у нее конец дня великий князь Александр с супругою не были приглашаемы в последнее время. С докладами она принимала лишь самых близких лиц.

Четвертого ноября Зубов вошел к ней и поразился болезненным, усталым видом государыни. Она сидела в кресле у своего столика. Он с беспокойством, внимательно и пытливо остановил на ней взгляд.

— Ну, что смотришь? — спросила она.— Что? Изменилась я?

— Нет, напротив,— поспешил успокоить ее Зубов,— если и изменились, то к лучшему... Напротив, сегодня у вас вид гораздо лучше! — солгал он.

Государыня вздохнула и, как бы желая доказать, что ей действительно лучше, и подбадриваясь, показала ему на стул против себя, а затем проговорила:

— Ну, покажи, что у тебя там?

Она, согласно своему правилу, что «нельзя прожить ни одного дня без того, чтобы не писать», уже занималась сегодня утром составлением сенатского устава — работою, которой предавалась в последнее время.

— Что, много бумаг? — спросила она опять, надевая очки, пока Зубов усаживался на стул и раскрывал папку с делами.

— Нет, ваше величество, немного,— ответил он и начал докладывать, наученный, почти как канарейка с дудочки, Грибовским.

Принявшись за дела, Екатерина как бы оживилась и забыла свое недомогание.

— А ты знаешь,— вдруг остановилась она,— сегодня в моей комнате часы остановились... это в первый раз в жизни.

Зубов опять с тревогой поглядел на нее и, подождав минуту, продолжал доклад, привыкнув уже к этим посторонним замечаниям, которые иногда государыня имела привычку делать. У нее была удивительная способность думать иногда зараз о нескольких самых разнородных предметах, почему-нибудь интересовавших ее.

— Вот тут есть одно дело,— говорил Зубов,— не совсем приятное... о графе Литте, мальтийском моряке.

Государыня слегка поморщилась.

— Он должен представить свои верительные грамоты,— сказала она,— он назначен послом державного ордена Мальты при нашем дворе... Нужно было бы назначить аудиенцию... Только не теперь... теперь я не могу делать прием... погодя немного... Мне что-то неможется, а вот, Бог даст, пройдет...

— Едва ли, ваше величество, придется вручить ему свои грамоты,— подхватил Зубов,— он недостоин этого... Об этом я и хотел доложить.

— Как недостоин? — переспросила Екатерина.

— Много за ним грехов,— улыбнулся Зубов, как будто сам он симпатизировал Литте, но любовь к истине заставляла его говорить правду.— Прежде всего он, как мальтийский рыцарь, должен быть связан обетом...

— Да, они дают почти монашеские обеты,— подтвердила Екатерина.— А как это странно, однако, как это не вяжется с нашими понятиями, с родным нам православием!

Зубов боялся богословских вопросов, в которых был не тверд, а потому поспешил вернуть разговор снова к Литте и продолжал:

— И между тем он не держит своего обета... Тут есть жалоба и просьба одной баронессы о ее переписке с графом Литта. Уехав в Гатчину, он увез и ее письма, и мы не можем их получить... Положим, это — еще не большая беда, но во всяком случае это показывает, каков он человек... Распоряжение о том, чтобы отобрать эти письма, разумеется, было сделано, при этом, кстати, оказались еще другие подозрения... И вот то, что оправдалось на деле, вышло гораздо серьезнее. У него оказалась весьма подозрительная переписка с Польшей...

— Неужели? — проговорила императрица.

— Вот эта переписка,— ответил Зубов, подавая взятые из бюро Литты бумаги, причем ни единым словом не обмолвился об объяснении Литты, каким образом эти бумаги попали к нему.

Императрица взяла письма и стала просматривать их.

— Не ожидала, не думала! — сказала она, качая головою.

— Мало того,— неумолимо продолжал Зубов,— граф весь в долгах, на него поданы его расписки в суд, а он между тем укрывается в Гатчине.

При упоминании о Гатчине императрица нахмурилась еще больше и сурово спросила:

— Неужели он в самом деле — такой человек?

— Да! И такого человека цесаревич держит у себя, прикрывает, разумеется, не зная, каков он. Я предполагал бы, что ваше величество прикажете дать приказ об аресте этого графа, и завтра же он будет взят. Время долее терять нечего; мы и без того четыре месяца разбирали это дело, справлялись... Тут много показаний и его слуг, а главным образом бывшего камердинера; все ясно, и сомнений быть не может.

— Ты знаешь,— остановила его государыня,— что я даю полную свободу цесаревичу быть хозяином в Гатчине, и без него мы там ни обысков, ни арестов делать не будем; но нужно дать ему знать об этом, и тогда он сам прикажет поступить как нужно.

Зубова слегка покоробило, и он осмелился возразить:

— Пожалуй, будет задержка во времени.

— Пошли верного человека на словах доложить цесаревичу,— сказала Екатерина усталым голосом.

Зубов заметил, что она утомилась, и, поспешив собрать свои бумаги, сказал с поклоном:

— Слушаю!

Хотя и вышло не совсем так, как ему хотелось, но все-таки он уже заранее мог торжествовать свою победу над слишком смело державшим себя с ним графом Литтою.

XV

ТРЕВОЖНЫЙ ДЕНЬ

На другой день к гатчинской рогатке подскакал на взмыленной, усталой, загнанной быстрою ездою тройке Николай Зубов, родной брат князя Платона. Шлагбаум загоро-

дил ему дорогу. Вышедший из караульного домика офицер подошел к саням и, узнав фамилию ехавшего, остановил его и стал расспрашивать, зачем он едет, к кому, по какому делу и вообще, что ему нужно в Гатчине.

— Я — Зубов, граф Николай Зубов,— горячился тот, думая, что офицер не расслышал его имени.

Но на гатчинского офицера это имя производило совсем другое впечатление, чем в Петербурге. Чем больше горячился приехавший и чем настойчивее уверял он, что его зовут Зубовым, тем все менее и менее любезен становился офицер и яснее выказывал нежелание поднимать шлагбаум.

Наконец Зубов наклонился к самому его уху и произнес два слова, как крайнее средство, на которое он решился, вынужденный к тому упорством офицера. И, как только он произнес эти слова, офицер махнул стоявшему у рогатки часовому и крикнул: «Подвысь!» Шлагбаум поднялся, и тройка поскакала дальше.

У ворот дворца опять пропустили Зубова те же два магических слова.

Он вбежал на ступеньки крыльца и, тяжело дыша, вошел в сени.

— Его высочество,— заговорил он,— его высочество... где?.. Доложите скорей!..

Другой офицер встретил его и, видимо, также не желая ни разделять его тревогу, ни выказывать особенную расторопность пред ним, спокойно ответил, давая понять, что з д е с ь не Петербург и что Зубов для него решительно ничего не значит:

— Его высочество изволят быть на мельнице, они кушают там... Их видеть теперь нельзя...

— Доложите! — начал было опять Зубов.

— Если вам угодно, то пожалуйте завтра утром, а теперь нельзя,— перебил офицер.

Но Николай Зубов опять сказал ему два слова, пропустившие его так быстро сюда, и офицер, изменившись в лице, вдруг выскочил вон, сам побежал за лошадью и, едва опомнившись, поскакал на мельницу к великому князю.

Эти два чудодейственные слова Зубова были: «Государыня кончается».

Павел Петрович приехал в Петербург между шестью и семью часами.

Императрица без сознания лежала на тюфяке, разостланном на полу, за ширмами. Комната была слабо освеще-

на. Вопли женщин сливались с предсмертным хрипением государыни.

Во дворце ходил глухой, сдерживаемый шепот о подробностях нынешнего дня и о том, как это все случилось; рассказывали, как сегодня встала государыня, как пила кофе, шутила с Перекусихиной, и потом как ее нашли в обмороке в гардеробной. Сначала думали, что это — просто обморок, но вскоре заметили признаки апоплексического удара. Прибывший Роджерсон и врачи подтвердили это предположение.

Павел Петрович, приехав во дворец и не заходя в свои комнаты, расположился с супругою в покоях государыни, подле ее спальни. Он пожелал видеть своих сыновей, а невесткам приказал оставаться в их комнатах.

Никто не спал в эту ночь во дворце. На минуту мелькнула было надежда — лекарства как будто оказали действие, но эта надежда была непродолжительна.

Следующий день весь прошел в томительном ожидании. Агония императрицы была долгая и трудная, без минутного проблеска сознания. Шестого ноября в одиннадцать часов вечера прислали за великими княгинями. Императрицы не было в живых.

Тело покойной было уже убрано и поднято на постель. Царская семья отслушала панихиду, а затем направилась в церковь, где принял присягу вошедший на российский престол император Павел I.

XVI
ЗАБОТА НЯНИ

Все это случилось крайне быстро, неожиданно; никто не хотел верить, не хотел привыкнуть к мысли, что государыни не стало. Все до того верили в ее здоровье, в ее бодрый, приветливый вид, с которым она показывалась обыкновенно, что не могли постичь, каким образом они будут теперь жить без нее, и что станется без нее со всеми. И никто не мог прийти в себя и вспомнить, что государыне было уже шестьдесят семь лет, что при постоянной, непрерывной и энергичной работе, в которой она провела почти всю жизнь, силы ее должны были наконец ослабевать, и она скончалась оттого, что время ее наступило.

И вот стали отыскивать всевозможные причины. Говорили, что государыня скончалась оттого, что гроза была в сентябре, оттого, что метеор упал за ее каретою; ссылались на неудачу с браком шведского короля, словом, иска-

ли всякого разумного и неразумного повода, чтобы успокоить себя хоть чем-нибудь.

Трогательные, за душу хватающие сцены происходили на улицах Петербурга, точно каждый терял более чем императрицу — любящую мать. Люди всех сословий пешком, в санях и в каретах, встречая своих знакомых, со слезами на глазах выражали сокрушение о случившемся. Площадь пред дворцом была полна народом. К ночи выпал глубокий снег, утром настала оттепель и заморосил дождь. Никто не обращал внимания ни на холод, ни на сырость — на улицах все время продолжалось движение. У казарм стояли пред аналоями священники, и солдаты приносили присягу новому императору. В церквах служили панихиды, и они тоже были переполнены народом.

Старушка-няня Скавронской пробиралась сквозь толпу в своем лисьем салопе и огромном капоре, стараясь, чтобы ее не слишком придавили, и держа трехкопеечную свечу в поднятой руке.

— Ох, батюшки, пустите!.. Грехи-то наши!..— говорила она, усердно протискиваясь вперед.

Впереди у иконостаса, у самых образов, стало посвободнее. Здесь стоял народ почище, не толкался, и место казалось пошире.

Няня добралась до самого образа великомученицы Екатерины и, опустившись на колена, начала креститься своею старческою сморщенною рукою, крепко прижимая ко лбу сложенные для крестного знамения пальцы. Сделав несколько земных поклонов и переведя дух, она встала, зажгла свою свечку и поставила ее пред образом, потом снова упала пред ним и с блестящими от слез глазами зашептала опять молитву, делая частые земные поклоны.

В церкви шла уже третья панихида по государыне, и диакон слегка охрипшим баском молился на ектении, привычным напевом повторяя заученные слова об упокоении души скончавшейся императрицы Екатерины Алексеевны.

— Господи, сохрани, спаси и помилуй рабу Твою Екатерину! — молилась няня.— Господи, помоги, дай силы, здравие и бодрость, о т ж е н и от нее испытание! — повторяла она, стараясь подделаться под славянский текст знакомых ей молитв и просить и молиться так, чтобы это подходило к возвышенному, умиленному и трогательному порыву ее души, с которым она пришла сюда, в церковь.

У нее были свои заботы, свое горе. Ее ненаглядная графинюшка, дитятко ее дорогое, ее Катя была больна и с каждым днем таяла, как воск.

«Боже мой,— сокрушалась няня,— да когда этому конец будет? Любит она его, любит крепко и забыть не может... И как он словно обошел ее, испортил: сохнет она по нем, голубушка!»

И вот, забыв обо всем и не обращая внимания, что происходило вокруг нее, она снова клала свои поклоны и снова молилась:

— Господи, просвети, научи, что делать... Делать что, научи! — всхлипывая и с приливом новой силы и чувства твердила она, низко опуская голову на холодный каменный пол церкви.— Силы небесные, не дайте погибнуть ей!.. Господи, сохрани рабу Твою Екатерину!

Она оглянулась и теперь только заметила траурные ризы священнослужителей, свечи в руках молящихся и грустный напев певчих.

«Панихиду поют,— догадалась она,— по государыне. Господи, и жизнь, и смерть — все во власти Твоей... Помоги и спаси нас грешных!»

И две крупные, тихие слезы медленно скатились по ее щекам.

«Да что в самом деле? — соображала она,— неужели же ей и погибать так, зачахнуть в ее-то годы?.. Что он — истукан, что ли, каменный? Разве не увидит, не узнает?.. Ведь и он, кажется, готов душу за нее положить... Да и человек хороший. Где ж это видано, чтоб Божье дитя, красавица моя, так погибла?.. Нет, не бывать тому!.. Пусть лучше мне, старой, горе будет, лишь бы ей было хорошо».

И старушка усердно, со слезами, стала просить, чтобы, если суждено ее Кате горе на земле, пусть оно обратится на ее старую голову, лишь бы дитятке ее было хорошо и светло здесь.

XVII

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

С первых же дней нового царствования стали издаваться указы, которыми крайне обильно кратковременное правление Павла. Они касались всего распорядка как обширного государственного порядка, так и мелочей и частностей, касающихся даже внешней столичной жизни, распущенной, правду говоря, и слишком вольной в последнее время. С восьмого ноября полиция уже успела обнародовать ряд строгих правил относительно формы одежды и езды в экипажах. Чиновникам была дана новая форма. Круглые шляпы и высокие сапоги были запрещены. Офицерам не

дозволялось уже надевать невоенное платье, что было прежде в моде.

Петербург быстро принял новый — военный — характер. Гатчинские войска вступили в столицу, а Гатчина, и без того тихая в прежнее время, опустела теперь совсем.

Литта уже собрался в Петербург — поклониться гробу покойной государыни; но это оказалось не так легко сделать, как он думал. Лошади были все в разгоне, и достать их почти не было возможности. Приходилось или идти пешком, или ждать оказии. Все спешили в город, и Литта ни за какие деньги не мог получить лошадей ни на почте, ни в придворной конюшне, ни у частных лиц. Своих у него не было в Гатчине.

Солдатик, вестовой его, никогда не терявший бодрости, обещал все-таки как-то устроить это и обнадеживал, что граф может быть спокоен — лошади найдутся.

Он пропал с утра, и Литта, в ожидании его, ходил по маленькой комнатке своего домика, заглядывая время от времени в окна, не приехали ли наконец обещанные вестовым лошади. Около часа действительно послышались бубенцы, и дюжая тройка осадила у крылечка.

«Ну, наконец-то!» — подумал Литта, стараясь разглядеть, какой экипаж привели ему.

Но, к его удивлению, в санях сидели уже знакомый ему теперь Дмитрий и с ним старушка в лисьем салопе и высоком капоре.

Няня Скавронской вошла к графу одна. Дмитрий остался в сенях.

— Здравствуйте, ваше сиятельство,— поклонилась няня.— Слава Тебе, Господи! Бог привел увидеться, а то уж я думала, что не застану вас здесь... Ну, да все к лучшему.

— Что случилось? — тревожно спросил Литта, видя взволнованное лицо старухи и неровные движения ее трясущихся рук, которыми она силилась освободиться от своего капора и салопа.— Графиня... что-нибудь? — снова спросил он.

— Да, батюшка, графиня,— упавшим голосом ответила няня,— о ней приехала поговорить я, граф, ваше сиятельство,— и, отыскав глазами образ, она три раза с поклоном перекрестилась на него.

Литта чувствовал, как вся кровь прихлынула к его сердцу и словно оно остановилось у него.

— Что же, что с ней? — почти в отчаянии повторил он.

— Больна, ваше сиятельство,— начала няня,— так тоскует, что не только мне, а ведь людям смотреть жалост-

но; не кушают ничего, сон потеряли... Дохтур ездит... Да разве он понимает что? Я-то одна вижу и понимаю — несдобровать моей голубушке, уж больно тоскует она... нет средств никаких... Так вот, батюшка, думала я, думала, Богу молилась, к Сергию пешком ходила, да и надумала приехать к вам, ваше сиятельство, и поговорить, потому что вы одни спасти мое дитятко можете.— Голос няни дрогнул, и глаза заморгали чаще.— Батюшка, ваше сиятельство,— подступила она к Литте,— я тайком ведь здесь у тебя: графинюшка — Боже сохрани — и не знает. Не пустила б она меня, с глаз прогнала бы, если б я заикнулась только... Да сама-то я чувствую кручину ее; не сегодня-завтра сухотка откроется у ней, и тогда все пропало, все кончено.— И вдруг няня при одной этой мысли вся вспыхнула и зло сверкнула на стоявшего пред нею с опущенными руками молодого графа.— А все из-за тебя, из-за тебя,— протянула она, ничего уже не помня,— на твоей душе грех будет, погубишь ты ее.

Каждое слово точно ножом резало Литту. Эта добрая старуха, на все готовая для своей барыни, не знала, не могла представить, какой пытке она подвергала его теперь.

— Больна... больна!..— произнес он.

— И безнадежно, батюшка, безнадежно... так и дохтур сказали, и сестра их потеряли всякую надежду. Только я еще думаю, милостив Господь!

— Боже, Боже, что же делать! — почти простонал Литта.

Няня вдруг как-то дрогнула всем телом и прерывающимся, чуть не рыдающим голосом заговорила:

— Ваше сиятельство, послушай меня! Женись.., женись на нас... одно спасение наше в этом, батюшка!

И старуха согнулась, готовая опуститься на колена.

— Что вы! — подхватил ее Литта.— Полно, довольно.., что вы!..

Он поднял старушку, насильно усадил на стул и старался успокоить.

— Ты прости мои глупые речи,— продолжала сквозь слезы няня,— а только другого исхода нет... нет! — повторила она, качая головою.— Умрет она, моя голубушка, умрет!

И не в силах уже дольше владеть собою, няня залилась слезами.

Литта оставил ее и стал ходить по комнате. Он верил в болезнь Скавронской и знал так же, как няня, что она не переживет этого потрясения. Боже! так она любила его!

Он видел доказательство — ясное, тревожное, ужасное — ее любви... Это было счастье, но вместе с тем и страшное, невыразимое горе. Ведь он любил ее больше жизни, но как быть: души своей не продашь за любовь, потому что тогда и любить нельзя.

— Если б я только мог,— подошел он снова к няне,— если б я был в силах!

Ему трудно было долго говорить по-русски, и он не мог объяснить то, что хотел и как хотел, но в голосе его и в выражении было такое страдание, что няня и так поняла его.

— Знаю, что будто вы монашеский обет дали,— заговорила она.— Чудно у вас это по-католичеству — как есть бравый молодец и красавец со шпагой, все как следует, военный и вдруг... монах... Что-то несуразно оно, не по-настоящему... быть так не должно... Уж коли монах — иди совсем в монастырь и не смущай людей... Богу молись.

— Разве я не молюсь Ему? — сказал Литта.

— Да, по-католическому,— подхватила няня,— по-своему... А вы вот что, ваше сиятельство: оставьте все эти вещи-то да переходите в нашу веру православную, христианскую, и все вам станет ясно... и все будет хорошо... и мир душе вашей настанет. И возьмите вы жену-красавицу, любимую, ненаглядную. А уж любить она вас будет! Оживет, моя радость, право оживет... Молилась я об этом, чтобы Господь просветил вас.

Слезы стояли в глазах Литты, но он не мог не улыбнуться сквозь них на простодушную речь старой няни. Если б он мог, то объяснил бы ей, что давно бы перешел в православную веру, но для этого ему нужно было сначала убедиться, что православие действительно лучше веры отцов его; а так, для того только, чтобы получить право на женитьбу, это было недостойно, слишком невозможно для него. И, стараясь примениться к понятиям старухи, он попробовал объясниться с нею примером.

— Вот что,— сказал он,— недавно был в Петербурге шведский король... Вы слышали об этом?

— Слышала!.. Свататься к нашей великой княжне приезжал.

— Ну, вот!.. Они любили друг друга... очень любили... А между тем король не женился, потому что великая княжна не могла изменить свою веру, а без этого она не могла стать королевою шведской.

— Так что ж из этого? — переспросила няня.

— Ну, вот,— пояснил Литта,— великая княжна не могла изменить веру...

Старуха удивленно посмотрела на него и ответила:

— Полно, батюшка, она ведь — православная!..

Литта увидел, что его старание напрасно и, сколько бы он ни объяснял, все равно его не поймут.

— Нет, няня,— коротко сказал он,— к несчастью, это невозможно, это нельзя сделать... Вы говорили, графиня не знает, что вы поехали ко мне?

Няня замахала на него руками:

— И не знает, и не догадывается, а то беда мне будет.

— Ну, так вот: ничего не говорите ей обо мне и постарайтесь сделать, чтобы она забыла обо мне... А я...— и не договорив, Литта махнул рукою и закрыл лицо.

XVIII

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Огромный аванзал Зимнего дворца, вблизи зала, где на помпезном катафалке стояли тела Екатерины II и Петра III (последнее, по воле Павла I, было перенесено из склепа Александро-Невской лавры), был полон народом. Как и все передние покои, этот зал был густо убран трауром и затянут флером.

Но, несмотря на это печальное убранство, лица собравшихся здесь, казалось, были оживлены надеждою на предстоящее благополучие. Из старых вельмож почти никого не было. Новые люди, по преимуществу гатчинские, проходили, здоровались и переговаривались между собою. Несколько человек приезжих из провинции, вызванных новым императором, тоже были тут.

Безбородко ходил своею переваливающеюся походкой и всем знакомым и незнакомым говорил свое «Здрастуйте!» Он надеялся, и не без основания, что иностранные дела снова перейдут в его руки.

Князь Алексей Куракин, генерал-прокурор, очень красивый мужчина с блестящими глазами и густыми, черными, правильно очертанными бровями, в стороне разговаривал с Растопчиным. На них смотрели с большим подобострастием и искали случая поклониться. Это были восходящие звезды.

Кутайсов тоже среди поклонов прохаживался, как бы скользя по паркету тупыми, круглыми, как лошадиное копыто, подошвами.

Старомодные гатчинские мундиры времен Семилетней войны горделиво косились на щегольскую форму рослых

екатерининских гвардейцев, оттертых теперь на задний план.

В воздухе чувствовались общее волнение и напряженное беспокойство; все перешептывались, говоря и высказывая свои предположения про других и думая только о себе, и стараясь прислушаться, не произнесется ли и их имя в числе новых назначений и повышений, о которых передавались со всех сторон одна другую сменяющие новости.

Один Литта из числа всех собравшихся в зале спокойно стоял в стороне у окна и, скрестив на груди руки, безучастными глазами следил за этою страстною, алчущею толпою.

Несколько дальновидных людей уже подходило и к нему и, стараясь быть любезными, заговаривало с ним не без почтения и заискивания. Безбородко опять пожал ему руку, точно во второй раз хотел снова раздавить ее. Всем было известно пристрастие государя к Мальтийскому ордену, и, если бы Литта прислушался, его имя не раз было уже произнесено сегодня с завистью и киванием головы в его сторону.

Но он не слушал, ни с кем не говорил и ничего не замечал. Ему нечего было ждать, не на что надеяться... Те, которые кивали на него, не знали, разумеется, в каком он был положении.

Подьячий из суда не солгал, что дело поведется быстро. Взыскание было почти кончено, и не сегодня-завтра Литту могла ждать тюрьма за долги. Пощады искать было нечего, да он и не искал бы ее.

Требование баронессы Канних о возвращении переписки бросало на него тень, от которой едва ли можно было очиститься: всегда найдутся люди, готовые уколоть давнишнею французскою поговоркою: «Нет дыма без огня». Наконец эти подкинутые письма и клевета насчет его сношений с Польшею, о которой он знал теперь через Дмитрия и против которой не мог ничего сделать. Его еще ни о чем не спрашивали, а идти самому и говорить было нельзя, так как его весьма естественно могли спросить: «Если вам письма подкинуты, то как же вы можете знать их содержание?» Объяснению о Дмитрии могли и не поверить.

Дело теперь на первое время, очевидно, остановилось, но вскоре перейдет из рук Зубова в другие руки и будет, вероятно, доложено государю... но как доложено, кем? Павел Петрович, доступный для Литты в Гатчине, когда был наследником, будет ли доступен так же, как прежде, став теперь императором могущественной России? Помимо

всего этого Литте было невыразимо горько, что этот человек, которого он привык глубоко и искренно уважать, может составить себе о нем дурное, невыгодное представление.

Литта старался думать обо всем этом, силился представить себе весь ужас этого, чтобы забыть хоть на минуту свое самое больное горе, отвлечься от него. Но это горе, щемящее, мучительное, неумолимо сжимало ему сердце, потому что тут мучилась сама душа его, разум путался и отказывался служить, и воли не было.

«Она больна!» — звучало у него в ушах. «Она» больна и, может быть, теперь, в эту минуту, ей становится хуже и хуже. И причиною тому он — его любовь, и помочь он этому не может, не смеет: он связан по рукам и по ногам. И он стоит жалкий, беспомощный, униженный, с безнадежною тоской на сердце.

«Боже мой! — думал Литта.— Неужели нет выхода, неужели нет помощи, неужели нет надежды?»

И чем он хуже других? Почему и он не может так же радоваться, как вот хоть тот офицерик, только что произведенный в следующий чин и не слышавший ног под собою? За что надвинулось на него так сразу столько бед, из которых выпутаться нет человеческих сил, нет возможности? В самом деле, кто придет помочь ему, кто ободрит его, в чьей власти сделать из него снова живого человека и вдохнуть ему жизнь и радость?

И Литте уже казалось, что он никогда не знал в жизни ни одной радости и никогда не узнает ее. Откуда, кто поможет ему?

В это время стоявшие у дверей во внутренние покои часовые стукнули своими карабинами. Двери широко распахнулись, и камергер в расшитом золотом мундире торжественно провозгласил в сторону аванзала:

— Государь!

Литта вздрогнул и вместе с притихнувшею толпою склонил голову навстречу показавшемуся в дверях императору Павлу.

XIX

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО

Старик-бриллиантщик Шульц принес к баронессе Канних продавать несколько драгоценных вещей. Она внимательно, с видом настоящего знатока и ценителя, осматривала их, не решаясь, которую выбрать.

— И фермуар хорош, и колье,— говорила она.— Как, по-вашему?..

— Что вам больше нравится, то и возьмите,— отвечал Шульц, с улыбкою глядя на нее.— Это ожерелье сделано по точному образцу легендарного колье маркграфини Шенберг; оно в строгом средневековом вкусе.

— Вы говорите «легендарного»,— перебила баронесса.— Почему это?

— Тут рассказывают целую историю... Разве вы никогда не слыхали про замок Шенберг?

— Нет, не слыхала,— покачала головою Канних.

— Он очень известен на Рейне.

— Какая ж легенда, однако? — переспросила баронесса.— Это интересно.

— Говорят, будто маркграфиня была влюблена.

— Ну, это всегда в легендах!

— Разумеется,— подтвердил Шульц, укладывая в футляры разложенные им вещи.— И вот оказалось, что человек, которого она любит, питает склонность к другой... Он отверг ее любовь, и она поклялась отмстить ему.

Баронесса сидела, и задумчивая улыбка застыла на ее губах.

— Вы знаете, что она сделала? — спросил Шульц, пристально взглядывая ей в глаза, причем его доброе лицо с острым птичьим носом сделалось серьезно и строго.

Канних невольно задумалась о себе, и ей вспомнилось письмо, которое она написала Зубову.

— Она написала письмо герцогу,— продолжал старик-бриллиантщик.

«А говорят, мое письмо имело действие»,— мелькало в это время у баронессы.

— И оклеветала его.

— Что вы сказали? — слегка двинув плечами, спросила Канних: слово «оклеветала» резко поразило ее.

— Я говорю, что маркграфиня оклеветала ни в чем неповинного человека,— повторил Шульц.

— Ах, да, это в легенде! — вспомнила баронесса.

— Да и в настоящей жизни это бывает,— вздохнул старик.

Канних искоса посмотрела на него. Ей казалось, что он будто намекает на что-то.

— Но разве ее письмо была клевета? — спросила она.

— Да, клевета,— продолжал Шульц.— Она так распространена среди людей, что поддаться ей очень легко, и блажен тот, кто раскается вовремя и сумеет поправить ее.

Маркграфиня не пожелала сделать это. И вот один старый бриллиантщик приходит к ней — так говорит легенда — и приносит на выбор драгоценные вещи. Маркграфиня колеблется, не знает, что ей взять, и выбирает вот такое ожерелье. Оно ей очень нравится, и она покупает его... Бриллиантщик взял деньги и ушел. Маркграфиня надела свое колье и вдруг чувствует, что оно душит ее, ей тяжело дышать... Она начинает снимать ожерелье, но не может сделать это и не может вздохнуть, точно свинец у нее на шее; напрасно она зовет служанок — никто не в силах расстегнуть запон.

— Какая сказка! — перебила Канних.

Грудь ее подымалась неровно, и она с усилием переводила дух.

— Да, сказка, но она не так глупа. Почти все наши немецкие легенды имеют свое объяснение, так и тут аллегория. Приход бриллиантщика — это проснувшаяся совесть; ожерелье — ее угрызения, которые тяжелее всякого свинца. Как видите, легенда не без смысла. Так прикажете оставить колье? — добавил Шульц, поворачивая в руках вещь и заставляя ее играть светом камней.

— Да,— ответила Канних,— хорошо... я возьму его. Я сейчас вам вынесу деньги,— и она довольно нетвердыми шагами прошла в соседнюю комнату.

Старик Шульц долго ждал ее возвращения. Наконец баронесса появилась, держа деньги в руках, и ему показалось, что ее глаза были краснее, чем прежде.

— А скажите, что же в вашей легенде произошло с тем человеком, которого любила маркграфиня? — спросила она, вручая деньги.

— Клевета, как всякая неправда, вышла наружу,— ответил Шульц,— и он в конце концов остался невредим.

И, раскланявшись с баронессой, старик ушел не спеша, оставляя по себе странное впечатление в душе смущенной баронессы.

Он говорил с ней далеко не как торгаш, его речь была плавна, спокойна-уверенна, манеры полны достоинства, и, казалось, каждое слово имело значение по крайней мере для Канних. Что, эта легенда была простым случаем, совпадением или бриллиантщик, вращаясь в придворных сферах, куда поставлял свою работу, действительно знал что-нибудь? Как бы то ни было, после его ухода баронесса стала беспокойно ходить по анфиладе своих комнат, заложив руки за спину, опустив голову и смотря себе под ноги.

«И зачем я купила это колье?» — спрашивала она се-

бя, проходя мимо столика в гостиной, где стоял футляр с вещью, и косясь на него.

Она была от природы не зла, но довольно легко поддавалась чужому влиянию. Она всегда, всю жизнь все делала как-то благодаря внешним толчкам, иногда рассчитанным, иногда случайным. Теперь врезавшееся ей в память слово «клевета» как огнем жгло ее мозг.

Пока все совершенное ею по отношению к Литте было под другими формами, под завесой целого ряда силлогизмов, которыми она была доведена до своего поступка, ей казалось оно иным, но, как только было дано настоящее имя, подчеркнуто то, что она сделала, все изменилось.

Сначала она думала, что патером на исповеди ей было внушено написать это несчастное письмо, но теперь она уверилась, что, вероятно, она поняла не так, как следовало, и что патер не мог внушить ей такой поступок.

Идти сейчас за советом к отцу Груберу? Да он, такой добрый, и высокий человек, ужаснется ее мерзости, пожалуй, не станет и говорить! Нет, лучше сначала загладить вину, а потом уже, смотря по тому, что выйдет из этого...

И к вечеру того же дня Канних была уже вне себя. Мысли ее работали по тому направлению, какое дала им легенда Шульца, и она, уже окончательно расстроенная и растроганная, ждала и не могла дождаться утра, чтобы загладить свою вину.

XX
ПОМОЩЬ

Во всех трудных случаях жизни баронесса Канних обращалась к своей дальней родственнице Лафон, директрисе Смольного института.

Все было в движении в Смольном, когда подъехала туда Канних. Новая императрица только что приезжала сама объявить в монастырь, что институт по воле государя переходит в полное ее ведение. Лафон получила при этом случае назначение статс-дамою и портрет императрицы. Благодаря этому она встретила баронессу, которую вообще не особенно жаловала, в самом лучшем расположении духа.

По дороге от швейцарской до квартиры Лафон баронесса уже успела разузнать все новости и вошла к старушке с приветствием и поздравлением на устах.

— Поздравляю, поздравляю вас от души! — сказала она, целуя старушку Лафон в обе щеки, которые та под-

ставляла ей, стараясь не смять своего тюлевого чепца и торчавших из-под него по сторонам двух седых буклей.

— Благодарю вас,— ответила Лафон.— А у нас только что была ее величество и изволила объявить, что наш несравненный государь...

— Знаю, знаю,— перебила ее баронесса,— вы, кажется, ожили совсем?

Лафон была больна в последнее время.

— Да, слава Богу,— подняла она взор к небу.— Мне теперь так хорошо и я так рада!..

— А я к вам по делу, по очень серьезному делу,— начала баронесса и, как бы боясь отнимать у директрисы время, дорогое для нее ввиду ее сложных обязанностей, прямо приступила к рассказу.

Таинственным шепотом, с жалостным наклонением головы Канних рассказала, что имела неосторожность обратиться к князю Зубову по поводу своей переписки с графом Литтою и теперь боится, как бы из этого не вышло каких-нибудь неприятностей.

Лафон, отлично знавшая через своих бывших воспитанниц, все, что делалось при дворе, при имени Литты насторожила уши и сделалась очень внимательна. Она сразу стала лучше относиться к баронессе, услыхав, что та имеет дела с такими людьми, как мальтийский кавалер, к которому Павел Петрович всегда относился благосклонно.

— Да, это — очень серьезное дело,— проговорила она.— Спешите, мой друг,— она впервые в жизни теперь называла так баронессу,— спешите поправить... Сама я не могу помочь вам в данном случае, но укажу вам путь, который приведет вас к цели.

Лафон дернула сонетку. В комнате появилась горничная девушка.

— Узнайте,— приказала директриса,— можно ли видеть Екатерину Ивановну?

Девушка, ответив: «Слушаю-с»,— ушла.

— Это — Нелидова? — спросила Канних.

— Да, мой друг, фрейлина Нелидова. Ах, это — такое идеальное существо! Она живет теперь у нас в Смольном, бывшая наша институтка. Государыня и государь связаны с нею самою чистою, искреннею дружбой. Да, это — такая девушка, которую нельзя не полюбить! Впрочем, вы увидите сами. Я попрошу вас пройти прямо к ней, вы передадите ей ваше дело и потом придете ко мне рассказать о результате. Впрочем, я уверена, что он будет благополучный... Я вам сейчас напишу несколько строк.

Записка была готова, когда вернулась горничная и доложила, что Екатерина Ивановна «просят».

Маленькая, чистая комната, где жила Нелидова [1] и куда вела горничная баронессу, была так проста, как монашеская келья. Все изящество ее состояло в удивительной чистоте, которою все тут дышало.

Сама Нелидова была невысокого роста и некрасива, однако с первого же взгляда казалась личностью до того симпатичною и светлою, что всякий, кто разговаривал с нею, навсегда оставался под обаянием этой симпатии и света.

И баронесса сейчас же почувствовала к ней особенное доверие и любовь.

— Maman [2] говорит, что у вас есть дело ко мне? — спросила своим чудным голосом Нелидова, пробежав записку, которую подала ей Канних.

Баронесса, собравшаяся было разыграть пред фрейлиной светскую барыню, сразу увидела, что тут всякое жеманство неуместно, и мало того — ей как-то самой было легко стать простою и искреннею: такое впечатление произвела на нее Нелидова. И вот она начала говорить сдержанно, щадя себя и стараясь придать делу наиболее для себя выгодный оборот, но мало-помалу незаметно становилась все более и более откровенною.

Нелидова почти не перебивала ее: она внимательно слушала и только изредка делала вопросы так душевно, так дружески, слово эта, в сущности Бог весть откуда появившаяся для нее, Канних была родственно близка ей.

Баронесса волновалась и невольно тоже забывала, что говорит с совсем чужой женщиною, и, увлекаясь, высказывалась, и ей самой становилось легче. Она начала о письмах, потом как-то само собою перешла на рассказ о костюмированном бале в Эрмитаже и даже на последний разго-

---

[1] Екатерина Ивановна Нелидова (1756—1839 гг.) — камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны. Еще в бытность Павла I великим князем и наследником Е. И. пользовалась его особенным благорасположением; но так как последнее обстоятельство вызвало двусмысленные толки при дворе, то Нелидова в 1793 г. поселилась в Смольном монастыре и жила там до восшествия на престол Павла I. Со дня восшествия Е. И. вновь появилась при дворе и до 1798 г. пользовалась неограниченным могуществом. В 1798 г. появилась Лопухина, и Е. И. снова удалилась в Смольный монастырь.

[2] Мамаша. Все институтки, хотя и кончившие уже курс, звали так госпожу Лафон.

вор свой с Литтою у себя в будуаре. Когда она кончила, то к своему удивлению заметила, что передала не только внешние факты, но и состояние своей души, связанное с этими фактами, словом, рассказала все, не утаив ничего.

— Очень благодарна вам за доверие,— проговорила Нелидова, прощаясь с нею,— вы увидите,— я по крайней мере надеюсь,— что не ошиблись во мне и не раскаетесь, что рассказали мне все без утайки.

И Канних почувствовала, что действительно не жалеет этого.

— Да это — не человек, не женщина,— сказала она Лафон, придя к ней от Нелидовой,— это — волшебница какая-то!.. Она просто очаровала меня.

— Я вам говорила, мой друг, что это — ангел, ангел! — ответила Лафон, подымая взор к небу и оправляя свой тюлевый чепец.

Канних уехала из Смольного с облегченною душою.

XXI

МАЛЕНЬКИЙ УЖИН

Граф Литта получил приказание явиться во дворец к семи с половиною часам вечера, и ровно в назначенный срок вошел во внутренние покои, где оказалось весьма немного народа.

Появление вечером во дворце Литты, не имевшего придворного звания и не принадлежавшего к особам первых трех классов, возбудило невольную тревогу и перешептывания. Растопчин встретился с Литтою очень дружелюбно, Куракин ласково поклонился ему, стоявший с Куракиным какой-то вельможа,— кажется, князь Репнин,— которого Литта встречал прежде мельком и который относился к нему довольно надменно, теперь подошел первый и, сказав несколько общих слов и любезностей, вдруг задушевным голосом спросил Литту:

— А зачем государь приказал вам приехать сегодня? наверное, по делам ордена?

— Право, не могу вам ничего сказать,— пожал плечами Литта,— я знаю не более вас.

Он действительно ничего не знал; в приказании не было сказано, зачем его требовали.

Граф Виельгорский, гофмейстер, подошел к нему и спросил: останется ли он ужинать? Виельгорский по своей

должности обязан был составить список лиц, которые пожелают идти к столу.

— Я, право, не знаю...— начал Литта.

— Да это как вы хотите,— пояснил Виельгорский,— раз вы приглашены, вы имеете право остаться...

— Ну, господа, пожалуйте,— обратился князь Куракин к собравшимся.

И в глубоком молчании все направились в соседнюю комнату, где уже собралась вся царская фамилия. Ближе всех к дверям стоял император. Каждый из входивших делал ему низкий поклон, а затем отходил влево, чтобы дать место следующим.

Государь милостиво кивнул Литте, с тем же самым добрым выражением своего лица, всегда прекрасного в минуты хорошего расположения духа, какое тот знал в Гатчине.

«Да,— подумал Литта,— он не изменился, он такой же, каким и был».

Когда поклоны кончились, государь стал разговаривать то с тем, то с другим. Императрица Мария Федоровна села за партию бостона с князем Репниным, вице-канцлером Куракиным и графом Николаем Румянцевым. Она сидела на софе, государь — справа от нее, а великий князь Александр — рядом с отцом в кресле; далее великий князь Константин и прочие по чинам. Замужние великие княгини сидели по другую сторону императрицы, а великие княжны с госпожою Ливен за особым круглым столом занимались рукоделием.

Разговор вел один государь. Ему или просто отвечали, или разъясняли подробности того, о чем он спрашивал. Кто раз сел, не мог уже подняться, и это несколько тяжелое требование этикета прекращалось, лишь когда приглашали к ужину.

Стол был накрыт на небольшое число кувертов, и здесь, за этим столом, Павел Петрович явился тем же простым и любезным хозяином, каким бывал в Гатчине.

Ужин кончился. Все снова перешли в другую комнату, но здесь уже стеснения не было. Всякий говорил, с кем хотел и как хотел.

Литта, сидевший за ужином рядом с Куракиным, продолжал с ним начатый разговор о Мальтийском ордене. Он все еще не знал, зачем его призвали сюда, и решил, что это было просто знаком царской милости и внимания и что, вероятно, скоро придется откланяться и уехать. Однако, разговаривая с князем, он невольно следил глазами за го-

сударем — невольно потому, что это делали все, и он вместе с другими поддавался этому влечению.

И вдруг он увидел, что государь остановил прямо на нем свой взгляд и как бы подозвал его к себе этим взглядом.

Литта подошел к Павлу Петровичу. Государь ласково взглянул на него и, отводя его несколько в сторону, положил на его плечо руку, а затем с улыбкою проговорил:

— Я смотрю на ваш красный супервест и думаю об одном странном совпадении: красный цвет вашего ордена — защитника и поборника монархии — избран, как нарочно, цветом французской революции.

— Может быть, это — признак, что она погибает,— заметил Литта.

— Она должна погибнуть,— подхватил Павел Петрович,— должна потому, что только самодержавная власть может быть истинною и справедливою, хотя бы вследствие того только, что самой ей желать нечего... А вы,— добавил он вдруг,— кажется, любите ваш красный цвет?

— Я его ношу по установленной форме,— ответил Литта, удивляясь вопросу.— Впрочем, наш супервест очень красив...

— И красное домино тоже,— сказал Павел Петрович как бы вскользь.

«Красное домино? — подумал Литта.— Что же это, на что он намекает? Или он все знает?»

И, давно изучив характер Павла, он понял, что с ним можно говорить только прямо и откровенно, и потому сразу ответил:

— Ваше величество говорите о красном домино баронессы... Канних?..

— Да, кажется, так ее фамилия. Я все знаю, мой друг! Вот видите ли, когда я раз чувствую доверие к человеку, оно может подвергаться долгим испытаниям, пока я не разуверюсь. Вас я всегда знал за достойного рыцаря, и этого довольно.

— Я думаю, и на этот раз ваше величество видели, что я остался тем же братом ордена...

— Говорю вам, я все знаю,— перебил его государь.— У Зубова в числе переданных бумаг было и ваше дело...

Литта опустил глаза и спокойно, молча ждал, что будет дальше.

— Оно было разобрано генерал-прокурором.

Литта посмотрел на Куракина, который с самым бесстрастным лицом следил теперь за ними, как будто и не подозревал ни о каком деле.

— Какая все это была гадость! — продолжал Павел Петрович, горячась и повторяя не раз приходившие в голову Литты слова.— Какая гадость!.. Ваш камердинер сознался, что подложил письма, и повторил точь-в-точь все, как было, и согласно тому, как изложено в вашей записке. Это — полное доказательство вашей невиновности, в которой, впрочем, я и не сомневался,— государь протянул Литте руку.

— Не знаю, как благодарить ваше величество,— ответил тот.

— Не благодарите, не за что! — перебил Павел Петрович (по мере того, как он начинал волноваться, он говорил все отрывистей, бросая отдельные фразы).— Мы виноваты за наши порядки, что держали вас так долго в незаслуженном подозрении... Я — должник ваш теперь...

— Ваше величество, я вознагражден уже возвратом вашего доверия.

— Вы лишились ваших земель в Италии? — спросил Павел Петрович, сдвинув брови, как бы не замечая слов Литты.

Граф печально опустил голову.

— Я вам даю у себя командорство с десятью тысячами рублей годового дохода. Вы представите мне свои верительные грамоты, как посол Мальтийского ордена. Для решения вопроса об Острожской ординации и для заключения конвенции о ней с вами я уже назначил князя Куракина и графа Безбородко. Эта ординация поступит в ваше ведение... Довольны вы?..

Литта тяжело вздохнул и еще ниже опустил свою красивую, мужественную голову. Его осыпали милостями, делали его снова богатым человеком, но к чему все это было для него?

Павел Петрович знал причину его грусти и следил за выражением его лица, и то, что на этом лице не показалось и признака радости при получении этих вещественных благ, видимо, доставило ему еще большее удовольствие. Он снова стал весел и, снова ласково положив руку на плечо Литте, тихо спросил:

— Скажите, вы все еще любите ее?

Невольная дрожь пробежала по всему телу Литты. Он не знал, что ответить.

Государь отвел его еще дальше в сторону и еще тише заговорил с ним, так, чтобы никто не мог не только слышать, но и догадаться, о чем они говорят.

XXII

ПРИГЛАШЕНИЕ КО ДВОРУ

Графиня Браницкая приехала навестить больную сестру, у которой бывала почти каждый день.

Скавронская сидела в большом кресле с высокою спинкою, протянув свои маленькие ножки на низкую подушку бархатного табурета. Рядом на столике стояли банки и склянки с лекарствами. Няня с вечным своим чулком сидела поодаль.

— Ну, здравствуй! Как ты себя чувствуешь? Лучше? — спросила Браницкая, целуя сестру.— Ну, ничего,— протянула она успокоительно, вглядываясь в бледное, похудевшее личико графини Скавронской,— обойдется, Бог даст...

Няня в это время украдкой сделала у себя на груди крестное знамение.

Браницкая, видимо, старалась подбодрить больную, и Скавронская грустно улыбнулась, как бы понимая это старание ее.

— Ах, Саша, все одно и то же! — тихо проговорила она, откладывая на столик книгу, которую читала.— Просто сил моих нет.

— Как одно и то же? — подхватила Александра Васильевна, стараясь быть веселой и развеселить хоть немного сестру.— Помилуй, новостей у нас целый короб... Ты знаешь,— заговорила она с тем оживлением, с каким обыкновенно говорят с больными или рассказывают сказку детям,— генерал-губернатор Архаров велел от имени государя, думая этим сделать ему сюрприз, выкрасить в Петербурге все ворота и даже садовые заборы полосами черной, оранжевой и белой краски, на манер казенных шлагбаумов. Государь, узнав об этом «глупом», как он сказал, приказании, ужасно рассердился, и Архаров слетел с места. С ним вместе тоже выгнали со службы полицеймейстера Чулкова за его безобразные распоряжения, вследствие которых сено страшно вздорожало. И вот на них теперь ходит преуморительная карикатура... мне обещали достать ее, я привезу тебе... Нарисовано: Архаров лежит в гробу, выкрашенном полосами, как шлагбаумы, по четырем углам горят уличные фонари нового образца, а рядом стоит в полной форме Чулков, плачет и вытирает глаза сеном... и они ужасно похожи...

Скавронская слушала рассеянно и даже не улыбнулась на рассказ сестры.

— А это что у тебя? — меняя тон, вдруг спросила та, показывая на лежавший на столике билет.

— Приглашение от двора — явиться в среду к завтраку... К высочайшему столу.

Браницкая с некоторым удивлением взяла билет. Это было действительно приглашение статс-даме графине Скавронской.

— Ты поедешь? — спросила она.

— Нет, где же мне! — вздохнула Скавронская.

— И не думай отказываться,— замахала на нее руками Браницкая,— и не думай! Ты знаешь, это — особенная честь, и, если только тебя там не будет, я не знаю, что из этого выйдет... Нынче такие строгости.

— Да ведь я же больна совсем.

— Хоть бы при смерти была,— перебила ее Браницкая.— Раз у государя сказано — нужно исполнить... Ты посмотри, что с конным полком делают... Нет, это и думать нельзя! — закачала она головою.

— Да как же это, ваше сиятельство?— заговорила вдруг няня, молчавшая до сих пор.— Графинюшке и двинуться-то нельзя, и вдруг во дворец поезжай?

— Такие уж порядки, няня. Хуже будет, если не поедет.

— Господи, да зачем я им? — раздраженно протянула Екатерина Васильевна.— Зачем?

— Ну, уж многое нынче делается, и не поймешь зачем, хотя, правда, всегда так выходит, что почему-нибудь оно и нужно. Но только не ехать тебе нельзя... Да ведь ты и не умирающая еще, слава Богу!

— Полноте, ваше сиятельство! — опять вставила няня.— Краше в гроб кладут, право!

— Ну, Бог даст, до гроба-то далеко еще! — заметила Александра Васильевна.— А ехать все-таки ты должна.

— Ну, уж порядки,— ворчала няня,— где ж это видано, чтобы больного ребенка,— в пылу горячности она до сих пор еще называла так иногда свою графинюшку,— подымать чуть не с постели? Что же это? Какие же времена настали, Господи?

Скавронская в это время начала пристально всматриваться в лицо сестры.

— Саша! — произнесла она, вдруг привставая.— У тебя что-то есть, ты неспроста приехала сегодня ко мне, ты словно готовишь меня к чему-то.

Несмотря на то, что они долгое время жили врозь, они не разучились понимать друг друга без слов так, как

понимали в детстве, когда жили одною жизнью. Скавронская догадалась, что у сестры есть что-то, и по ее слишком оживленному лицу, и по разговору, более поспешному, чем обыкновенно, и вообще по глазам ее, по всему,— словом, она была уверена теперь, что Браницкая приехала ей сообщить что-то очень важное.

— Саша, что такое? — переспросила она.— Есть ведь что-то?

Сестра кивнула головою.

— Ну, ну, говори,— вдруг оживилась Екатерина Васильевна,— говори! Что?

— И очень хорошее! — ответила сестра.— Не могла ж я тебе так сразу бухнуть. Государь...

— Что государь? — повторила графиня.

Она вытянула шею, и сердце ее билось так сильно, что удары его были, казалось, сплошны.

Няня, испуганно глядя на нее, забеспокоилась и подошла к ней.

— Желает вашего брака,— докончила Браницкая.

Екатерина Васильевна снова откинулась беспомощно на спинку кресла и, слабо махнув рукой, проговорила:

— Все-таки этого нельзя, это невозможно!

— Возможно,— сказала Браницкая.

Как ни осторожно подготовляла она сестру, она невольно испугалась действия, произведенного этим ее словом. Скавронская вся задрожала, голова ее закинулась, руки конвульсивно сжались.

— Катя, опомнись, дорогая! — заговорила Александра Васильевна.— Что ты! Теперь, когда все, может быть, кончится благополучно, когда есть надежда, более чем надежда, и вдруг ты...

Она боялась, что с сестрою сделается обморок или еще хуже что-нибудь.

Но Скавронская вдруг закрыла лицо руками и прошептала отрывисто, нервно, нетерпеливо:

— Говори, говори же, не мучь!

— Слушай! Государь призвал его вечером во дворец к маленькому ужину. Ты знаешь, они видались в Гатчине, и там государь узнал его. Он давно уже рассказал ему все... И вот государь призвал его к себе, после ужина отвел в сторону и заговорил с ним. Он будет принят посланником. Потом ему дают командорство в десять тысяч рублей ежегодного дохода, потом государь напомнил ему один параграф их статута,—государь отлично знает этот статут,— по которому в орден могут быть приняты и женщины.

Скавронская часто, но легко дышала, и давно не показывавшийся на ее щеках румянец начал покрывать их алою краской.

— Ну, ну,— воскликнула она, удерживая свой дрожащий подбородок.

— Кроме того, их устав, по которому они не могут вступить в брак, утвержден папою... значит, будет вполне законно, если папа сам даст разрешение и позволит, не в пример другим, жениться графу Литте...

— Но разве он сделает это?

— Государь сам будет просить папу об этом и обещал ничего не пожалеть, чтобы разрешение было дано; а для папы одной просьбы русского императора достаточно, чтобы все было сделано... Теперь, когда во Франции объявлено безверие господствующей религией, папа должен волей-неволей заискивать даже у православного государя.

— Так ты думаешь, это возможно, Саша? — спросила Скавронская, уже не слушая высших государственных соображений сестры о затруднениях римского первосвященника и думая лишь об одном своем деле.

— Да, возможно, я же тебе говорю.

— Да откуда ты это все знаешь? Кто тебе рассказывал?

— Он сам. Он был у меня такой радостный, веселый... он хотел ехать к тебе, но побоялся сам... просил меня съездить...

— И любит? — вдруг спросила Екатерина Васильевна, сама не зная почему.

— Ну вот! Ты теперь будешь еще в этом сомневаться!

Скавронская привстала, пригнулась к сестре и, охватив ее шею руками, спрятала лицо у нее на груди.

— Нет, Саша, это я так,— заговорила она,— я не знаю, но если б ты только знала, что со мной теперь!

Няня стояла рядом растерянная.

— Няня,— обернулась вдруг к ней графиня,— теперь я поеду на завтрак куда угодно.

— Ты увидишься там с ним,— сказала Браницкая.

— Да, нужно будет велеть приготовить платье, самое лучшее.

— Только бриллиантов надевай поменьше. Государь не любит лишней роскоши.

— О, да, да!.. я все сделаю, что нужно, будь покойна! Но каков государь! Ведь это — ангел, ангел!

— Да, он очень добр к тебе! — со вздохом проговорила Браницкая, вспомнив все милости, которыми осыпала ее покойная государыня.

— Нет, и не говори,— остановила ее Скавронская,— не говори!.. это — не царь, не император, это — именно ангел, да...

И она чувствовала в эту минуту такую любовь, преданность и умиление к государю, могучее слово которого возвращало ей жизнь, что вздох сестры показался ей святотатством, и она зажала ей рот поцелуем.

XXIII

НЕСЧАСТЬЕ С БАРОНЕССОЙ

Великодушный порыв раскаяния баронессы Канних держался недолго, то есть ровно до нового свидания с отцом Грубером.

Иезуит ужаснулся тому, что она сделала, и опять очень ловко доказал ей неуместность ее поездки в Смольный и слишком большую поспешность. Он понимал, что для Литты со вступлением на престол императора Павла труднее всего было бы оправдаться именно от подозрения в каких-то отношениях с какою-то баронессой Канних. Камердинер мог сознаться Куракину, не выдав, впрочем, иезуитов, что он и сделал, так как они сумели запугать его на тот случай, если он вздумает впутать их в обвинение, и, наоборот, обещали свою помощь, если он не выдаст их. Ему нечего было особенно бояться русских властей, потому что он был иностранным подданным. Литта мог заплатить по распискам Абрама, достав денег при изменившихся новых обстоятельствах, но он мог быть потерян навсегда во мнении императора из-за сомнения последнего в вопросе об его отношениях к Канних. И вдруг эта главная опора рушилась теперь! Грубер чуть ли не призвал громы небесные на голову смущенной баронессы, и у нее недостало ни характера, ни сметки возразить отцу-иезуиту. Она снова оказалась в полной его власти, послушным орудием его. Но в то время, пока Грубер обдумывал новый план, каким образом устранить вредного для него человека, Литта был уже осыпан милостями государя, и по крайней мере теперь ему не были страшны никакие ухищрения лукавого иезуита.

Государь ехал по Невскому в санях, рассерженный и недовольный: он только что встретил гвардейского офицера с муфтой и отправил его на гауптвахту.

Привычка у офицеров гвардии выходить зимою с муфточками до того укоренилась в екатерининское время,

что когда Павел I запретил их употребление, то казалось странным, удивительным и невозможным не то, что гвардейские офицеры пользовались чисто дамскою принадлежностью, но то, что им запрещали делать это.

Дамы носили тогда такие фижмы, что, когда они садились в карету, то по обеим сторонам в окна торчали их платья, не умещавшиеся внутри экипажа. Заметив это безобразие и зная, что только крутою мерою можно побороть рабскую склонность дам к велениям моды, Павел I приказал каждой даме при встрече с ним выходить на подножку кареты, что никак нельзя было сделать в огромных фижмах.

Государь ехал по Невскому и поравнялся с огромною каретою, из обоих окон которой торчали безобразные фижмы.

— Стой! — остановил Павел кучера.

Один из стоявших на запятках кареты гайдуков, засуетившись, соскочил и, бросившись к дверям кареты, распахнул их.

Несчастная дама билась в своих фижмах, внутри кареты, торопясь, путаясь и от этого еще более лишая себя возможности выйти скорей. Наконец после нескольких отчаянных усилий ей удалось вырваться, причем платье ее затрещало в двух местах, и она, густо нарумяненная, показалась вне себя от испуга на подножке, оробела еще больше и соскочила на самый снег.

Сцена была очень смешна, и, может быть, государь в другое время ограничился бы испугом дамы в виде наказания для нее, но неповиновение, которое он встречал сегодня с утра, вывело его из терпения.

— Как фамилия? — спросил он даму.

— Баронесса Канних, — ответила та, приседая на снегу.

Павел наморщил брови — что-то знакомое было в этой фамилии.

— В двадцать четыре часа из Петербурга! — приказал он и, обратившись к кучеру, добавил: — Пошел!

Кучер дернул вожжами, и сани государя понеслись дальше.

XXIV

ЗАВТРАК

Торжественно в своей золотой карете въезжал граф Литта в Петербург из Гатчины, куда несколько месяцев назад уехал почти беглецом, едва не опозоренный опутавшей его клеветой. Во дворце его ждала аудиенция, во время кото-

рой он должен был вручить свои верительные грамоты посла державного Мальтийского ордена. Но, кроме почета царской милости и возвышения, там, в этом дворце, его ждала теперь жизнь его, радость и счастье. Он знал, что увидится сегодня с нею, и увидится как нареченный жених.

Сидя в карете, Литта закрыл глаза и, забыв и о предстоящей аудиенции, и о своих грамотах, стал думать лишь о Скавронской и о свидании с нею. Потом он достал из кармана полученное только что, пред отъездом, письмо от Ветуса, чтобы еще раз перечесть его.

«Дни Вашего испытания кончились,— писал старик.— Теперь Вы вступаете в период счастия, который уготован и здесь, на земле, для каждого человека. Всякий живущий имеет свое горе и свои радости. Дай Вам Бог, чтобы Ваша радость была так же сильна, как было трудно испытание. Любите свою будущую красавицу-жену— Вы заслужили право на нее... Будьте же счастливы и помните старика, с которым, может, увидитесь еще, но не скоро. Неотложные дела в других местах заставляют меня оставить Россию; когда это письмо дойдет до Вас, меня уже не будет в Петербурге».

Под письмом стояла подпись бриллиантщика Шульца.

Было довольно холодно, но Литта не чувствовал этого. Напротив, он распахнул шубу и при этом вспомнил о своем кресте и о цепи. Крест Лаваллеты блестел на его груди чудною игрою дорогих бриллиантов.

Литта вспомнил, как два раза этот крест случайно предостерег его, и стал теперь всматриваться в него, не станут ли опять заметны буквы. Он взял в руки крест, повернул его к свету, и вдруг снова блеснула в нем таинственная надпись. Но только теперь она состояла из трех букв; первое «с» Литта не мог разобрать. Фигура мелких бриллиантиков ясно вырисовывалась в слово «ave» — что значило «здравствуй»; это было приветствие, пожелание, выражение радости. Литта тщательно стал разглядывать снова — не разглядит ли страшное слово предостережения «cave», но нет: крест сиял своим, почти ослепительным блеском и в нем ясно читалось приветствие.

Скавронская приехала во дворец одна к назначенному часу. Подъезжая, она видела у большого подъезда золотую карету, в которой, вероятно, явился новый мальтийский посланник. Графиню провели на половину государыни, где она должна была представиться ее величеству и великим княжнам. Она еще была очень бледна и болезненно худа, но признаков расстройства ее уже не было. С самого разговора с сестрою она словно вся ожила, стала другим человеком.

«Однако какая я желтая! — подумала она, проходя мимо зеркала и заглядывая в него.— Впрочем, он и такою увидит меня с радостью, должен увидеть! А все-таки жаль!» — сейчас же мелькнуло у ней опять.

Румян и белил она, не употреблявшая их никогда, не хотела положить и сегодня, несмотря на настояние модисток и сестры, приехавшей одевать ее.

Няня пошла пешком к монастырю св. Сергия (в двадцати верстах от Петербурга).

Когда представление кончилось, графиня, сопровождая государыню и великих княжон, вместе с дежурною фрейлиною направилась в столовую. Оказалось, что она была приглашена к интимному завтраку царской семьи. Никого из посторонних, кроме нее, не было; мало того — ей сказали, что она на сегодня назначена дежурною статс-дамою.

И тут-то сердце Екатерины Васильевны сжалось — вдруг она не увидит Литты, вдруг эти долгие минуты, которые кажутся ей часами и которые она считает с нетерпением, протянутся еще дольше, и его не будет за завтраком, он не будет приглашен.

Но в это время двери с противоположной стороны столовой распахнулись, и своею быстрою походкой вошел государь. За ним следовали великий князь Александр, Кутайсов и граф Литта, который после аудиенции был приглашен к завтраку.

Он не мог подойти к Скавронской, она не смела двинуться к нему — этикет, связывавший их, не позволял сделать это; но поклон, которым они обменялись издали, но выражение их лиц в эту минуту были замечены всеми. Вся царская семья знала, что присутствует при зарождающемся счастье двух людей, которым государь дарует это счастье и радость.

Сели за стол.

Ни Литта, ни Скавронская ничего не ели. Они, казалось, не замечали ничего — были не здесь, не на земле. Государь несколько раз взглядывал на них с улыбкою.

— Я пью за вас,— проговорил он,— и за ваше будущее счастье, устроить которое я беру на себя...

ЭПИЛОГ

Прошло два года. Граф Литта был уже женат: папа дал разрешение на его брак, его долгие ожидания наконец сбылись и несчастья кончились.

Свадьба была отпразднована торжественно, в присутствии царской фамилии и всего Петербурга. Графиня Браницкая была посаженою матерью сестры. Но больше всех, искреннее всех радовалась счастью графини ее старушка-няня. Конюх Дмитрий оставил свою службу в кондитерской Гидля и, вспомнив свое старое дело, поступил снова в кучера к графу. Нужно было видеть, с каким торжеством и величием сидел он, сияя радостью, на козлах, когда вез «молодых» из-под венца.

«Молодые» поселились в бывшем богатом доме Скавронских, на Миллионной. Литта снова вступил в русскую службу и стал одним из приближенных императора Павла.

Судьба Мальтийского ордена сильно изменилась. Достойный отец Роган умер, и на его место был избран великим магистром барон Гомпеш, в котором орден думал найти опору против враждебной республиканской Франции. Но вместе с тем орден приобрел могущественного покровителя в лице русского императора. Государю были поднесены титул протектора и знаки высшего креста. Вместе с этим получили орденское звание и некоторые из русских вельмож.

В 1798 году Мальта была взята Наполеоном, отправлявшимся в экспедицию в Египет. Причиной этого были малодушие и неумение барона Гомпеша.

Все тайные бумаги, архив ордена и его библиотека были взяты Наполеоном, но на судне, на котором помещалось все это, произошел взрыв порохового склада, и все бумаги погибли, а вместе с ними и мистическое значение ордена.

Однако император Павел не пожелал уничтожения этого ордена. Русские и иностранные рыцари ходатайствовали о принятии им звания великого магистра, и он принял этот титул 24-го ноября 1798 года. Весь корпус кавалеров торжественно поднес ему корону и регалии нового сана. Император ответил особым актом, прочтенным князем Безбородко (ему было пожаловано уже княжеское достоинство). Затем все кавалеры приблизились к престолу с коленопреклонением и принесли новому гроссмейстеру присягу в верности и повиновении.

Новый орден был возложен на великих княгинь и княжон, а также на некоторых придворных дам, в числе которых была и молодая графиня Литта. Декларациею, обнародованною в Европе, дворяне всех христианских стран приглашались ко вступлению в орден. В Мальту же, которая должна была опять сделаться достоянием ордена, император назначил коменданта и русский гарнизон из трех тысяч человек.

Русский самодержавный монарх видел в принятом им под свое покровительство Мальтийском ордене оплот против вспыхнувшего во Франции революционного движения. Само собою разумеется, сам он не мог вступать в мелочи управления дел ордена, и вот явилась надобность в человеке опытном, умном и энергичном, которому бы он мог поручить эти дела. Потребовался вождь — и таковым явился граф Литта, назначенный теперь наместником великого магистра.

Литта сидел за составлением записки по приказанию Павла о допущении в орден лиц, выдвинувшихся на общественном поприще своими личными заслугами. Таких людей желательно было привлечь в орден, в который до сих пор могли вступать только лица, имевшие за собою определенное число лет дворянства в своем роду.

Литта составлял подробную записку об этом. Он сидел один в своем кабинете. Жены не было дома. Она приходила проститься с ним, веселая, счастливая, и уехала куда-то. Литта сел заниматься.

Он долго писал, согнувшись над своим бюро, потом встал, достал из книжного шкафа книгу и, развернув ее, стал отыскивать цитату, которою хотел подкрепить свои соображения. Книга была Саллюстия, о Югуртинской войне. Граф быстро перелистывал знакомые страницы и наконец нашел XXXV главу. Там Марий говорил между прочим про дворян, гордившихся своими предками и искавших в их заслугах свое благородство:

«Теперь посмотрите, как они несправедливы: то, что они присваивают себе, благодаря заслугам других, не хотят предоставить мне в силу моих собственных заслуг. И все это потому, что я не имею изображений предков, и благородство мое ново. Но не лучше ли заслужить это собственною доблестью, чем запятнать своим поведением благородство, полученное от предков?»

Литта делал эту выписку и вдруг в это время почувствовал, что его «она», любимая им жена приблизилась к нему маленькими шагами своих маленьких ножек, чуть слышно ступавших по ковру. Она приблизилась и смело, как власть имеющая, не обращая внимания на его занятие, охватила его голову и прижалась губами к его волосам.

Граф положил перо и радостно взглянул на жену. Прежде не мог выносить, когда ему мешали во время занятия, и малейший шум раздражал его, а теперь «она» врывалась к нему, и это было только счастьем.

«Она» была его женою... ж е н а мешала ему. И Литте казалось, что, наоборот, дело мешало ему быть с нею.

— Опять за своею латынью!—проговорила Екатерина Васильевна, садясь на ручку его кресла.—И не надоест тебе?

— Я нашел прекрасную цитату... совсем то, что мне нужно. Послушай!..—И Литта объяснил жене значение цитаты.

— Да, хорошо,— согласилась она.— Впрочем, мне кажется, что все, что ты делаешь, хорошо.

— Милая,— перебил ее граф,— я знаю только то, что я счастлив, как может быть счастлив человек на земле, да какое на земле!.. это выше... Посмотри,— вдруг сказал он, показывая на начало первого слова цитаты,—это какая буква?

— N,— ответила графиня.

— А эта?—и он показал на первую букву второго слова.

— v...

— Помнишь, я рассказывал тебе о предсказании — «Nuptiae voluptivae»... «желанный брак»? Ведь оно сбылось.

— Да, это — странный старик...— начала было Екатерина Васильевна.

— Нет, вот что странно,— снова перебил граф,— посмотри первые буквы, крайние, с которых начинаются эти строки: q. d. m. p.

— Ну, что ж из этого?

— «Quereretur dux — minister primus»,— проговорил Литта вторую часть полученного им когда-то предсказания.— «Понадобится вождь — первый министр будешь». Да, я — теперь первое лицо в ордене,— задумчиво добавил он.

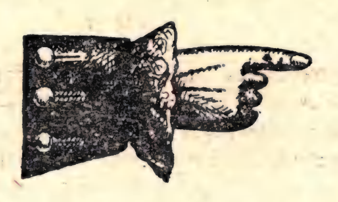
— Я знаю только одно,— сказала ему жена; — что, кем бы ты ни был, я люблю тебя, и ты — мой, и я никому тебя не отдам.

И она снова крепко обвила шею мужа руками.

* * *

Патер Грубер долго еще действовал с успехом в России «к вящей славе Божией». Ему удалось-таки вытеснить митрополита Сестренцевича и если не занять его место вполне, то во всяком случае переехать в его помещение.

Но вот в ночь на 26 марта 1805 года показалось над Петербургом зарево вспыхнувшего на Невском проспекте, в доме католической церкви, пожара. В одном из окон объятого пламенем здания показалась фигура отца Грубера с искаженным от ужаса лицом. Он пытался спастись, но напрасно — пламя и дым отбросили его от окна. Когда пожар кончился, обуглившиеся останки иезуита нашли в тех самых покоях, из которых он вытеснил митрополита Сестренцевича.



ГАМЛЕТ XVIII ВЕКА



I

В мае 1798 года Москва готовилась к приему императора Павла Петровича. В предшествующем году была торжественно отпразднована тут коронация, и в нынешнем государь выразил желание снова посетить первопрестольную столицу.

Москва чистилась и принаряжалась на главных улицах. Тут исправляли мостовые, красили дома и заборы; на бульварах подсаживали деревья. В тупиках же, закоулках и переулках ожидание приезда императора главным образом выражалось в толках и пересудах. Те же толки и пересуды ходили в гостиных богатых домов.

Выдался ранний теплый майский день, и в сад при доме Лидии Алексеевны Радович прилетел соловей.

Этот дом, огромный, каменный, находился почти в центре города, но представлял собою со своим садом, прилегавшими к нему огородами, прудом, надворными строениями и дворовыми избами, целое угодье, как бы усадьбу. Такие усадьбы часто попадались в старой допожарной Москве. Обыкновенно к ним вел от главной улицы особый проезд, вымощенный бревнами и изгибавшийся между обывательскими домами случайными и причудливыми заворотами, оставшимися и до сих пор в московских переулках.

К Радович, чтобы слушать первого соловья, съехалось большое общество. Сидели на широком, выходившем в сад балконе с толстыми колоннами. Был вечер. Сад, покрытый молодою светлою зеленью едва лопнувших из почек листов, кутался в темно-синем тумане. Открывавшийся с балкона вид на разросшиеся кругом деревья с блестевшим

между ними прудом, никак не позволял предполагать, что тут город, да еще столичный. Видневшаяся поверх деревьев верхушка старинной колокольни одна разве указывала, что тут есть церковь, а следовательно, и еще жилье. Солнце золотило красным уже золотом крест колокольни и верхние ветви.

На балконе был подан чай. О соловье забыли, никто не слушал его, да он и не пел в саду.

Хозяйка Лидия Алексеевна, в красном шелковом молдаване с кружевным чепцом на взбитых и припудренных постаринному волосах, сидела в высоком вольтеровском кресле и держала себя с гостями немножко сверху вниз, а гости, видимо, находили, что ей именно подобает ее важность, потому что вели себя пред нею почтительно и скромно. Если она заговаривала,— все умолкали и слушали. Говорили же по преимуществу тот или та, к кому она обращалась.

Важность старухи Радович и некоторое подобострастие, выказываемое пред нею гостями, происходили вовсе не оттого, что она была старше, почтеннее, знатнее, богаче или важнее по положению остальных. Лета ее были не Бог весть какие. Ей было шестьдесят один, не больше, но на вид она казалась даже моложе и бодрее, чем обыкновенно бывают женщины в эти годы. Состояние, которым она распоряжалась, было, правда, порядочное, но до богатства, какое знала старая Москва, от него было очень далеко. Особенно важного положения Радович тоже вовсе не занимала.

Покойный муж ее Иван Степанович происходил из бедных дворян, и все его счастье заключалось в том, что он попал вместе с Гудовичем[1] в приближенные люди к императору Петру III, супругу Екатерины II, и успел получить от своего благодетеля-императора во время его кратковременного царствования хорошую вотчину в Ярославской губернии, дом в Москве, дом в Петербурге и княжеский титул. Все эти земные блага посыпались на скромного и услужливого Радовича по капризу Петра III, без каких-ли-

---

[1] Граф И. В. Гудович (1741—1820) отличился во время борьбы с польскими конфедератами и во второй турецкой войне при Екатерине. За успешную борьбу с горцами он был назначен кавказским генерал-губернатором, а при Александре получил чин генерал-фельдмаршала. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

бо со стороны Ивана Степановича особенных заслуг, разве лишь за его скромность и услужливость.

Иван Степанович отличался робостью, был искателен, тих и, когда счастье улыбнулось ему, женился на Лидии Алексеевне, женился не столько по собственному влечению, сколько потому, что этого пожелала сама Лидия Алексеевна.

Ей было тогда двадцать пять лет — годы, в которые, по тогдашним временам, девушка считалась безнадежно перезревшей. Выйти замуж своевременно ей не позволяли обстоятельства. За дурного жениха идти она не желала, а хорошие не сватались. Не сватались они потому, что Лидия Алексеевна с детства была приучена к роскоши и богатому житью, вкусы у нее и потребности были широкие, а приданого, кроме обширного гардероба, никакого. Отец ее, рано овдовев, прожил свои достатки и существовал казенным жалованьем да долгами. Однако Лидия Алексеевна не теряла надежды выйти замуж и, когда подвернулся взысканный милостью Петра III Радович, быстро повернула дело и женила его на себе. Свадьба была отпразднована торжественно, сам государь был посаженым отцом.

Однако в тот же год вошла на престол государыня Екатерина II, и тут, при этом восшествии, Лидии Алексеевне удалось чем-то услужить императрице. В знаменитую ночь на 28 июня 1762 года, когда Орлов приехал в карете за Екатериной в Петергоф, чтобы везти ее в Петербург, муж и жена Радовичи не были в Ораниенбауме, где находился Петр III со своими приближенными, а оставались в Петергофе. Вот тут, при спешном отъезде государыни, и успела Лидия Алексеевна услужить ей. Главная же ее заслуга заключалась в том, что она, зная об отъезде Екатерины из Петергофа, не сказала о том даже мужу и не дала знать в Ораниенбаум.

Иван Степанович, после падения Петра III, растерялся и хотел было броситься к императрице, чтобы просить о милости к себе. Лидия Алексеевна удержала его от необдуманных поступков, на которые он был способен в своей растерянности. Она сообразила, что государыня, если бы даже и хотела, не могла выказывать особенные милости к бывшим приближенным Петра III, недовольство которым было общее и переносилось само собой на тех, кого считали его близкими или присными. Значит, думать о новых милостях было безрассудно; нужно было постараться лишь не потерять того, что было приобретено раньше. На это и обратила все свои старания Лидия Алексеевна.

Растерявшийся муж слушался ее беспрекословно, и она заставила его спешно продать дом в Петербурге и уехать в ярославскую вотчину. Радовичи бежали из Петербурга и спрятали пожалованный Петром III княжеский титул, не решаясь воспользоваться им и оставив не выполненными формальности, необходимые для его утверждения за их фамилией. Лидия Алексеевна вполне правильно рассудила, что им не до титула было тогда. Однако на коронацию Екатерины Лидия Алексеевна приезжала в Москву, представлялась государыне и была принята ею милостиво.

В 1764 году у Радовичей родился сын Денис, и в том же году скоропостижно скончался Иван Степанович.

После смерти мужа Лидия Алексеевна переехала в Москву на постоянное жительство и зажила тут, управляя, на правах полной хозяйки, имением, оставшимся после мужа.

II

Прошло тридцать четыре года, и тридцатичетырехлетний Денис Иванович, хотя давно уже вырос и стал совершеннолетним, ни в чем не прекословил матери, не выходил из ее воли и, несмотря на то, что имение и дом принадлежали ему, не смел вмешиваться в дела по управлению ими.

Характером уродился он в отца — был робок, как думали многие, и простоват.

Простоватым считали его по многим причинам. Нелепым казалось, что он уступал матери принадлежавшее ему хозяйское место. Странным было и то, что он, человек, более чем обеспеченный, служил в сенатской канцелярии в Москве и довольствовался там весьма скромною должностью, по-видимому, вовсе не ища такого назначения, где можно было бы получать чины и ничего не делать. Напротив, он, как говорили, работал в канцелярии не хуже обыкновенного чиновника, для которого служебное жалованье являлось единственным источником существования. Мало того, дома занимался он какими-то науками и вместо того, чтобы предаваться свойственным дворянину, имеющему полный достаток, удовольствиям, проводил время за книгами. Никто не видал его ни участником в каком-нибудь кутеже, ни в театре, ни на балу, ни у цыган.

Такое поведение, с точки зрения общественной, разумеется, предосудительным считаться не могло, но и одобрения далеко все-таки не заслуживало. Зачем дворянину сенатская служба и лямка в канцелярии, зачем ему книги и вечное сидение дома, когда он должен управлять своим

имением, то есть, говоря иными словами, тратить в свое удовольствие доходы с них? А между тем Денис Радович имение и дом и все оставил на руках матери, а сам «чудил в сенатской канцелярии и предавался чтению». И Дениса считали чудаком, немножко слабоумным, свихнувшимся человеком.

Занимал он в доме две комнаты в верхнем этаже с дверью на вышку, над балконом, выходившим в сад. Здесь у него было нечто вроде обсерватории, стоял большой телескоп, и здесь он проводил все теплые вечера весною, летом и осенью, хотя и зимой дверь на вышку не замазывалась, снег тут счищали, и Денис гулял. Иногда он запирался у себя наверху на целую неделю, и никто из домашних не видал его, кроме прислуживавшего ему казачка Васьки, который чистил ему платье, приносил обед и ужин и единственно допускался в его комнаты. Комнаты эти никогда не прибирались.

Лидия Алексеевна не трогала сына наверху и к нему туда не заглядывала. Она не препятствовала «чудачествам» Дениса, по-видимому, разделяя мнение относительно его слабоумия. На одном только стояла она твердо: чтобы он пред нею пикнуть не смел; и действительно, Денис Иванович безропотно молчал пред нею, как молчал, бывало, покойный его отец.

Таким образом, властвуя сначала над мужем, потом — над сыном и не зная границ своеволию над крепостными людьми, Лидия Алексеевна держала себя с такою уверенностью в том, что никто ей перечить не смеет, что в это, как бы под влиянием внушения, верили и все, кто знал ее. Правда, со строптивыми людьми, желавшими пред нею иметь свое собственное суждение, она не зналась вовсе и не принимала таких у себя.

— Государь,— рассказывала она гостям на балконе,— остановится в своем новом Слободском дворце. Это — бывший дом графа Алексея Петровича Бестужева. Государыня Екатерина купила его у сына графа Алексея — Андрея и подарила князю Безбородке, а тот в прошлом году, когда государь приезжал сюда на коронацию, сделал фортель. Государь смотрел из окна на сад пред домом и изволил заметить, что недурной бы плац вышел для парада на месте этого сада. Князь Безбородко в одну ночь велел снести сад, и на другое утро государь увидел готовый плац. Это ему так понравилось, что он купил дом у Безбородки и велел отделать его под дворец и приготовить к нынешнему своему посещению Москвы. Говорят, чудо роскоши...

Хотя все отлично знали не только историю нового Слободского дворца, но и «фортель» князя Безбородки, и даже то, что над устройством этого дворца спешно работали тысяча шестьсот человек даже ночью, при свечах, чтобы поспеть к приезду императора Павла, все гости Лидии Алексеевны сделали вид, что ее сообщение ново для них и интересно, хотя об этом говорили давным-давно повсюду, и сама же Лидия Алексеевна рассказывала это не раз.

Одна только наивная Анна Петровна Оплаксина, вечно все путавшая, вставила свое слово:

— Как же, мне что-то говорили такое... В одну ночь и вдруг плац-парад — это как в сказке... Великолепно!..

— Ничего великолепного нет,— строго остановила ее Лидия Алексеевна,— пустая трата денег и больше ничего. Уж если сама государыня императрица Екатерина не делала этого...

Лидия Алексеевна в прошлом году сильно надеялась, что ей будут оказаны царские милости во время коронации, как вдове бывшего приближенного к отцу государя, но ошиблась в расчете и потому присоединилась к общему голосу недовольства на крутой поворот в режиме, сделанный императором Павлом после распущенности, к которой привыкли прежде.

Анна Петровна, сунувшаяся некстати со своею похвалой, сконфузилась и умолкла.

— Как же вы говорите «великолепно»,— сейчас же накинулась на нее другая гостья.— Вот мне Жюли пишет из Петербурга, что нынче зимой гвардейским офицерам запретили с муфтами в холод ездить, и ее сын, «князь» Николай, чуть не отморозил себе руки!.. А вы говорите «великолепно!».

Эта другая гостья была известная всей Москве тетушка Марья Львовна Курослепова, у которой было бесчисленное количество племянников в Петербурге, и обо всех она тревожилась, хлопотала и заботилась. Маленькая, круглая, вечно суетливая, до всего ей было дело, и во все она совалась.

— Впрочем, я ничего не говорю,— стала оправдываться Анна Петровна,— я вовсе не нахожу всего великолепным. Помилуйте, нынче я просила для моего калужского попа набрюшник...

— Набедренник, ma tante,— поправила ее племянница, сидевшая рядом с нею, некрасивая старая дева, которую она вывозила, но безуспешно.

— Ну, все равно, набедренник,— продолжала Анна Петровна,— и представьте себе, мне вдруг говорят, что теперь это должно зависеть от духовного начальства, а вовсе не от меня. Какая же я после этого помещица?

— Да и в самом деле, какая вы помещица! — заявила Лидия Алексеевна.— Вы, я думаю, и озимых-то от яровых не отличите.

— Ну, вот еще! — обиделась Анна Петровна.—Я отлично знаю: озимые — это черный хлеб, а яровые — белый...

Все засмеялись...

— Прекрасно, прекрасно! — густым басом не то одобрил, не то сыронизировал Андрей Силыч Вавилов, генерал-поручик в отставке, единственный мужчина, находившийся в собравшемся у Радович обществе на балконе.

Андрей Силыч всюду бывал и держал себя с необыкновенным достоинством, даже гордо, но никогда не оскорблял никого, потому что, кроме своего излюбленного слова «прекрасно», ничего не говорил. Он и здоровался и прощался, и когда рассказывал что-нибудь или выражал сочувствие или даже порицание,— неизменно повторял одно только «прекрасно», не придавая даже различных оттенков произношению, а усвоив себе раз навсегда одно какое-то общее произношение октавой вниз, которое можно было принимать как угодно: и за иронию, и за одобрение, и за насмешку, и вместе с тем за выражение полного удовольствия.

— Теперь тоже вот мне пишут из Петербурга,— забеспокоилась опять Марья Львовна,— что все дамы должны выходить на подножку кареты при встрече с Павлом Петровичем и делать ему реверанс.

— Как же это, и у нас в Москве то же самое будет? Да ведь у нас грязь на улицах.

Марья Львовна была права. Грязь с московских улиц издавна, еще со времен Алексея Михайловича, собиралась на удобрение царских садов и была такова, что нередко из-за нее отменялись крестные ходы даже в Кремле.

— А правда, что император собирался сам служить обедню? — спросила вдруг Анна Петровна.

Марья Львовна вздрогнула и испуганно встрепенулась. Это было новостью для нее, а она при всякой новости вздрагивала, пугалась и, как воробей на заборе, настораживалась.

— Да не может быть! — ужаснулась она, не веря, однако, и думая, что Анна Петровна по своей привычке, вероятно, что-нибудь спутала...

— Это верно! — подтвердила старая дева, племянница Оплаксиной.

— Верно,— сказала и Лидия Алексеевна,— я доподлинно знаю, что и архиерейское облачение было уже сшито для Павла Петровича. Только Куракины отговорили.

— А я слышала, что это сделали Нелидова с государыней,— вставила Анна Петровна, довольная на этот раз своим успехом.

— Куракины! — грозно обернулась в ее сторону Лидия Алексеевна, и та снова притихла.

— О, Господи! — вздохнула молчавшая до сих пор Людмила Даниловна, мать двух толстых девиц, одну из которых она в тайнике своих дум мечтала выдать замуж за Дениса Ивановича и потому усердно возила их и сама ездила на поклон к старухе Радович.

За маменькой сейчас же вздохнули обе толстые девицы и тоже сказали:

— О, Господи!..

Генерал-поручик мотнул головой и прорычал:

— Прекрасно!..

— Повсюду доносы,— сердито начала Лидия Алексеевна,— даже на холопские жалобы обращается внимание, и для облегчения ябед в Петербурге во дворце сделан ящик, куда всякий может класть письма прямо государю. До сих пор только дворяне имели право писать прямо государю, а нынче — все.

— Прекрасно! — повторил Вавилов.

Лидия Алексеевна обернулась в его сторону, как бы спрашивая, что именно он осмеливается находить тут прекрасным, но генерал-поручик светло и ясно глянул ей в глаза, и вышло так, что прекрасным он, собственно, считает, что дворяне имели право писать государю до сих пор, а что нового, то есть что теперь пишут все, он вовсе не одобряет.

Лидия Алексеевна успокоилась.

— А фраки! — воскликнула Марья Львовна,— фраки запретили носить военным. Нынче, не угодно ли, в мундире постоянно ходят. Даже в гостиной. Разве гостиная — казарма? Мне племянник пишет из Петербурга, фельдмаршалы на параде в одном мундире во всякую погоду маршируют, старики!

— Это — уже последняя капля в море! — серьезно заметила Анна Петровна.

— В чаше, ma tante! — поправила ее племянница.

— В какой чашке? — не поняла та.

— В суповой! — проворчала насмешливо Лидия Алексеевна.

Анна Петровна окончательно смутилась, виновато посмотрела на нее, потом на племянницу и, во избежание дальнейших недоразумений, не стала настаивать на объяснениях.

Марья Львовна, словно теперь только рассердившись, начала быстро перебирать спицами своего вязанья, которого никогда не выпускала из рук, и заговорила быстро, в лад заходившим спицам сыпля слова, как будто до сих пор не давали говорить ей, и наконец-то она добилась, чтобы ее прослушали:

— Да помилуйте, ради Бога! Нынче запрещено подавать просьбы со многими подписями, так что дворянам и о своих делах нельзя хлопотать совместно! В одиночку же никто не пойдет... Холопов крепостных к присяге привели на верность! Никогда этого не бывало. Всегда исстари мы за них присягали, и дело с концом. Нынче и дворового не накажи, а не то, того и гляди, под следствие попадешь! Да, знаете ли, до чего дошло? В Петербурге велено все заборы и ворота под цвет будок полосами выкрасить черной, белой и оранжевой красками... Говорят, эти краски так вздорожали, что к ним прицена нет...

Лидия Алексеевна одобрительно кивала головой на речь Марьи Львовны, Анна Петровна слушала и старалась запомнить, что говорили, сидевшая с ней племянница безучастным взглядом уставилась на небо, генерал-поручик имел такое выражение, что вот сейчас произнесет свое «прекрасно».

А маменька двух толстых дочек, Людмила Даниловна, старалась изо всех сил показать, что она понимает и сочувствует, хотя многого решительно не могла взять в толк. Положение ее было в данном случае вполне безнадежно, потому что и объяснить ей хорошенько было некому.

Две ее толстые дочки одинаково с нею скучали, не понимая ничего, и думали лишь об одном: как бы сдержать нескромный зевок, того и гляди готовый заставить широко раздвинуться их челюсти.

Людмила Даниловна никогда в политику не вмешивалась и весь свой век провела в хлопотах чисто домашних. В девичьем же возрасте она была очень сантиментальна и в свое время отличалась тем, что умела говорить по-модному и знала все модные словечки наперечет. Понедельник называла «сереньким», вторник — «пестреньким», сре-

ду — «колетцой», четверг — «медным тазом», пятницу — «сайкой», субботу — «умойся», а воскресенье — «красным».

III

Денис Иванович стоял на своей вышке и, облокотясь на перила, глядел на позолоченную заходящими лучами солнца верхушку колокольни. Снизу к нему доносился разговор на балконе. Сначала он не обращал на него внимания, но потом стал прислушиваться.

Он не терпел несправедливости, даже когда она происходила от вполне искреннего заблуждения. У него, в его думах, успел выработаться и твердо установиться свой собственный взгляд на императора Павла, два года уже правившего Россией, и все, что говорилось внизу, на балконе, не только противоречило этому взгляду, но и было совершенно превратно, неверно и несправедливо, по глубокому убеждению Дениса, основанному на фактах, которые были хорошо известны ему.

У него был как бы некоторый культ, своего рода институтское обожание к Павлу Петровичу, и он уделял часть своих занятий на писание записок о царствовании этого государя, для чего пользовался указами из сената, тщательно списывая наиболее интересные из них.

По мнению Радовича, императора Павла мало знали и мало ценили. Он составлял свои записки не для современников, но для потомства, надеясь, что когда-нибудь они послужат на пользу истины. В минуты увлечения он пытался даже писать историю царствования Павла, забывая, что этому царствованию было всего лишь два года, и что нельзя писать историю, пока живы толки, мелкие сплетни и пересуды современников и, чтобы видеть лес, нужно отойти от него, не то заметишь только отдельные деревья или, что еще хуже, не увидишь ничего больше кустарника.

«Нет, они не то говорят, не то говорят!» — морщась и страдая, думал Денис, вслушиваясь в разговор внизу.

Наконец, он не выдержал, сорвался с места и кинулся бегом по лестнице вниз на балкон.

Появление его, несколько внезапное, довольно шумное и порывистое, произвело некоторый переполох. Прежде всего он сам, очутившись на балконе, как будто смутился в первую минуту. До него долетал только разговор, но, как сидели разговаривавшие, какие у них были лица в это время, он не мог видеть, и теперь, вдруг очутившись среди

них, увидел и смутился. Мать его важно восседала в кресле в углу, выпрямившись и положив руки на локотники, наподобие египетских статуй. Возле нее, немножко поодаль, была маленькая, кругленькая Марья Львовна Курослепова с работой на коленях. Остальные сидели за чайным накрытым столом, уставленным сервизом, вазами и закусками.

При появлении Дениса все обернулись и стали смотреть на него. Марья Львовна умолкла, и вязанье у нее остановилось. Генерал-поручик, бывший ближе других к входной двери, сделал было движение к Денису, как бы желая, в случае чего, остановить его, но сейчас же откинулся на спинку стула и улыбнулся, словно сказал: «Прекрасно!» Толстые дочки сентиментальной мамаши испуганно схватились под столом за руки, а сама мамаша приняла такую позу, что вот сейчас, если это будет нужно, она упадет в обморок. Анна Петровна обомлела, а племянница ее перевела только бесстрастный взгляд, вперенный до сего в небо, на Дениса Ивановича.

Он же почувствовал, что ему нужно сделать или сказать что-нибудь, потому что все ждут этого. Он помотал головою и сказал:

— Неправда!..

Сентиментальная мамаша, немедленно раздумав падать в обморок, привстала, выразив желание исчезнуть. Дочки ее отшатнулись в ее сторону. Марья Львовна оглянулась на Лидию Алексеевну, как бы спрашивая ее: опасно или нет, то есть сын ее совсем сошел с ума, или же он по-прежнему тихий и никого не тронет?

Лидия Алексеевна грозно уставилась на сына, но всей своей фигурой говорила: «Не бойтесь! Если что, так я тут»; и вместе с тем взгляд ее, устремленный на Дениса, хотя и выражал «посмей только», но в нем, где-то сзади, как будто вспыхнуло беспокойство.

— Неправда, все, что вы говорили,— неправда,— повторил Денис.— А затем вдруг его голос сделался необыкновенно тих, вкрадчив и приятен. Он точно ласкал им, желая и прося, чтобы его выслушали и поверили ему.— То есть тут есть и правда,— сейчас же запутался он, как бы ища того русла или желобка, по которому могла бы плавно потечь его речь,— правда, что не позволяют офицерам ходить с муфтой; но какой же военный может бояться холода? Я — не офицер, а никогда муфты не ношу. И ничего!

— Блаженные и босыми зимой ходят,— проворчала Марья Львовна, не любившая Дениса, и снова зашевелила спицами.

Она успокоилась, когда Денис заговорил плавно, а за нею и остальные. В глазах Лидии Алексеевны, все еще строго глядевших на сына, блестела уже одна только угроза.

— И пусть ходят,— продолжал он, избегая взгляда матери,— пусть! И это ничего. А дамам из карет велено выходить для того, чтобы они безобразных фижм не носили. Государь против роскоши. А фижмы такие носят и на платье столько материи расходуют, что из нее три платья можно сшить, и когда дама садилась в карету, то фижмы из окон торчали. Вот государь и велел, чтобы дамы выходили. С фижмами не выйдешь. И перестали носить их.

— А государыня Екатерина не так поступала,— обернулась, перебивая Дениса, Марья Львовна к Лидии Алексеевне.— При ней вышли шляпки безобразного фасона. Она и велела двенадцать баб нарядить в эти шляпки и заставить их мести улицу. После этого никто не надел.

— А разве это хорошо? — спокойно спросил Денис, останавливая этим послышавшийся кругом смешок.— За что же над бабами-то надругались, заставив их выйти на позор в дурацком одеянии? Разве они — не люди? А каково им было? А чем они виноваты? Нет, так нехорошо! А тут просто сами же отвечают те, что носят фижмы! И никогда государь сам обедню служить не собирался. Это вот — уж неправда. Я знаю это. Для него был заказан у духовного портного парчовый далматик, в какой облачаются архиереи, но потому, что это — одеяние грузинских царей, и он хотел надеть его как властитель присоединенной к России Грузии. А сказали, что он обедню хочет служить. Вот вздор! А что ящик для просьб велел государь поставить, так это для того, чтобы всякий доступ к нему имел, а вовсе не для доносов. Военным же своего мундира в гостиных стыдиться не приходится, они умирать идут в нем. Эта одежда почетнее куцего фрака с хвостиками, чтобы, от долгов удирая, было чем след заметать. Красить заборы под цвет будок не государь велел, а его именем полицмейстер Архаров распорядился и за это был отставлен от должности. В том-то и беда, что император Павел не может людей найти себе в помощники, которые бы умело исполняли его волю. А начинания у него самые благие. Видно, что он много думал о пользе России! И посмотрите: с самого восшествия его на престол идут указы, один важнее другого. Нет отрасли государственного хозяйства, о которой он не подумал бы. Восстановлены берг-, мануфактур- и коммерц-коллегии; заведены вновь конские заводы,

разрешено купцам и мещанам торговать не только в рынках и гостиных дворах, но повсюду; впервые в России начали рассчитываться государственные доходы и расходы, а до сих пор никто не знал достоверно, сколько их. Наново разделено государство на губернии и упорядочено управление ими. Духовенство изъято от телесного наказания. В армии введена дисциплина, учреждены медицинские управы; да, куда ни обернись, всюду вводится порядок, всюду чувствуется заботливая рука хозяина. И все это делает император Павел один, потому что нет у него помощников достойных, какие были у императрицы Екатерины! Посмотрите на язык указов императора Павла: сжатость, краткость, нет лишних слов. Говорится одно дело...

— Прекрасно! — произнес генерал-поручик, давно уже молчавший и почувствовавший чисто физическую потребность подать свой голос.

— Ну, вот,— обрадовался Денис, принимая за похвалу себе слово генерал-поручика,— вот я и говорю! А при Екатерине только разглагольствования одни были в указах, и ничего больше... Вот,— он достал из картона бумагу и стал читать,— вот как писали при Екатерине: «Дворянство да прилежает к службе государственной и домостроительству, отчуждаяся от всего противного и предосудительного званию их. Купечество и мещанство да положат в основание торгам и промыслам их добрую веру, честность и благоразумную осторожность противу мечтательных соображений, нередко под льстивыми видами безмерного прибытка подвергающих разорению. Земледельцы да приложат руки к размножению земледелия...»

— Прекрасно! — проговорил на этот раз от души генерал-поручик, искренне прельщенный витиеватым слогом указа.

Денис, никак не ожидавший, что его чтение произведет действие, как раз обратное тому, какое он хотел произвести, перестал читать.

— Что ж тут прекрасного! — обиделся он.— Тут одни пустые слова: «да прилежает», «да положат»... Наговорено много, а дела никакого. Все-таки дворянство не прилежало к службе до тех пор, пока Павел Петрович не заставил его служить как следует и являться вовремя военных на ученье и штатских в присутствие... Торговля была стеснена... Одними словами помогать ей — значило только смеяться.

— Это что ж ты, голубчик? Поскольку я смекаю,— вдруг спросила Марья Львовна, вынув спицу и почесывая

ею за ухом,— ты о покойной императрице с вольностью желаешь рассуждать?..

— Не рассуждать хочу,— пояснил Денис,— а говорю только, что у нее на людей в начале царствования счастье было, а Павлу Петровичу — несчастье.

— Матушка Екатерина умела выбирать их,— наставительно заметила Марья Львовна.— Потемкин, Орловы, Бецкий, Суворов — какие люди-то!..

— Да нет же,— почти крикнул болезненно Денис,— эти сами явились, и Екатерина не выбирала их. Они, скорее, выбрали ее... А что она сама выбрала князя Платона Зубова, например, так он бездарностью был, бездарностью и остался. Кабы она умела выбирать, так Зубова не выбрала бы!

— Да он у вас вольтерьянец! — решила Марья Львовна, обращаясь к Лидии Алексеевне.

При слове «вольтерьянец» на лице Людмилы Даниловны, сантиментальной маменьки толстых дочек, изобразился неподдельный ужас. Хорошенько значения этого слова она не знала, но страшно боялась, потому что со времени своего пребывания еще в институте привыкла считать его не только предосудительным, но и неприличным. Однако остановить Марью Львовну она не посмела и, обернувшись к Денису, сказала, блеснув глазами:

— Мне все равно, но пожалейте невинность!..

И она показала на своих толстых дочек.

Обе «невинности» зарделись, как маков цвет, и стиснули друг другу руку.

— Пошел вон, дурак! — раздался строгий голос Лидии Алексеевны, и на этом закончилось заступничество Дениса и прекратилось его красноречие.

Тридцатичетырехлетний Денис Иванович сморщился, втянул голову в плечи и, ничем не ответив на нанесенное ему матерью оскорбление, повернулся и ушел.

IV

— Ты мне скажи, пожалуйста,— приставала Анна Петровна к племяннице, сидя с ней в карете на обратном пути от Радович,— я не могу в толк взять, о какой чашке вы говорили там?

— Когда, ma tante? — переспросила племянница, смотря в окно поверх низеньких обывательских московских домов на небо, где давно уже зажглись звезды, и ясно обозначился Млечный путь.

Анна Петровна заворочалась в своем углу кареты.

— Какая такая суповая чашка? — заворчала она.— И какие нынче молодые люди на свете объявились! Влетел, как сумасшедший, напугал всех и турусы на колесах, как бобы, разводить начал. Да он и есть сумасшедший. Вот уж подлинно говорится — поставь дурака на колени, он и Богу молиться начнет... Валерия, ты спишь?..

Валерия не спала, но не отвечала на ворчание тетки, не вслушиваясь даже в него. Она смотрела на небо, на звезды, занятая своими собственными мыслями.

Анна Петровна по своему добродушию и по простоте не принадлежала ни к какому особому «приятельскому кружку», имевшему какое-нибудь свое направление или какую-нибудь определенную окраску. Она не только бывала везде (везде бывали все в Москве, и все в Москве знали друг друга), но и считалась приятельницей с самыми различными представительницами крайних направлений. Поэтому на другой день, утром, после проведенного интимного вечера у Радович, Анна Петровна, ничуть не стесняясь, отправилась с племянницей в совершенно противоположный лагерь — к Лопухиным.

Она знала, что Лопухина недолюбливала Лидию Алексеевну, и последняя сторонилась Лопухиных, но считала, что это происходит просто от взаимной их антипатии, а насчет того, к какому лагерю принадлежали, она не задумывалась и не разбирала. Это было слишком сложно для нее, и, наверное, она все бы перепутала.

К Лопухиной она явилась в сопровождении своей неизменной Валерии, с тою же самой радостно-приветливой улыбкой, с какою вошла вчера к Радович, и просидела у нее весь вечер.

Екатерину Николаевну Лопухину, рожденную Шетневу, она знала, когда та была еще девочкой, знала и ее отца, Николая Дмитриевича, и всегда к ним относилась хорошо, по своей привычке все путать, потому что, строго говоря, к Екатерине Николаевне можно было хорошо относиться, только забыв, какая она была женщина. Про нее ходили слухи, и очень упорные, что она была до своего замужества в близких отношениях с вновь пожалованным при воцарении Павла Петровича светлейшим князем Безбородко, который выдал ее замуж за Петра Васильевича Лопухина, вдовца, милейшего, честнейшего человека, отличного служаку, всецело поглощенного своими делами и верившего в свою жену. Он был назначен после свадьбы генерал-губернатором ярославского и вологодского наместничества.

Отец же Екатерины Николаевны, Николай Дмитриевич Шетнев, был правителем вологодского наместничества.

От первого брака у Лопухина была дочь Анна. От Екатерины Николаевны был сын Павел. Мачеха была на четырнадцать лет старше падчерицы.

До своего выхода замуж за Лопухина Екатерина Николаевна пережила очень неприятное время вследствие ходивших слухов о близости ее к Безбородке. На нее косились в обществе, донимали ее разными намеками, а то и просто отворачивались. Люди же, которые хотели получить что-нибудь от ее покровителя, подличали пред нею, и эта подлость была еще оскорбительнее презрения.

Одна Анна Петровна Оплаксина, ни на что не обращавшая внимания, относилась к ней всегда одинаково ровно, как относилась ко всем, и за это Екатерина Николаевна одну только ее и любила.

Оплаксина вошла с племянницей к Лопухиным без доклада, как своя, и застала Екатерину Николаевну за делом: у нее шла примерка только что принесенных нарядов для падчерицы. Екатерина Николаевна с энергичным, сильно выдававшим ее тридцать пять лет, однако, все еще красивым, несмотря на положившую на него отпечаток прошлую жизнь, лицом, сильно размахивая руками, делала замечания француженке-портнихе и, по-видимому, вовсе не обращала внимания на стоявшую посреди маленькой гостиной пред зеркалом падчерицу, словно это была не она, а безгласная кукла. Должно быть, замечания были неприятны и ядовиты, потому что француженка злилась и кусала себе губы.

— Ах, это вы, Анна Петровна? — встретила Лопухина гостью.— Здравствуйте, голубушка! Ну, вот посмотрите, посмотрите,— показала она на воздушную белую атласную накидку с кружевами, надетую на ее падчерицу Анну.

Анна Петровна осмотрела в лорнетку накидку; та понравилась ей, и потому она сейчас же сказала:

— Ну, что ж? По-моему, прекрасная partie de plaisir.

— Sortie de bal, ma tante,— поправила ее племянница, на низкий реверанс которой Екатерина Николаевна даже кивком головы не ответила.

— Прекрасная-то, прекрасная,— проговорила Лопухина,— я сама выбирала и фасон, и кружева, но плечи тянет. Вот видите, все находят, что в плечах недостаток,— обернулась она к портнихе по-французски,— надо переде-

лать, чтобы горба не было, а то она горбатая в вашей накидке...

Это должно было быть особенно обидно француженке, у которой у самой была фигура сутуловатая. Она вспыхнула, почти сорвала накидку и откинула ее в сторону с сердцем. Анна, освобожденная, стала здороваться с Валерией.

Екатерина Николаевна показывала в это время Анне Петровне бальное платье, которым она была довольна.

— Мне кажется, слишком уж открыто,— стыдливо заметила Анна, взглядывая на Оплаксину.

— Платье по последней моде,— не обращая внимания на падчерицу, возразила Лопухина,— не правда ли, хорошо?

— Очень,— похвалила Оплаксина,— но, может быть, и правда — слишком открыто.

— Это-то и нужно,— заявила Екатерина Николаевна.

— Ну, тогда конечно,— согласилась Анна Петровна, хотя и не поняла, зачем было нужно, чтобы платье было очень открыто.

— Так вот накидку переделайте,— обратилась Лопухина к портнихе,— а остальное оставьте.

Француженка вскинула плечами и унесла накидку, ничего не сказав и не простившись.

— Хорошо шьет, но характер — ужасный! — проговорила ей вслед Екатерина Николаевна и стала снова перебирать принесенные наряды, любуясь ими.

По совершенно особым обстоятельствам ей необходимо было, чтобы падчерица явилась на балу, который был назначен во дворце в первый же день приезда государя, лучше всех. Потому она не пожалела денег и заказала такое платье для Анны, что действительно можно было ахнуть.

Валерия опытным взглядом старой девы оценила уже платье и, сев с Анной у окна, смотрела в потолок, потому что на небо нельзя было смотреть — слишком яркое солнце светило в окна. Она, вопреки тому, что тетка даже в глаза называла ее иногда «старое диво», не завидовала ни молодости, ни красоте Анны, ни наряду, который был сшит для нее. Она давно уже привыкла, подняв глаза, относиться вполне безучастно ко всему, что делалось вокруг нее внизу, на земле, и только почти непроизвольно следила за тем, что говорит тетка и, как эхо, поправляла ее, не отрываясь от своих мыслей.

У Лопухиной горели глаза, и она не скрывала своего волнения, ежеминутно прорывавшегося у нее в каждом слове и движении. Она определенно принадлежала к партии нового двора, готовилась играть там роль и потому считала необходимым знать все, что говорят. Занятая сложным делом обдумывания, заказов и примерки туалета для красавицы падчерицы, она прислушивалась ко всем толкам, следила и волновалась, как азартный игрок, желающий сыграть наверняка на крупную ставку.

— Ну, где вы были, что слышали? Рассказывайте! — стала расспрашивать она Оплаксину, беря с нею прямо быка за рога, без всяких подходов и околичностей.

— Да где же я была? — начала Анна Петровна.— Ах, вот, вчера, кажется, у Лидии Алексеевны Радович вечер провела... Валерия! — окликнула она племянницу.— Ведь мы вчера у Радович были?

— Вчера, ma tante...

— У Радович! — проговорила Екатерина Николаевна.— Это интересно! Ну, и что ж?

Она знала, что Радович считалась принадлежащей к старому екатерининскому кружку.

— Ну, и ничего! — протянула Анна Петровна, уверенная, что рассказывает, и рассказывает интересно.

— Кто же был?

— Людмила Даниловна с дочерьми, Вавила Силыч...

— Андрей Силыч Вавилов, ma tante,— прозвучала отголоском Валерия.

— Ну, да, генерал-поручик; Курослепова, Марья Львовна...

— Ну, что ж она?

— Ничего!..

«Ничего от нее не добьешся! — мелькнуло у Екатерины Николаевны.— Такая размазня!..»

— Говорили же вы о чем-нибудь! — с досадой сказала она.— Вероятно, о предстоящем приезде государя говорили?

— Да, сын Лидии Алексеевны напугал нас.

— Напугал? Он, говорят... У него не все дома,— и Екатерина Николаевна повертела пальцами пред лбом.

Валерия перевела взор с потолка на нее, глянула, ничего не сказала и снова стала смотреть в потолок.

— Да просто сумасшедший,— сказала Анна Петровна,— влетел на балкон, и так это рассуждать начал. Он, говорят,— однодворец...

— Как однодворец?

— То есть не однодворец, а как их зовут... ну, все равно... как бишь их...

Валерия стиснула зубы и не приходила ей на помощь.

Про Анну Петровну сочинили нарочно, что она путает «вольтерьянец» и «однодворец». Однако кто-то сказал ей это, и она с тех пор начала действительно путать. Новых же страшных слов — «якобинец» и «карбонарий» — она не знала.

— Неужели он в якобинцы записался? — переспросила Лопухина.

— Нет... не так,— возразила Оплаксина,— а как это, ну, вот он еще кресла такие делал...

— Вольтерьянцем стал! — улыбнулась, поняв наконец, Екатерина Николаевна.

— Ну, вот, вот, я говорю, кресла...

— Так ведь если он не в своем уме, то это не опасно.

— Как не опасно, матушка? Ведь влетел, спасибо Вавила Прекраснов был тут... А то до смерти перепугал бы... И так это говорить начал про государыню...

— Марию Феодоровну?

— Да нет же, Екатерину Алексеевну, про покойную...

— Вот как! Что же он говорил?

Лопухина, желая подробно узнать, что говорил Радович, и не надеясь на Анну Петровну, поглядела на ее племянницу, спрашивая у нее ответа.

Валерия, не вступавшая до сих пор в разговор, потому что при старших девушкам разговаривать не полагалось, двинулась слегка и, получив разрешение подать голос, стала очень толково и последовательно передавать все, что вчера говорил Денис Иванович. Она хорошо запомнила все его слова и повторила их сжато и понятно.

Екатерина Николаевна слушала с большим вниманием.

— Что же, все это отлично с его стороны,— проговорила она, когда Валерия кончила.— Так он, по-видимому, человек, преданный Павлу Петровичу?

— Всецело! — воскликнула Валерия.

Лопухина задумалась, помолчала, сложив на стол руки и склонив голову набок, потом улыбнулась и произнесла, как бы сама себе, но все-таки настолько громко, что все слышали:

— Je crois que jai mon homme! [1]

---

[1] Полагаю, что это настоящий человек, который нужен *(фр.)*.

V

В понедельник, десятого мая, император въезжал в Москву, и с самого раннего утра народ толпился на Тверской, по которой должен был он проследовать в Кремль, прямо на литургию в Успенский собор.

Две недели уже исправляли мостовую по всей правой стороне царского пути, и она была заставлена рогатками, так что проезда не было. Сегодня рогатки сняли; исправленную мостовую посыпали песком, и стена народа вытянулась вдоль нее, сдерживаемая будочниками и солдатами.

Денис Иванович, в простом сером кафтане, шерстяных чулках и в обывательской широкополой шляпе, пошел нарочно в толпу, желая слиться с нею при встрече государя. Он шел именно приветствовать его, а не «смотреть» только на его въезд откуда-нибудь из окна или с балкона, словно это был спектакль, составляющий занятное зрелище и больше ничего. Он хотел, чтобы его клик слился с тысячами встречных, приветственных кликов, которые понесутся из народной толпы.

Выходя из дома, Денис Иванович был уже торжественно настроен, и это торжественное настроение нарастало и увеличивалось в нем по мере приближения к Тверской, куда шли и бежали, обгоняя его, такие же, как и он, руководимые тем же, как и он, чувством.

«Царь в Москве! — повторял себе Радович, расплываясь широкою умиленною улыбкой.— Царь в Москве!»

И соединение этих слов казалось ему необыкновенно трогательным и полным таинственного, великолепного, возвышенного и радостного смысла.

Он был уверен, что все кругом, кроме, конечно, закоренелых в распущенности бар прежнего царствования, понимали, что почти в течение целых ста лет Россиею управляли женщины, и что изнеженность двора, а за ним и общества, дошла до последних пределов для нас, русских. И вот, наконец, воцарился император, круто повернувший прежние порядки и сильной рукой взявший бразды правления. По тому, что успел сделать государь, по той энергии, с которою он вел дело, добиваясь правды, справедливости и действительной работы, Радович сравнивал Павла с Петром Великим и находил, что и тому, и другому выпала на долю почти одинаковая по трудности работа. Разница состояла лишь в том, что, наряду с недовольными, при Петре были и такие, что понимали его, а вокруг Павла Петровича никто не был доволен.

«Но зато народ, тот народ, на пользу которого клонится всякое его распоряжение, народ, признанный ныне за людей, впервые приведенный наравне с другими сословиями к присяге,— думал Денис Иванович,— должен понять со временем, что желал сделать для него император Павел!»

И Радович, как-то особенно лихо двигая плечами и размахивая руками, вышел на Тверскую и оглянулся.

Сердце его словно окунулось в радостное, светлое чувство. Тут было именно то, чего он ожидал. Море голов, терявшееся вдали в утреннем весеннем тумане, казалось бесконечным и налево, к заставе, и направо, вниз, к Кремлю.

В темной рамке народа пролегала усыпанная песком желтая, широкая, словно девственная по своей чистоте, дорога, от которой почтительно пятились по обе стороны люди, боясь топтать путь, приготовленный для царского проезда. И небо как будто здесь было еще светлее, чем всюду кругом. И эта толпа, и усыпанная песком улица производили бодрящее, праздничное впечатление. Всюду — и в окнах, и на крышах домов, и на заборах, и на деревьях виднелись люди.

«Хорошо, любо!» — одобрил Денис Иванович, оглядываясь и входя в толпу, успевшую уже сжиться и освоиться с моментом.

Ему всегда нравились та равноправность, общность и какое-то дружное товарищество, которое обыкновенно устанавливается в русской толпе, по какому бы поводу ни собралась она. Сколько раз его в толпе толкали, давили: ему всегда только весело было, так же весело, как когда тут же мужик обращался к нему с простодушною шуткой.

На этот раз Радович не полез в первые, тесные ряды, а решил держаться сзади, наметив для себя выдающийся карниз на фундаменте каменного домика, на который можно было удобно привстать в нужный момент. Тут, у стены дома, было гораздо свободнее. Можно было двигаться, наблюдать и вдоволь любоваться собравшимся народом.

С первого же взгляда Дениса Ивановича умилил молодой парень в цветной рубахе навыпуск и в сапогах. Парень, широколицый, курносый, стоял, растопырив руки и ноги, и широко улыбался, главным образом тому, что на нем были праздничные рубаха и сапоги, и он чувствовал себя поэтому очень хорошо и весело. Умилил же он Дениса Ивановича тем, что надел сегодня именно праздничную

рубаху, идя в толпу, чтобы встречать государя. Ведь в этой толпе государь и не заметит его; да не только государь,— никто не обратит на него внимания, а вот он все-таки надевает лучшее, что может, потому что сегодня праздник — царь в Москве!

«Молодец, право, молодец!»— решил Радович.

Но сейчас же его внимание привлекла старушка разносчица, продававшая грошовые леденцы и другие сласти в лукошке, висевшем у нее через плечо на веревке. Старушка показалась Денису Ивановичу славной и вместе с тем жалкою.

— Что, бабушка, как торговля идет? — заговорил он с нею.

Она оглядела его: зачем он, дескать, у нее спрашивает, и не желает ли он просто посмеяться над ней или выкинуть какую-нибудь штуку? Она привыкла вести торг больше всего с ребятами, а купцов, или, еще пуще, господ, очень боялась.

— Ну, продай мне что-нибудь,— предложил Радович.

— А что тебе надоть? — все еще недоверчиво усомнилась старушка.

Денис Иванович посмотрел в ее лукошко. Там и товара-то было много-много рубля на два.

— А вот что,— решил он,— хочешь, я все у тебя куплю? Сколько возьмешь за все? Я три рубля дам...

Он думал, что чрезвычайно обрадует старушку и, обрадовав ее, хотел обрадовать окружающих, в особенности сновавших там мальчишек, раздав им все сласти; но разносчица не поняла.

— За что три рубля? — переспросила она.

— Да вот за весь твой товар.

— За весь? Ты, значит, все купить хочешь?

— Ну, да, все, и три рубля тебе дам.

Радович старался говорить как можно серьезнее, чтобы убедить, что он не шутит, и поспешил достать деньги даже.

Старуха растерялась. Около них составился уже кружок.

Почтенный мещанин счел долгом вмешаться в дело и стал объяснять, что барин хочет наградить торговку, дав ей за ее товар такие деньги. Он признал в Радовиче барина потому, что то, что тот хотел сделать, было, по его мнению, так глупо, что только барин был способен на это.

Разносчица, наконец, поняла, но нисколько не обрадовалась.

— А чем же я торговать буду, если тебе все продам? — заявила она и, став на этом твердо, наотрез отказалась от сделки.

Она растолкала своим лукошком себе дорогу и ушла, как будто даже недовольная, что хотели сделать так, чтобы ей «торговать было нечем».

В тупой, неожиданной несообразительности разносчицы и даже в самой манере ее вопросов и ответов было много такого, что напомнило Денису Ивановичу разговоры приятельниц его матери — Оплаксиной, Курослеповой и других.

«Чем она, право, хуже их?» — подумал он про разносчицу.

Хотя общее мнение стоявших кругом о Радовиче было такое же, как и почтенного мещанина, то есть, что он хотел поступить глупо, но все-таки это возбудило к нему сочувствие и дало ему популярность в ближайших рядах. И молодой парень в праздничной рубахе, и мальчишки, и почтенный мещанин, и все остальные сейчас же признали в Денисе Ивановиче уже «своего барина», которого они не дадут в обиду, причем это отношение было вовсе не служебно-почтительное, а любовно-покровительственное, как к существу чудному и, скорее, слабому. Радович хотел отойти в сторону, но остальные двинулись за ним, видимо, ожидая от него еще какой-нибудь выходки.

На карниз фундамента присел мальчишка, продававший длинные, сухие, мучные белые пряники. Торговля у него шла бойко, благодаря давно установившемуся приему сбыта такого товара. Это была своего рода азартная игра. Покупатель платил мальчишке за два пряника грош и ударял ими о край его лубочного лотка. Если пряник разламывался на три части, а не на две или больше, то покупатель получал лишний пряник даром. Особенно подростки азартничали тут.

Радович подошел к лотку с пряниками, и сейчас же все расступились пред ним. Он купил два пряника, попробовал ударить,— они сломались на две части. Это его подзадорило.

— А ну-ка, ты сам попробуй,— предложил он мальчишке,— хочешь, за каждый сломанный на три части я буду платить по два гроша, а если нет, то беру пряник даром.

Мальчишка тряхнул только головою, подмигнул и — раз, раз — стал ударять пряниками о край лотка, и все они у него разлетались на три части.

— Погоди, давай мне! — увлекся Радович, и стал сам пробовать.

Кругом принимали живейшее участие в барине, давались советы, высказывались одобрения и поощрения. Бежал радостный гул, когда Радовичу удавалось разломить пряник на три части. Куски и крошки летели. Денис Иванович горстями раздавал обломки. Веселье стояло общее.

— Коллежский секретарь Радович, что это вы делаете? — раздался вдруг строгий голос.

Денис Иванович остановился с пряником в руке, осмотрелся и увидел, что из окна дома, у которого происходило все, высунулась голова сенатора Дрейера, самого сухого, важного и старого служаки изо всех его начальников. Этот сенатор был человек, до того преданный своим служебным занятиям и поглощенный ими, что, когда его спрашивали, например, не слыхал ли он о Шекспире, он морщил лоб и, не обинуясь, отвечал: «В московских департаментах правительствующего сената дела господина Шекспира за последние десять лет не было». Он даже с французской литературой знаком не был и про Мольера говорил, что люди достоверные ему свидетельствовали, что это — хороший писатель, а потому он его может признать.

Дни Дрейер проводил либо в сенате, либо дома за делами и решительно никуда не ездил.

Он и сегодня воспользовался тем, что ему, как лютеранину, не нужно было ехать в Успенский собор к обедне, а до общего приема во дворце еще было много времени, и сидел у себя дома, занимаясь и заперев окна, чтоб не мешала ему толпа на улице. Но увеличившийся шум под окнами заставил его посмотреть, что там такое. Он поднял окно, высунулся и, к ужасу своему, увидел, что причиной шума было предосудительное поведение служащего в канцелярии сената коллежского секретаря Радовича, занимавшегося мальчишеской игрою ломания пряников!..

Дрейер остолбенел и уставился на Радовича, выглядывая из поднятого окна, которое придерживал одною рукою.

— Что вы тут делаете? — строго повторил он, блестя очками.— Вы затеваете шкандал!

Но в это время издали заслышался перекатный гул приближавшегося «ура», толпа всколыхнулась, двинулась, раздались возгласы: «Едут, едут!..» — и через миг все уже гудело у дома сенатора Дрейера.

— Урра-а-а! — вместе с другими, надсаживая грудь, заорал Денис Иванович, забывая все: и пряники, и сенатора, и ничего еще не видя.

По замелькавшему движению на усыпанной песком дороге, по крику и по поднявшимся шапкам он понял, что пропустил момент; он вскарабкался на карниз, глянул и ничего не мог разобрать: виднелись перья султанов, военные, верховые, коляски; все это уже пронеслось мимо, а сзади, толкаясь и давя друг друга, бежала толпа, хлынувшая радостным, широким, шумным потоком, сметая и сравнивая всех на своем пути.

— Урра! — во все горло не переставал орать Радович.

Сенатор Дрейер с сердцем захлопнул окно. Этот неистовый крик мешал его занятиям, и он был очень недоволен этим.

VI

Хотя Денис Иванович так и не видел государя, но видел самое главное — проявление восторга к государю, сам участвовал в этом проявлении и вернулся домой счастливый и охрипший.

Дома ждал его конверт из сената, и в этом конверте был пригласительный билет на сегодняшний бал во дворце, который государь давал московскому дворянству.

Радович, по своему незначительному чину и занимаемой должности, не мог быть приглашен на придворный бал как служащий. Как дворянин же, он по летам не мог рассчитывать на эту честь, потому что, как ему было достоверно известно, и постарше его дворяне добивались приглашения, но напрасно. Поэтому он и не думал о бале и не хлопотал,— и вдруг кто-то вспомнил о нем и прислал ему билет. Кто же это?

Мать его, прежде чем достать билет для него, постаралась бы сама попасть на бал, но тогда она готовилась бы к нему, наверное, сшила бы себе новое платье и новые ливреи лакеям. Об этом знал бы Денис Иванович. Да и на днях еще она ответила с раздражением Анне Петровне, сунувшейся было к ней с вопросом, будет ли она на балу во дворце: «Стара я, матушка, чтоб по балам разъезжать!..»

И по тому, как она ответила это, Денис Иванович, зная мать, увидел, что ей очень досадно, что она не имеет возможности быть на балу. А ему прислан билет!

Конечно, он ни минуты не колебался, ехать ему или нет? Как же не ехать, когда там он в двух шагах от себя увидит государя!

По счастью, в прошлом году к коронации ему был сшит новый сенатский мундир, не надетый им еще до сих пор. Лидия Алексеевна в прошлом году готовилась к празднествам коронации, шила себе наряды, а сыну заказала мундир, но никуда приглашены они не были и никуда не попали, и это значительно поспособствовало окончательному присоединению обиженной Радович к старой екатерининской партии. Зато теперь Денису Ивановичу было в чем поехать на бал, и он сейчас же велел своему казачку Ваське, чтобы тот достал ему новый мундир.

Мундир был уложен в сундуке, в кладовой, ключи от которой хранились у заправлявшей всем домом экономки Василисы, до некоторой степени являвшейся всемогущим министром при Лидии Алексеевне. Она, привыкшая до сих пор получать приказания только от барыни, очень удивилась самостоятельному распоряжению Дениса Ивановича и велела Ваське спросить у него, зачем ему понадобился новый мундир?

Не было еще случая, чтобы Денис Иванович рассердился на кого-нибудь из слуг или возвысил голос, но тут, когда Васька передал ему слова Василисы, он вдруг крикнул:

— Пошел и вели, чтобы мне сию минуту принесли мундир!

Васька, никогда не слыхавший ничего подобного, оторопел.

— Ну, что ж ты стоишь? Пошел! — еще громче заявил Денис Иванович.

Известие, принесенное вниз Васькой, что молодой барин сердится, требуя себе мундир, произвело впечатление во всем доме, как нечто небывалое и совсем необычайное. Василиса отправилась с экстренным докладом к Лидии Алексеевне. Чувствовалось, все поняли, что молодой барин из тихого становится буйным и что он затеял с новым мундиром какую-то, очевидно, совсем безумную выходку.

Совершенно так же посмотрела на дело и сама Лидия Алексеевна и приказала позвать к себе Дениса Ивановича. Васька вторично явился к нему с пустыми руками.

— Вас барыня спрашивают! — робко доложил он Денису Ивановичу, держась за дверь и боясь ступить лишний шаг, чтобы лучше обеспечить себе возможность, в случае чего, скорейшего бегства.

Искренний испуг, выражавшийся в лице Васьки, образумил Дениса Ивановича, и он тихо сказал ему:

— Хорошо, я приду сейчас.

Денис Иванович по привычке посмотрелся, перед тем как идти вниз, в пыльное зеркало, все ли у него в порядке в одежде, взял пригласительный билет и пошел к Лидии Алексеевне.

Она сидела у себя в спальне у открытого окна в сад и раскидывала «гранпасьянс».

Эта огромная материнская спальня с ее серыми гладкими стенами, на которых без симметрии висели три почерневшие масляные картины и пожелтевшие гравюры (одна изображала притчу о блудном сыне), с ее высокою, покрытою красным штофным одеялом, постелью, где лежала груда подушек, спальня с огромным, мрачным киотом, полным старинными образами в потускневших ризах, с туалетом и бюро, похожими на средневековые постройки, и с клеткой злющего попугая, пронзительно кричавшего по временам, — всегда, с самого детства, производила на Дениса Ивановича удручающее, гнетущее впечатление. Ребенком он, входя сюда, испытывал не только привычный, отчужденный страх к самой матери, — он боялся ее одинаково всюду, — но и к самым вещам, бывшим тут. Ему казалось, что в сумерки туалет, бюро и киот ведут всегда между собою сердитые разговоры, смотрят и слушают, и что мать в каком-то заговоре с ними, руководит ими и единственно их любит на свете. И до сих пор он не мог отделаться, входя в спальню Лидии Алексеевны, от чувства неловкости и стеснения, обычного ему с ребяческих лет.

Денис Иванович вошел, поцеловал сунутую ему Лидией Алексеевной руку, здороваясь, потому что они не виделись с утра, и сел против нее у столика, на котором она раскладывала карты.

Лидия Алексеевна, когда призывала сына для разговора, всегда выдерживала некоторое молчание, как бы желая прежде испытать и вместе с тем показать силу своего авторитета над ним. Он должен был ждать, пока она заговорит, и отвечать на ее вопросы, а сам в рассуждения не пускаться!..

Денис Иванович сел и стал терпеливо ждать, когда мать прервет молчание.

Она не спеша клала карты, как будто всецело поглощенная раскладыванием пасьянса, и, наконец, убедившись достаточно, что сын никакой склонности к буйству и дерзости не обнаруживает, глянула на него, скривив рот в улыбку, с которой всегда глядела на него и в которой ясно выражалось насмешливое презрение к его слабости и робкой покорности.

— Вы, мой милый, требуете свой новый мундир? — спросила она вкрадчиво и совсем будто не гневно, хотя слова «мой милый» и обращение «на вы» служили несомненным признаком, что она гневается.

— Да, маменька,— ответил Денис.

— А зачем он вам вдруг понадобился?

— Чтобы ехать на бал во дворец.

— Во-о дво-рец? Да кто же вас туда пустит?

— Мне прислали билет, маменька...

— Кто? — Лидия Алексеевна взяла билет, который он протянул ей, и подробно осмотрела, как меняла осматривает кредитную бумажку,— не фальшивая ли.— Кто же прислал этот билет? — снова спросила она.

— Не знаю, маменька.

— Как же ты не знаешь? Что за вздор такой! Мать игнорируют, а сыну вдруг билет присылают! Тут что-нибудь да не так! Кому ж нужно восстановлять так мать против сына? Ты сам себе достал этот билет? Изволь сказать сейчас, через кого?

— Да уверяю вас, маменька, и не думал. Прихожу сегодня и застаю конверт. Он из сената прислан, и больше ничего не знаю...

— И хочешь все-таки ехать?

— Хочу.

— Ну и дурак! Собственного достоинства в тебе нет! Твою мать знать не хотят, а ты, на вот, только свистнули, ты уж и рад! — и Лидия Алексеевна снова принялась за карты, словно считая разговор исчерпанным и дело вполне решенным.

— Так вы прикажите мне мундир принести; надо, чтобы он отвиселся, да и почистить не мешает,— проговорил неожиданно для нее и главное сам для себя Денис Иванович и встал.

Она, пораженная, подняла голову и воскликнула:

— Вы, кажется, рассуждать начинаете?

— Я говорю только, чтобы мне мундир принесли...

— Да как ты смеешь, щенок, отдавать мне приказания! — крикнула Лидия Алексеевна и стукнула по столу

так, что карты посыпались на пол.— Ты бунтовать против матери, нет, скажи, ты бунтовать?..

— Я, маменька, никогда не выходил из вашей воли,— сказал Денис Иванович,— но тут дело идет... тут дело идет о государе,— выговорил он.

И впервые по его тону послышалось, что он — не только сын своего робкого и слабого отца, но и ее, строптивой, упрямой и властной Лидии Алексеевны. Впервые почувствовалось, что если он до сих пор, до тридцати четырех лет, подчинялся ей, то потому лишь, что сам хотел этого, и потому, что до сих пор не было серьезной причины поступать ему иначе; но вот, когда дело коснулось государя,— он постоит за себя.

Для Лидии Алексеевны важны были не слова, которые он произнес, но то, как теперь смотрел он на нее, выдерживая ее строгий, упорный взгляд, которым она, как думала прежде, уничтожала его. Между ними точно перебегала искра от нее к нему и от него к ней и снова к нему и к ней.

Денис Иванович не опускал взгляда до тех пор, пока не потухла эта искра, и потухла в глазах не его, а матери. Тогда он повернулся и ушел.

Ему принесли сейчас же мундир.

Денис Иванович стал готовиться к вечеру, искренне не подозревая, что между ним и матерью произошло что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее, такое, что не может не иметь последствий значительных, в особенности для нее. Он был доволен данной минутой, доволен тем, что поедет сегодня вечером на бал и увидит государя. Больше ни о чем не думал он и, осмотрев мундир и найдя его в отличном состоянии, распорядился, чтобы Васька сбегал ему за извозчиком и нанял того на вечер.

— Да номер не забудь взять у извозчика, а то он не приедет,— заботливо приказал он, точно все зависело теперь от того, приедет извозчик или нет.

Мыться и бриться Денис Иванович принялся спозаранку. Обед ему подали в его комнату. Однако это часто бывало и прежде, и потому он не заметил в этом ничего особенного.

По мере того как время приближалось к вечеру, оно тянулось все медленнее и медленнее. Денис Иванович был уже совсем готов, ему только оставалось надеть расправленный и вычищенный, висевший на спинке стула мундир, а до бала было почти два часа. Пробовал он читать, но буквы прыгали у него пред глазами, и он ничего не пони-

мал. Он вышел на вышку и в одной рубашке стал ходить, хотя день был холоднее, чем вчера. Он беспрестанно поглядывал на часы и ему хотелось передвинуть стрелки, хоть он и знал, что это не поможет.

VII

Новые слежавшиеся башмаки жали, и мундир был тесен Денису Ивановичу, слегка потолстевшему с прошлого года, но именно это соответствовало той особенной обстановке бала, в которой он очутился и чувствовал, что здесь все должно быть не так, как всегда, и неудобно приехать сюда в слишком простом, повседневном покойном, как халат, платье. Так что и жавшие башмаки, и тесный мундир были кстати и ничуть не мешали, а, напротив, способствовали торжественному настроению Радовича.

Блестящие залы, огни, вытянувшиеся на лестнице лакеи в пудре и в красных кафтанах с позументами, наряды дам, мундиры мужчин, музыка, гремевшая, притомляя слух, бриллианты, кружева,— все слилось для Дениса Ивановича, давно не бывавшего вообще на вечерах и попавшего в первый раз на придворный бал. Он был ослеплен, поражен, не мог еще ничего видеть в отдельности, кроме государя, которого видел все время, где бы ни пришлось ему быть.

И ощущение, которое он испытывал, не могло сравниться ни с чем, даже с теми грезами, которые, как в золотистом тумане, переносили его, бывало, когда слушал он сказки ключницы Василисы, то в волшебные чертоги построенных в одну ночь очарованных замков, то на дно моря, в коралловые пещеры или в золотые палаты заоблачных царств. Он не ходил, не двигался, но торжественнно носил свое тело, словно оно, стесненное мундиром, плыло само собой по воздуху, а там, где-то далеко внизу, какие-то башмаки жали чьи-то ноги.

Среди гостей у него, наверное, было много знакомых, потому что тут была вся Москва, а он знал всю Москву, но узнавать он никого не узнавал, хотя кланялся и что-то отвечал, и говорил, когда его окликали. Ему казалось святотатственным, неприличным быть обыкновенным знакомым обыкновенных людей здесь, во дворце государя, и в присутствии государя. Он не сводил глаз — впрочем, как и все остальные, с Павла Петровича и видел его, как видишь солнце, даже когда не смотришь на него.

Государь был в духе, и лицо его, оживленное, с блестевшими умными и проницательными глазами, казалось Радовичу выражением истинной прелести величия. Оно было такое, то есть еще лучше такого, каким он воображал себе его, и вовсе не похоже на портреты, претендовавшие передать черты императора Павла.

— Прекрасно! — сказал Денису Ивановичу попавшийся ему генерал-поручик Вавилов и кивнул головою.

Радович отвесил поклон, однако не разобрал, кто это, но все же сейчас же полюбил говорившего, сочувствуя его слову.

«Прекрасно, истинно прекрасно!» — говорило и пело все в душе Дениса Ивановича.

В антракте между танцами государь стоял в конце зала, и все лица были обращены к нему.

Радович теперь только, насмотревшись вдоволь на государя, стал присматриваться к окружающим его. Он узнал толстого, курносого, обрюзгшего Безбородко, узнал несколько московских сенаторов, главнокомандующего Салтыкова, увидел еще нескольких, очевидно, петербургских придворных.

Вдруг его глаза остановились на стоявшей в первом ряду образовавшегося около государя круга молодой девушке.

Увидев ее, Денис Иванович так и остался, как был, с раскрытым ртом. Такой красавицы он и представить не мог себе никогда. Она сразу была заметна среди других и по красоте своей, и по собственному цвету черных, впадавших в синеву, густых волос своих.

А сзади нее, немножко в отдалении, высовывалась сухая, длинная фигура сенатора Дрейера.

Радович взглянул на сенатора, узнал его, вспомнил сегодняшнее утро и в эту минуту заметил, что Дрейер тоже увидел и узнал его.

Государь, продолжая разговаривать с Безбородко, улыбаясь, причем блестели его белые, ровные зубы, и потряхивая пудреной косичкой, двинулся вперед, и сейчас же толпа расступилась пред ним, а стоявшие возле него двинулись тоже.

Красавица в белом платье с черными волосами стала подвигаться вместе с другими.

Радович, к удивлению своему, увидел, что окружавшие государя отступают так, что между ним и красавицей остается пустое пространство, как бы соединяющее их. Государь будто слегка нахмурился и сделал несколько более

поспешных шагов, толпа отхлынула в сторону, и Радович очутился в первом ряду с государем.

Пустое пространство между ним и красавицей не изменилось. Она стояла, опустив тонкие, оголенные девственные руки, и смотрела на Павла Петровича так же, как смотрели на него все, то есть не спуская глаз.

Государь кивнул в ее сторону и спросил у Безбородко:

— Это, кажется,— дочь Петра Лопухина?

— Она, ваше величество, из-за вас просто голову потеряла! — ответил Безбородко, странно улыбаясь и изогнувшись...

— Вот ребенок! — сказал, рассмеявшись, государь.

— Ей уже скоро шестнадцать лет,— проговорил Безбородко.

Это была неправда — Анне Лопухиной шел уже двадцать второй год.

Этот разговор слышал стоявший почти рядом Радович, слышали и другие.

Государь прошел дальше и так скоро, что замкнувшаяся за ним толпа отделила от него Дениса Ивановича и Лопухину, приблизившуюся теперь к Радовичу.

Сенатор Дрейер между тем направился прямо на Дениса Ивановича. Он шел на него, пробираясь через толпу, и сердито кивал ему головою, видимо, подзывая его к себе и сердясь, что тот не замечает или не понимает этого. Он почти в упор подошел к Денису Ивановичу, и тогда только тот, вздрогнув, увидел, что находится в его власти, потому что скрыться не представляется уже возможности.

«Неужели он станет делать мне выговор здесь?» — чувствуя, если это так, стыд за сенатора, подумал Радович.

Но Дрейер, подойдя к нему, схватил его за рукав двумя свободными пальцами (остальными он держал треугольную шляпу), и схватил так, что больно ущипнул, и потянул за собою.

— Я вас вынужден представить госпоже Екатерине Николаевне Лопухиной,— проговорил он отрывисто и ворчливо, таща уже Дениса Ивановича, подтащил его к стоявшей возле красавицы видной барыне и представил.

— Вы — сын Лидии Алексеевны Радович? — спросила Лопухина, оглядывая Дениса Ивановича.

— Да, я — сын...— краснея ответил он, не зная, то ли говорит, что нужно, или нет.

— Я рада с вами познакомиться. Заезжайте завтра ко мне... так, после часа, до двух...

— У меня, к сожалению, служба в сенате,— начал было Денис Иванович, но педантичный, строгий служака Дрейер так заворочал на него глазами, желая остановить его, что Радович оборвал фразу и замолк.

— Так завтра,— между часом и двумя! — повелительно произнесла Лопухина и отвернулась, показывая, что представление кончилось, и что Радович может отойти.

В ее манере было странное соединение какой-то ласковости и вместе с тем величественной привычки, что все будет именно так, как она хочет.

«Вот эта умеет приказывать»,— подумал Денис Иванович, невольно сравнивая ее со своею матерью.

Но он тут же решил, что ехать ему завтра к Лопухиной в служебный час совершенно незачем. Он решительно не понимал, зачем он понадобился ей и, главное, зачем понадобилось Дрейеру вместо выговора за сегодняшние пряники представлять его Лопухиной. Как это случилось и почему, он не знал.

Не знал этого и сам сенатор Дрейер. Он явился сегодня на бал, усматривая в этом свою служебную обязанность как сенатора. На балах он никогда не бывал — у него и без того не хватало времени. К воцарению императора Павла Петровича в сенате было десять тысяч нерешенных дел. Это доказывало, во-первых, очевидность того, что не все сенаторы относились к службе, как сенатор Дрейер, а, во-вторых, что если он, Дрейер, задался целью решить все десять тысяч дел, то немудрено, что у него не было времени не только ездить на балы, но даже и ходить в баню, а то и спать. Придворный же бал в присутствии государя был другое дело. Тут сенаторы обязаны были, по мнению Дрейера, увеличивать блеск двора, и потому он явился сюда в своем красном мундире с треугольною шляпой, хотя едва ли его сухая длинная фигура могла кому-нибудь показаться блестящей.

Явившись на бал, он первое время ходил, жмурясь и не зная, куда ему приткнуться и что с собою делать. Весь этот люд, шум, говор и музыка, в сущности, «мешали занятиям», но тут именно о занятиях и речи не могло быть. Если бы ему дали полную волю, сенатор Дрейер немедленно водворил бы на балу тишину и порядок и приступил бы к занятиям. Однако здесь приступали не к занятиям, а к танцам, и, противно самой природе, молодые люди, танцуя, вели себя крайне развязно пред такими особами, как, например, сенаторы.

Дрейер попробовал было изложить свой взгляд на этот предмет своему товарищу по сенату, сенатору же Лопухину, но того Безбородко держал при себе, следовательно, вблизи государя, и Дрейера оттуда оттерли. Тогда он, наткнувшись на Лопухину с падчерицей, «присосался» к ним и уже не отходил, потому что из дам только и был знаком, что с женами своих сослуживцев...

Стоя за Лопухиной, он вдруг встретился глазами с коллежским секретарем Радовичем и довольно громко произнес:

— Ага!..

Лопухина обернулась на него и увидела, что лицо сенатора Дрейера настолько вдруг оживилось, что она невольно спросила:

— Что с вами?

Дрейер оживился потому, что наконец нашел более или менее разумное применение своему пребыванию на балу. Он мог вместо того, чтобы завтра, отрываясь от служебных занятий, делать выговор коллежскому секретарю за его предосудительное «в отношении пряников» поведение, объяснить ему даже более подробно сегодня, сколь печален его проступок и насколько нетерпимы такие поступки со стороны служащих по канцелярии правительствующего сената.

— Ничего... Так, служебное дело,— ответил он Лопухиной.

— У вас даже на балу служебные дела?

— Как видите, сударыня!..

Сенатор Дрейер, разговаривая с дамами, всегда прибавлял «сударыня», считая это переводом французского «madame».

— Какое же дело? — спросила опять Лопухина.— Важное?

— Для меня все важно, что касается службы,— пояснил Дрейер,— а тут я вижу молодого человека...

— Какого молодого человека?

— Коллежского секретаря Радовича.

— Радовича? Что ж он?

— Он сегодня утром был замечен мною в уличной толпе за весьма странным занятием: он совместно с мальчишками занимался ломанием пряников.

— Да неужели? — словно обрадовалась Лопухина и добавила вполголоса.— Положительно это — тот человек, который мне нужен!

— Что вы говорите? — переспросил Дрейер.

— Я говорю, что это — очень мило...

— Как мило, сударыня?

— Где он? Покажите мне его.

Дрейер показал.

— Да, он по виду очень презентабелен,— решила Лопухина.— Отлично! Представьте мне его сейчас...

Ослушаться Екатерины Николаевны Лопухиной Дрейер прямо-таки не осмелился и вместо выговора должен был привести Радовича и представить его.

— Что женщина хочет, то и мы должны хотеть! — сказал он только Екатерине Николаевне, воображая себя историческим лицом, произносящим историческое изречение.

VIII

На другой день после бала во дворце Лидия Алексеевна ходила по длинной анфиладе комнат своего большого дома, заложив руки назад и пристально смотря себе под ноги. На лице у нее появились желтые пятна. Она в одну ночь осунулась и похудела.

Сыну, если он будет спрашивать о ней, она велела сказать, что нездорова, и чтобы он не показывался к ней. Он уехал сегодня, как обыкновенно, в сенат на службу в шесть часов утра, затем вернулся днем к часу, переоделся в новый мундир и немедленно уехал опять. Все это было доложено Лидии Алексеевне через Василису.

В доме было, конечно, известно, что произошло вчера между матерью и сыном. Это составило событие дня, затмившее собою все остальное, и обсуждалось на все лады от девичьей до черной кухни и кучерской включительно. Дворня знала, что барыня — «ужасть сердита», что на лице у нее явились зловещие желтые пятна, и что она ходит по комнатам, заложив руки за спину.

Хождение по комнатам часто нападало на Лидию Алексеевну; она по временам проводила целые дни в этом занятии, и к ней никто не смел подступиться, но желтые пятна появлялись сравнительно редко и служили признаком особенного гнева, никогда не проходившего для дворни даром. Все притихли, старались ходить по струнке и, главное, не попадаться на глаза барыне. Один казачок Дениса Ивановича Васька, жирно припомадив волосы маслом, которое стащил на господской кухне, ходил гоголем. Впрочем, это могло происходить оттого, что к нему вдруг даже сама Василиса стала относиться ласковее. Лакеи сидели на

своих местах в официантской и на лестнице. Дворецкий, важный бритый старик, вертелся тут же, с утра одетый в свою ливрею.

Лакей Степка, откликавшийся на это имя, хотя ему уже шел пятый десяток, и выездной Адриан затеяли было в вестибюле игру в шашки, но дворецкий так на них цыкнул, что они сейчас же спрятали доску. Адриан стал делать вид, что стирает пыль, а Степка уткнулся в окно.

— Слышь,— заявил Степка, глядя в окно,— к нам карета въезжает, Куролеповой барыни! Как же быть? Докладывать аль прямо не принять?

Дворецкий подумал, взвесил все обстоятельства и рассудил:

— Если приказу о том, чтобы не принимать, не было, так поди, доложи.

— Яков Михеевич,— взмолился Степка,— мочи моей нет! Ведь ежели, как последний раз, так я не выдержу, руки на себя наложу...

— А ты поговори вот у меня!

Карета в это время подъехала к крыльцу, и лакей Куролеповой, соскочив с козел, вбежал, хлопнув дверью.

— Тише! — остановил его дворецкий.

— Принимаете? — весело спросил здоровый, жизнерадостный слуга Марьи Львовны.

— Сама, что ли? — проворчал дворецкий.

— Сама.

— Поди, доложи — Марья Львовна Куролепова,— приказал дворецкий Степке.

— Яков Михеевич, пошлите Адриана,— проговорил тот.

— Я вот тебя к Зиновию Якличу пошлю!..— прошипел ему Яков Михеевич.

Степка побелел, тяжело вздохнул и побежал докладывать.

Жизнерадостный куролеповский лакей, слегка ухмыльнувшись, наблюдал за тем, что происходило, как человек, находящийся во время грозы под верной защитой, наблюдает застигнутых непогодой прохожих.

Прошло несколько минут ожидания, и на лестнице показался бежавший на цыпочках Степка.

— Приказали просить! — задыхаясь, проговорил он и несколько раз перекрестился, не скрывая своего благополучия, что все обошлось, как следует.

Дворецкий Яков Михеевич знал, что делал, хотя в этом помогал ему не столько разум, сколько инстинкт натаскан-

ной на господской службе собаки. Лидии Алексеевне нужно было видеть сегодня, чтобы навести справки и разъяснить дело, как можно больше народа, и если б Марья Львовна не заехала, она сама отправилась бы к ней, потому что одна Марья Львовна могла заменить в данном случае многих.

Марья Львовна вошла к хозяйке дома и первым делом ахнула:

— Матушка моя, да что с вами? На вас лица сегодня нету!

— Не сладко, видно, живется,— процедила сквозь зубы Радович, усаживая гостью в большой парадной гостиной, в которой та застала ее.

— Да что такое? Что случилось? — стала спрашивать Курослепова, хлопотливо возясь с ридикюлем, где у нее было сложено никогда не покидавшее ее вязанье.

— Впрочем, ничего особенного, так,— сказала Лидия Алексеевна, стараясь проявить терпение и быть любезной,— не можется!

Она знала, что нужно лишь подождать, и Марья Львовна без расспросов сама расскажет все, что знает.

— Ну, полноте! — протянула Курослепова.— Посмотрите, день-то какой! У меня сегодня девка Малашка прибегает со двора и так это ухмыляется. Я ее спрашиваю: «Что ты?» — а она говорит: «Да ничего, барыня, солнце хорошо светит!» Мне это очень понравилось... Ну, Лидия Алексеевна, бал вчерашний, я вам скажу!.. По правде сказать, роскошь огромная, но вкуса мало. Впрочем, я другого и не ожидала... Приезжаю я вчера...

И она стала подробно описывать дворец и всех бывших на балу, стараясь быть ядовитой и насмешливой, но все-таки, видимо, не без удовольствия переживая в рассказе свои впечатления. Она все видела, всех заметила, обо всем спешила передать, и по тону ее видно было, что самое интересное она приберегает к концу.

Лидия Алексеевна не перебивала ее и слушала терпеливо, тем более, что по приезде Марьи Львовны на другой же день после бала и по ее словоохотливости поняла, что та явилась неспроста.

— Представьте себе,— рассказывала Марья Львовна, переходя, наконец, к «интересному»,— Лопухина вела себя до откровенности неприлично. Она ходила за государем, не отставая, и мачеха разодела ее... совсем оголила. Стыдно глядеть было... Лопухин получает назначение в Петербург, и они переезжают туда. Это решено уже. Вот

вам главная новость, хотя, впрочем, не новая, а старая. Так и ждала, что это будет, но теперь в этом уже сомневаться нельзя... Поздравляю. Надо, однако, отдать справедливость: и красива же она...

Марья Львовна, говоря это, не подозревала, что делает гнусность, распространяя скверную клевету, родившуюся из недостойной сплетни, которою, правда, желали воспользоваться люди, не брезгующие ничем для достижения своих целей.

Вот что было на самом деле.

Когда в предыдущем году император Павел Петрович приехал в Москву для коронования, ему в числе прочих сенаторов представлялся и Петр Васильевич Лопухин, муж Екатерины Николаевны и отец красавицы Анны. На этом общем представлении государь расспрашивал каждого о его прошедшей службе и, узнав, что Лопухин был прежде наместником в Ярославле, приказал ему не уезжать из дворца. Когда же представление кончилось, император, получивший в тот день прошение по делу, разбиравшемуся в Ярославле, передал это прошение Лопухину и велел ему сделать затем личный доклад по этому делу. Лопухин прямо из дворца отправился в сенат, навел нужные справки, сообразил со своими собственными воспоминаниями и, проработав всю ночь, успел на следующий день явиться в шесть часов утра во дворец с готовым докладом. Павел Петрович остался в восторге и от быстрого исполнения своей воли, и от самого доклада. Он стал поручать Лопухину во время пребывания своего в Москве другие дела, и каждый раз Лопухин с тою же полнотою и аккуратностью представлял ему наутро требуемую работу. В изъявление своего удовольствия император пожаловал дочь Лопухина, Анну Петровну, в фрейлины.

Это назначение последовало, когда Павел Петрович не имел случая видеть Анну Петровну. Однако этого было достаточно, чтобы создалась сплетня, совершенно ложная и гнусная, хотя и вполне соответствовавшая распущенным нравам того времени.

Эту сплетню стала поддерживать недомолвками и намеками сама Екатерина Николаевна Лопухина, мачеха Анны, женщина, о которой даже родной сын впоследствии никогда не говорил, потому что дурного говорить он не хотел про мать, а хорошего ничего не мог сказать про нее.

Мало-помалу с Екатериной Николаевной случилось то же, что со лживым муллой, рассказывавшим всем у город-

ских ворот заведомую ложь, что на площади раздают плов, и пошедшего за народом, когда тот повалил на площадь за пловом: Лопухина поверила в выдумку, которую сама же распространяла.

Ко второму приезду императора Павла в Москву создался уже целый план, как устранить от государя так называемую «партию императрицы» Марии Феодоровны, то есть вполне безупречную, бывшую только в истинно дружеских отношениях с самой государыней фрейлину Нелидову и братьев Куракиных, беспристрастие, честность и правдивость которых мешали многим.

Главными руководителями плана были Безбородко и бывшая его любовница Екатерина Николаевна Лопухина, а исполнителем должен был явиться Иван Павлович Кутайсов, пожалованный при воцарении Павла из его камердинеров в гардеробмейстеры.

Кутайсов, ввиду последовавшей тогда щедрой раздачи орденов и имений, остался недоволен и вздумал просить еще орден св. Анны второго класса. Павел I не на шутку разгневался, прогнал его, а затем, выйдя к императрице, у которой застал Нелидову, объявил им, что Кутайсов уволен за свое бесстыдство. Старания Марии Феодоровны успокоить своего супруга были напрасны. Только после обеда Нелидовой удалось испросить прощение Кутайсову. Последний в порыве благодарности бросился к ногам императрицы, но год спустя великодушным его заступницам пришлось ознакомиться с мерою признательности гардеробмейстера.

Средством для исполнения плана должна была служить красавица Анна Петровна. Ее мнения мачеха не спрашивала и о ней самой не заботилась.

На балу государь спросил у Безбородко про Лопухину, тот сказал свое слово, принятое Павлом Петровичем за лесть в форме шутки; начало делу, как думали, было положено, и на другой же день Марья Львовна и подобные ей разносили якобы достоверную весть.

— А ваш-то сокол,— продолжала рассказывать Марья Львовна Радович,— как же! Видела его! Возле самой Екатерины Николаевны увивался...

— Какой сокол? — переспросила Лидия Алексеевна.

— Да сынок ваш, Денис Иванович.

— Он, вы говорите, увивался за Лопухиной?

— Сама видела.

— Вот как!..

— Да! — кивнув головой, протянула Марья Львовна и застучала спицами.

Весь ее запас был выложен, и теперь она в торжествующем молчании смотрела, какое впечатление произвела на Радович.

— Марья Львовна,— вдруг деловито заговорила та,— я все забываю спросить у вас: теперь у вас, наверно, много расходов с этими выездами по балам... может быть, вам деньги нужны? Я могу ссудить, если хотите.

В этом предложении не было ничего ни нового, ни странного. Марья Львовна, хотя имела недурное состояние, но благодаря тому, что вечно помогала всем, лезшим ей в родню, часто сидела без денег и брала взаймы у Лидии Алексеевны. Она всегда аккуратно рассчитывалась, но до сих пор ей приходилось самой обращаться к Радович и просить, что не всегда бывало приятно, сама же Лидия Алексеевна в первый раз предложила ей денег.

Марья Львовна просияла.

— Лидия Алексеевна, голубушка! Признаюсь, я к вам и приехала сегодня насчет денег, но спросить не решалась! Может, вы сами не располагаете?

— Ничего, располагаю.

— Ведь я вам должна еще.

— Пустяки! сосчитаемся!.. Сколько вам нужно?

— Да рублей двести.

— Хорошо. Заезжайте послезавтра, деньги готовы будут. Но только вот что: услуга за услугу... Узнайте мне, пожалуйста, каким образом сын мой получил вчера пригласительный билет на бал. Мне это интересно, потому что он сам не знает. Вдруг ему вчера принесли билет, а каким образом — нам неизвестно...

— Ну, что ж, это — дело нетрудное,— сказала Марья Львовна,— я с удовольствием...

Узнать о чем угодно ей действительно не было трудно, благодаря тому, что в ее распоряжении находился целый полк племянников и родственников, сновавших всюду и повсюду бывавших.

«А врут все про нее, будто она нехорошая,— думала Марья Львовна, глядя на Радович.— На самом деле она очень милая. Ведь вот денег сама предложила...».

Курослепова по своему добродушию не поняла, что, в сущности, Лидия Алексеевна заключила с ней маленький торг, и что она дает ей деньги взаймы за нужные ей сведения. Правда, она не могла знать, насколько эти сведения нужны были и важны для Радович.

Расстались они на том, что Марья Львовна узнает все к завтрашнему дню и приедет, а Лидия Алексеевна приготовит двести рублей...

Проводив гостью, Радович снова заходила по комнатам. Она дошла до своей спальни, повернулась и снова шаг за шагом проследовала до гостиной. Тут она взялась за тесьму звонка, спускавшуюся широкой полосой по стене от потолка, и дернула.

Не успела она сделать поворот и ступить несколько шагов, как бледный Степка показался в дверях.

— Денис Иванович вернулись?

— Вернулись,— ответил Степка,— к себе наверх прошли.

Он говорил, а сам творил молитву, чтобы разговор с барыней прошел благополучно.

— Послать ко мне Якова да доложить Зиновию Яковлевичу, что я прошу их ко мне.

Сорокапятилетний Степка исчез быстрее, чем явился.

Лидия Алексеевна перешла в зал и остановилась у окна, глядя в сад. Дворецкий вошел.

— Изволили спрашивать? — довольно смело проговорил он, прежде чем она обернулась к нему.

— Денис Иванович приехал?

— Приехали.

— Со своим кучером ездили?

— С Митрофаном.

— Где были?

— У Лопухиных. Часа два там пробыли и вернулись прямо домой,— без запинки доложил дворецкий, успевший уже собрать эти сведения, заранее зная, что они потребуются барыне.

— У Лопухиных? — вырвалось у Лидии Алексеевны, и она круто повернулась к дворецкому, глянув на него во все глаза.

Он спокойно стоял пред нею.

Радович как будто опомнилась и тут только поняла, что дворецкому никак не может быть известно, почему вдруг Денис Иванович, никуда, кроме сената, не ездивший, отправился к Лопухиным и просидел у них два часа?

— Я просила к себе Зиновия Яковлевича; скажите им, что я у себя буду! — и Лидия Алексеевна направилась к себе в спальню, села у своего столика, опустила голову, сжала руки и задумалась.

Зиновий Яковлевич Корницкий был управляющий, заведовавший ее делами уже тридцать шесть лет, с тех са-

мых пор, как она с мужем переехала из Петербурга в имение. Поступил он к Радович двадцатилетним, красивым молодым человеком. Статный, видный, ловкий, дворянин по крови (отдаленного польского происхождения), он не был простым управляющим: почти сразу занял он при Лидии Алексеевне место, гораздо более близкое, и сумел удержаться на нем. Он числился на государственной службе по благотворительным учреждениям, куда за него Лидия Алексеевна вносила иногда очень крупные пожертвования, и получал за это чины и ордена.

Он вошел в спальню Лидии Алексеевны не торопясь и вразвалку, прямо неся свое стройное, холеное тело и высоко закинув гордую голову в пудреном парике с косичкой, с покатым прямым лбом, римским носом и бритым подбородком. Его видная фигура, особенно осанистая от той равномерно-распределенной полноты, какая может быть у пятидесятишестилетнего не стареющего мужчины, красиво обрисовывалась ловко сшитой на старый екатерининский лад одеждой. На нем были белый атласный камзол, кружевное жабо и манжеты, шелковое лиловое исподнее платье, шелковые лиловые же чулки, лаковые башмаки с бронзовыми фигурными пряжками и поверх камзола что-то вроде короткого лилового бархатного шлафрока с широкими, закидными, как у священников, рукавами на белой атласной подкладке.

Он вошел, поздоровался с Лидией Алексеевной, сел против нее в кресло, раскинувшись в нем, и положил ногу на ногу. Сразу в этой уверенной, покойной позе он стал похож на известный портрет начальника благотворительных учреждений при Екатерине, Ивана Ивановича Бецкого, при котором служил и которому, видимо, подражал.

— Я очень взволнована,— начала Лидия Алексеевна.

Зиновий Яковлевич внимательно рассматривал бриллианты колец, передвигая их на своих тонких пальцах.

— Что случилось? — спросил он.

— Да Денис меня беспокоит...

— Ах, это! — небрежно уронил Корницкий и опять занялся кольцами.

Он произнес эти слова с таким выражением, как будто хотел сказать: «Я уже знаю обо всем, но, право, все это не важно и беспокоиться тут нечего».

— Да ты, верно, не знаешь всего,— стала возражать Лидия Алексеевна,— ведь он со мной так говорил вчера, как никогда не осмеливался; вчера на балу за Лопухиной

Екатериной увивался, а сегодня поехал к ней и сидел два часа...

— Все это я знаю,— по-прежнему спокойно протянул Зиновий Яковлевич.

— Я думаю, тут начались чьи-нибудь шашни против меня. Сам он едва ли осмелился бы,— сказала Лидия Алексеевна.— Теперь опять этот билет на бал. Через кого Денис получил его? Я просила Марью Львовну Курослепову разузнать...

— Хорошо,— одобрил Корницкий.

— Ведь он тих, тих, а вдруг прорвется и погонит меня из дома... Каково это будет мне, матери?

— Все может случиться,— согласился Зиновий Яковлевич...— Что ж, по закону он имеет полное право! Все состояние принадлежит ему.

Вместо того чтобы утешить, Корницкий, словно нарочно, еще больше раззадоривал Лидию Алексеевну.

— Право, право! — раздраженно заговорила она.— Главный закон тот, что сын должен слушаться матери; это — божеский закон, а все остальные — люди выдумали...

— Они же и применяют их!.. И если Денис Иванович захочет...

— Так и вправду выгонит меня?! — подхватила, сверкнув глазами, Лидия Алексеевна.

— И вас, и меня, и всех, кого захочет,— подтвердил Зиновий Яковлевич.— Мне уж он объявил три месяца тому назад открытую войну... Вы не обратили на это внимания?

Действительно, три месяца тому назад Денис Иванович перестал вдруг разговаривать с Корницким и начал избегать его.

— Я думала, что это — просто обыкновенная его блажь, что это он так, сам от себя,— стала оправдываться Радович,— а теперь вижу, что кто-то занялся им. Надо принять меры, и я их приму...

— Что ж вы сделаете?

— Найду, не знаю!.. Нельзя же допустить, чтобы дети шли против родителей! В крайнем случае я сама к государю поеду.

— Государь, разумеется, все может,— вставил Зиновий Яковлевич.

— И поеду,— повторила Лидия Алексеевна, все более и более раздражаясь.— Государь сам был, говорят, примерным сыном, он должен понять и образумить мальчиш-

ку... Если это — штуки Екатерины Лопухиной,— посмотрим еще, кто кого... Посмотрим!..

Лидия Алексеевна встала и заходила по комнате. Мысль обратиться к самому государю и просить у него управы на строптивого, каким теперь представляла себе Радович сына, пришла ей в голову еще сегодня с утра, и с утра она носилась с нею.

— Вот еще что,— обратилась она к Корницкому.— Приготовь к послезавтрашнему дню двести рублей. Марья Львовна взаймы просит.

— Слушаю! — сказал он.

— Да еще убери ты от меня эту глупую рожу, Степку; видеть его не могу! Препоганый! Какой он лакей? Отошли его в деревню, пусть там огороды копает...

Зиновий Яковлевич и на это сказал только:

— Слушаю!..

IX

Денис Иванович, вчера еще на балу решивший, что ехать к Лопухиной ему сегодня незачем, отправился, как обыкновенно, в сенат и занялся там делами. Однако около часа, в обед, сенатор Дрейер призвал его к себе, и довольно вскользь упомянув о пряниках, так, больше для порядка, очень серьезно спросил, не забыл ли коллежский секретарь Радович, что Екатерина Николаевна Лопухина приказала ему явиться сегодня к себе! Вышло так, что Дрейер призывал к себе Дениса Ивановича не столько по делу о пряниках, сколько для того, чтобы напомнить ему о визите к Лопухиной. Это равнялось уже почти приказанию по службе, и Денис Иванович увидел, что — хочешь не хочешь — ехать нужно.

Екатерина Николаевна с падчерицей вернулась с парада, произведенного Павлом Петровичем московским войскам, и только что пообедали, когда приехал к ним Денис Иванович. Он застал у Лопухиных Оплаксину с племянницей. Сам Лопухин был в сенате.

Радович, в сущности, так и не понял, зачем призвала его к себе Екатерина Николаевна, хотя провел у нее два часа. Она была очень рассеянна и как будто даже взволнована, но встретила Дениса Ивановича очень любезно, однако в разговоры с ним не вступала, а сказала, чтобы он шел с барышнями в сад.

Радович решил, что ей, вероятно, теперь некогда, а потом она призовет его и поговорит, по-видимому, по како-

му-нибудь делу, потому что, с какой стати ей было иначе звать его так к себе? Он пошел с барышнями, то есть с красавицей Анной и Валерией, племянницей Оплаксиной, в сад, и там они стали играть в бильбокэ, потом в серсо.

Сначала Денис Иванович играл только, чтобы доставить барышням удовольствие, и все ждал, что его позовет сейчас Екатерина Николаевна, но вскоре увлекся игрой и забыл об этом.

Анна играла довольно невнимательно, Валерия же, напротив,— с большим удовольствием и такою горячностью, какую трудно было ожидать от нее, обыкновенно безучастно вперявшей взор в небо. Тут откуда взялись у нее развязность, грация и даже смех.

Она, по-видимому, так искренне принимала к сердцу удачу и неудачу, что Денису Ивановичу было приятно подавать именно ей кольцо серсо, а не Анне. Последняя к тому же смущала его своею величественною, холодною красотою. Да и знал он ее гораздо меньше Валерии, которая с теткой бывала у них. Только никогда Денис Иванович не замечал у Валерии живости, какая явилась у нее вдруг теперь. Правда, до сих пор он видал ее исключительно в обществе тетки и старших.

Из сада перешли в большой прохладный зал и тут стали играть на китайском бильярде. Денис Иванович и этим делом занялся с воодушевлением, почти ребяческим. Играл он очень плохо, но так весело смеялся своим неудачам, что увлек своею веселостью даже неприступную Анну.

Наконец в дверях зала показалась с Лопухиной Оплаксина, собиравшаяся уезжать.

— Да, да, далеко Петру до Куликова поля! — рассудительно говорила Анна Петровна, заканчивая разговор и прощаясь.

У ее племянницы сейчас же потухло оживление, и она, тоже прощаясь, низко присела пред Екатериной Николаевной.

Лопухина, простившись с Оплаксиными, простилась и с Денисом Ивановичем, сказав ему, чтобы он завтра тоже приезжал. Значит, оставаться дольше ему было нечего, и он ушел в полном недоумении. Выходило, что он был у Лопухиных лишь ради того, чтобы играть с барышнями в бильбокэ, серсо и на китайском бильярде.

Однако, хотя это могло показаться очень глупо, но Денис Иванович не жалел потерянного времени. Он провел его очень недурно и был доволен, и вместе с тем удивлял-

ся, как он не замечал прежде, какова на самом деле племянница Оплаксиной.

«Вот тебе и старое диво!» — думал он, вспоминая, как ловила она кольца и как смеялась, когда его шарик не попадал на большую цифру в бильярде.

Вернувшись домой, он переоделся, сам вычистил свой мундир, повесил его в шкаф и сел у растворенной двери на свою вышку с книгой в руках. И, чем дольше сидел он, тем сильнее охватывало его чувство никогда не испытанного им до сих пор довольства и наслаждения жизнью. Он читал и не вдумывался, и сейчас же забывал прочитанное, и был далеко от дома, от отношений к матери, к Зиновию Яковлевичу и ко всему, что обыкновенно не давало ему покоя и точило его постоянно и неотступно. И вместе с тем он не грезил, не думал ни о чем, не заставлял насильно работать свое воображение, чтобы забыться и отрешиться от окружавшей его действительности.

На лестнице к нему наверх послышались шаги, чьи-то чужие. Это не Васька шел. Денис Иванович очнулся, встал и обернулся к двери

В дверях показался лакей Степка и повалился ему в ноги.

— Что ты, что с тобой? — испугался Денис Иванович.

— Барин, батюшка, заступитесь вы за меня! — завопил Степка громким голосом.

— Да полно, встань, встань ты! Встань и расскажи толком! — повторил Денис Иванович, силясь поднять с пола лакея.

Степка поднялся, но, не вставая с колен, сложил руки и, смотря на Дениса Ивановича снизу вверх, в молитвенной позе продолжал исступленно просить его:

— Заступитесь, батюшка! За что же с человеком поступать так, ежели он ни душой, ни телом не виноват?

— Да ты встань,— настаивал Денис Иванович, но так как Степка не вставал, то он сам опустился на одно колено пред ним и проговорил: — Ну, вот так и будем стоять, коли хочешь, друг пред другом.

Степка, никак не ожидавший этого, оторопел и вскочил, как ужаленный.

— Барин, да что же это? — задрожал он всем телом.

— Ты успокойся,— внушительно приказал ему Денис Иванович и положил ему руку на плечо.— Ну, говори толком, что случилось?

У Степки судорога сжимала горло, и рыдания душили его, но он силился выговорить сквозь них:

— Меня в деревню ссылают... огороды копать... А ни за что... Я ни душой, ни телом... ни даже выговора не получил, а Зиновий Яклич велит вдруг...

— Тебя в деревню ссылают?

— Да, огороды копать, а у меня тут жена и дочь... Пропадут они без меня тут, да и там, в деревне, дворовому житья нет... Что ж, коли бы за дело... а тут, как пред Богом, ни в чем не виноват...

Степку обидело, возмутило и привело в неистовство главным образом не само наказание, хотя оно было ужасно для дворового, которого, как сосланного и подвергшегося опале, действительно сживали со света и вымещали на нем всю злобу деревни к дармоедам-дворовым вообще, как будто они были виноваты, что господа их взяли к себе в хоромы. Его возмутила несправедливость наказания, свалившегося на него ни за что, и он пришел в такое отчаяние, что решился искать заступничества у молодого барина. Прежде никому это и в голову не пришло бы, но теперь, после вчерашней истории с мундиром, появилась уже заметная брешь в крепости самовластия Лидии Алексеевны, и, как вода в проточенной плотине, устремились помыслы радовичских дворовых к этой бреши.

Денис Иванович никогда не входил в отношения матери и управляющего к слугам и крепостным. Сами крепостные никогда не обращались к нему, а Лидия Алексеевна или Зиновий Яковлевич и подавно; и Денис Иванович вполне был уверен, что все там у них идет, как быть должно, то есть очень хорошо. Вероятно, он и прежде сделал бы все возможное для человека, обратившегося к его заступничеству, но дело было в том, что не имелось веры к нему, что его не считали способным выказать свою волю. И теперь только крайнее отчаяние, почти исступление заставило прибегнуть к нему Степку. И, к радости своей, тот увидел, что не ошибся, сделав это.

— Да ты, верно, натворил что-нибудь? — спросил Денис Иванович.

— Видит Бог, ничего, то есть ничем не виноват!

Степка произнес это с убеждением и искренностью.

— Ну, хорошо, ступай за мной!

Денис Иванович спустился по лестнице. Степка за ним.

Внизу уже было известно, что он пошел «жаловаться» молодому барину. Яков Михеевич, дворецкий, несколько

взволнованный, ждал; возле него был Адриан, считавшийся самым смелым; еще двое лакеев смотрели в щелку двери, остальная дворня разбежалась и попряталась по углам.

— За что ссылают Степку в деревню? — тихо спросил Денис Иванович у дворецкого.

— Так приказано,— недовольно ответил тот, пробуя, не оробеет ли барин пред его внушительным тоном.

Денис Иванович не оробел:

— Я тебя спрашиваю, что сделал Степка, а не о том, что приказано,— проговорил он.

— Спросите у Зиновия Яклича,— начал было Яков Михеевич, но не договорил, так как неожиданно Денис Иванович покраснел и, перебивая его, крикнул:

— Как ты смеешь отвечать мне так? Ты не смеешь! Я тебя в третий раз спрашиваю, за что ссылают Степку?

— Не могу знать,— пробурчал Яков.

— Не можешь знать? Значит, ни за что! Ведь Степка все время на твоих глазах был?

— Был...

— Провинился он чем-нибудь?

— Не могу знать.

— Хорошо! Скажешь Зиновию Яковлевичу, что я беру Степку к себе наверх, в свое услужение; а ты,— обернулся Денис Иванович к Степке,— сейчас же перейдешь ко мне и ни в какую деревню не поедешь...

И, распорядившись таким образом, он отправился к себе наверх и снова сел с книгой у отворенных дверей на вышку.

Было уже совсем под вечер, и видневшаяся поверх деревьев сада верхушка церковки заалела в розовых лучах заката, когда Васька принес чай, а за ним показался Степка. На этот раз он был тих, сосредоточен и бледен, как полотно, глаза у него расширились, дышал он порывисто и тяжело...

— Что с тобой, чего ты еще? — невольно вырвалось у Дениса Ивановича при одном взгляде на Степку.

Тот развел руками, хотел ответить, но задохнулся и не мог выговорить сразу.

— Меня... драть хотят,— произнес он наконец,— на конюшню велели прийти...

— Дра-ать? — протянул Денис Иванович.— За что?

— За то, что я к вам пошел. Говорят, выдерут и в деревню все равно сошлют...

— Ты врешь! — почти крикнул Денис Иванович, опять краснея.— Не может быть, не может этого быть! Если так, я сейчас к матушке пойду...

И, вскочив с места, он быстро направился к лестнице.

Степка поглядел ему вслед и, не ожидая ничего хорошего для себя от разговора Дениса Ивановича с матерью, безнадежно проговорил:

— Пропала моя головушка!

Внизу Яков, дворецкий, попробовал было загородить дорогу Денису Ивановичу со словами: «Велено сказать, что нездоровы, и не пропускать!» — но тот отстранил его, и дворецкий взялся только за виски и закачал головою.

Денис Иванович застал мать в маленькой гостиной. Она сидела с Зиновием Яковлевичем и играла в пикет. Возле нее на маленьком столике лежал флакон с нюхательною солью и стоял стакан с флёр-д'оранжевой водой. Зиновий Яковлевич только что сдал, и Лидия Алексеевна разбирала карты, когда вошел Денис Иванович.

— Маменька, что же это такое? — заговорил он, не дожидаясь, пока она обернется к нему.

Лидия Алексеевна положила карты и выпрямилась. Корницкий слегка прищурился, и рот его скривился деланной улыбкой. У Лидии же Алексеевны теперь не появилось обычной ее презрительной улыбки при разговоре с сыном...

— Маменька,— продолжал Денис Иванович,— я слышал, что лакея Степку без вины хотели сослать в деревню на огороды, а за то, что я не позволил этого и взял его к себе, его хотят сечь!..

Лидия Алексеевна подвигала губами, прежде чем ответить, точно они у нее слишком ссохлись, чтоб заговорить сразу, и наконец произнесла:

— Это — мои распоряжения, и отменять их не смеет никто.

— Ваши? — добродушно удивился Денис Иванович.— Да не может быть!.. Но что же Степка сделал?

— Ты смеешь требовать у меня отчета?

— Не отчета, маменька, но, насколько я знаю, он не виноват! Вы, может быть, ошиблись. Нельзя наказывать человека так... Что он сделал?..

— Не понравился мне, и только. Видишь,— Радович показала на стакан и на флакон,— я больна, нездорова, а ты вламываешься ко мне без спроса и из-за холопа допросы мне чинишь... Ты что же, смерти моей хочешь? Смер-

ти? Ты убить меня пришел? Тогда так прямо и говори...

Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, как бы приняв уже заранее положение, в котором собиралась умирать.

Это как будто подействовало на Дениса Ивановича; он уже растерянно и почти робко переступил с ноги на ногу и оглянулся, как бы ища помощи; но дело испортил Зиновий Яковлевич.

Корницкий, не присутствовавший при вчерашней сцене по поводу мундира, вообразил, что Лидия Алексеевна взяла не тот тон, который нужно, и вмешался, как вмешивался, бывало, когда Денис Иванович был ребенком. Он поднялся со своего места и, расправляя плечи своей барственной фигуры, заговорил было:

— Я должен сказать...

— Молчать! — резким фальцетом завопил Денис Иванович. Кровь бросилась ему в лицо, и он задрожал истерично, нервно.— Молчать... Не сметь... разговаривать! Душегубец... Осмеливаться... вводить... мать... в несправедливость. Не позволю! Степку не трогать. Не сметь! — Он выкрикивал слова отдельно, точно выбрасывал их, ставя после каждого точку, как будто каждое из них составляло целое отдельное предложение.— Не сметь,— подступил он к Корницкому, стискивая кулаки, почти с пеной у рта, и, словно боясь сам себя, повернулся и выбежал вон. Но на лестнице раскатился его голос по всему дому и долетел до гостиной.— Сказать всей дворне,— крикнул он дворецкому Якову,— что, если кто тронет Степку хоть пальцем, того я изобью собственными руками.

Лидия Алексеевна билась беспомощно в креслах, мотая головой из стороны в сторону.

Корницкий подобрался, подтянулся весь, и тут только вполне выказалось, что это был за человек. Он подошел к Лидии Алексеевне, положил ей руки на плечи и скорее прошипел, чем проговорил:

— Лидия, тут отчаяние неуместно. Нужно действовать...

— Что же я могу?.. Что же я могу? — слабо отозвалась она.— Ты видишь, он возмущает людей, дворню... Скандал пред холопами... Он не гнушается ничем...

— Он — явно сумасшедший и с ним надо поступить, как с сумасшедшим,— внятно произнес Зиновий Яковлевич...

Лидия Алексеевна вдруг затихла и глянула на него:

— Что ты хочешь сказать?

— То, что есть на самом деле...

— Зиновий!..

— Тогда делайте, как знаете! — и Корницкий отошел...

Лидия Алексеевна взялась за голову.

— Постой! Не соображу ничего. Ты говоришь — сумасшедший?

— Разумеется.

— Тогда нужно доктора.

— Разумеется! Позвольте мне сделать все, что нужно. Я поеду сейчас...

— Ты говоришь, сейчас...

— Нельзя оставлять безумного без помощи.

— Да, без помощи... Тогда поезжай!.. Нет, постой!

— Надо же решиться! — останавливаясь в дверях, проговорил Зиновий Яковлевич.— Завтра он поднимет всю дворню, весь город, наконец...

Лидия Алексеевна махнула только рукой, опустила голову и закрыла лицо...

Зиновий Яковлевич поспешно прошел к себе, на ходу приказал скорее закладывать карету и стал одеваться. Он надел кафтан, навесил все свои ордена, захватил из письменного стола все деньги, какие были у него, и, как-то особенно тряхнув этими деньгами — дескать, при помощи их все можно сделать,— уехал, велев кучеру гнать лошадей.

Одно слово, вырвавшееся у Дениса Ивановича, в порыве бешеного его гнева, заставило Корницкого действовать, не теряя времени, поспешно и решительно. Слово это было «душегубец». Случайно ли произнес его Денис Иванович, или нарочно,— Корницкому разбирать было некогда. Слово вылетело и нужно было, значит, действовать.

Вернулся Зиновий Яковлевич поздно, когда давно уже стемнело, почти ночью.

Дом был весь освещен. Его ждали. Лошади были сильно взмылены, но он не велел откладывать карету и оставил ее у крыльца, сказав, что она понадобится скоро опять. На козлах сидел его собственный кучер, вольнонаемный татарин.

Проходя через сени, Корницкий задал грозный окрик, зачем дом освещен и не спят.

— Тушить огни и ложиться! — приказал он.— И чтоб у меня никто пикнуть не смел!.. Яков, распорядись! Потом ко мне придешь...

Мало-помалу огромный дом Радовичей погрузился во тьму и затих. Огни погасли всюду, и в кучерской, и в сторожке.

Корницкий, как был в своем кафтане и в орденах, сидел у себя и ждал. Дворецкий явился к нему с докладом, что приказание его исполнено. Зиновий Яковлевич близко, почти в упор подошел к Якову и сказал:

— Денис Иванович свихнулся разумом. Надо отвезти его немедленно в больницу. Я там был, уговорился с доктором... Его возьмут на испытание, а затем созовут комиссию для признания его сумасшедшим.

— Та-а-к-с! — протянул Яков.

— Надо взять его немедленно и отвезти. Он наверху?

— Наверху.

— Лег?

— Кажется. Васька вещи вынес.

— Тем лучше. Но добром он, конечно, не поедет.

— Не поедет.

— Надо взять силой.

Яков, человек огромного роста и значительного дородства, как-то в молодости отличался тем, что поднимал один карету за рессору. Теперь, несмотря на годы, он дышал еще здоровьем и силой. Эту силу знала и боялась ее радовичская дворня.

— Силой, конечно, можно...— начал было он.

— Надо, надо! — перебил его Зиновий Яковлевич.— Он в своем безумии погубит всех. Ты слышал, что кричал он? И меня, и тебя погубит...

Яков, прищурясь, смотрел на Корницкого. Тот говорил, а сам дрожал.

— Само собой,— рассудил Яков, как бы не понимая никаких намеков и не замечая, что делалось с Зиновием Яковлевичем,— ведь если безумный, так может и дом сжечь, или из пистолета выстрелить и погубить... Всяко бывает...

— Так надо взять, связать и отвезти в больницу... Надо пойти! — Зиновий Яковлевич оглянулся, поискал глазами, быстро подошел к окну, снял два шнурка от гардины, протянул один Якову, а другой оставил у себя.—Идем! — Но, сказав это, он остановился.— Не позвать ли еще Адриана? — предложил он.

Яков шевельнул плечами и оглядел высокую, сильную фигуру Корницкого с его холеными, но цепкими руками.

— Не надо. И без Адриана обойдемся.

Больше они ничего не сказали друг другу и отправились наверх. Зиновий Яковлевич шел впереди со свечой в руке. Они неслышно переступали по ступеням лестницы, крадучись и затаив дыхание.

Тридцать четыре года тому назад они так же вместе ночью поднимались по этой лестнице, и так же Корницкий шел впереди и держал свечу в руке. Это было так же в мае.

«Тринадцатого числа! — вспомнил Яков Михеевич.— А сегодня одиннадцатое мая».

Он остановился и непроизвольным движением ухватился за перила.

Зиновий Яковлевич не столько услыхал его движение, сколько почувствовал, и обернулся. Яков увидел близко его освещенное свечою лицо и глаза, холодные и решительные.

Теперь они словно поменялись ощущениями. Дрожь бессознательная или, может быть, именно происходящая вследствие того, что он, вспомнив старое, сознал и настоящее, появилась у Якова, а Корницкий, напротив, как только наступил решительный момент действия, стал несокрушимо бесстрастен и спокоен. Свеча не колебалась в его руке, светила ровно, не колыхаясь, и глаза с расширенными зрачками смотрели холодно и решительно. Он двинул бровью на Якова и еще увереннее зашагал вперед. Тот, точно по инерции повинуясь ему, продолжал подниматься.

Наверху, в мезонине, кроме двух занимаемых Денисом Ивановичем комнат, была еще одна.

В ней тридцать четыре года назад умер ночью Иван Иванович Радович, муж Лидии Алексеевны, отец Дениса, приезжавший тогда с управляющим и лакеем Яковом в Москву по делам из имения. С тех пор комната эта стояла запертою, ключ от нее хранился у самой Лидии Алексеевны, и туда никто не входил. Так думали по крайней мере в доме.

Из-за этой комнаты и мезонина не любили, и даже ходили слухи, что там неладно бывает по ночам — слышались стоны и стуки. Кто-то хотел подсмотреть в страшную запертую комнату, но тут же потерял память и не мог рассказать, что увидел там.

У Дениса Ивановича в мезонине был посредине кабинет с дверью на балконную вышку, налево — его спальня, а направо находилась запертая комната, где умер его отец...

Корницкий, а за ним Яков, поднявшись по лестнице, вошли в кабинет. Дверь направо была отворена, и из нее виднелся свет...

— Кто там? — послышался оттуда голос...

Корницкий и дворецкий, не ответив, подошли к двери, и тут только, заглянув в дверь, Яков сообразил, что они стоят не на пороге спальни Дениса Ивановича, которая должна быть налево, а на пороге той «запертой» комнаты, которая направо.

Все в этой комнате было совершенно так, как тридцать четыре года тому назад; так же теплилась лампадка у образа, так же стояли мебель и постель, и так же на этой постели лежал барин с коротко остриженными под парик черными волосами. Только тогда он лежал, и они подошли к нему, а теперь он поднялся, сел, оперся на руку и смотрел на них во все глаза.

Возле Якова с грохотом упал подсвечник, вывалившийся из рук Зиновия Яковлевича. Яков слышал этот грохот, видел, как Корницкий со всех ног бросился назад, охваченный ужасом пред видением, но оно не исчезло, комната оставалась тою же, и «барин» сидел на постели, опирался на руку и смотрел...

— Чур меня, чур меня, сгинь, пропади! — отмахиваясь рукою, в которой держал гардинный шнур, заговорил Яков.

Барин спустил ноги с постели, нашел ими туфли и приблизился.

— Ты убил, ты убил? Говори, ты убил вместе с ним? — услыхал Яков, узнавая голос Дениса Ивановича, до полного обмана, без парика, похожего на отца.

Он носил другой парик, чем отец, и это меняло его лицо. Без парика же никто его не видел, кроме Васьки.

— Не я,— чуть слышно прошептал Яков,— все он сделал... Я из-под неволи...

— Довольно, теперь я знаю все!.. Беги, беги в монастырь, кайся, замаливай грех! — воскликнул Денис Иванович, схватив руку Якова и стискивая ее.

X

Анна с Валерией ходили, обняв друг друга за талию, по дорожке сада, возле лужайки, на свежей молодой траве, на которой они играли вчера в серсо с Денисом Ивановичем. Валерия смотрела мечтательно вверх, потому что она так привыкла вперять взор в небо, что могла это делать даже

днем, не чихая. Анна шла, опустив грустно голову, и смотрела себе под ноги.

— Я понимаю так,— сказала Валерия,— уж если полюбить, то так, чтобы никто не знал этого, и навсегда...

— Нет, а по-моему, напротив,— возразила Анна,— я хотела бы всем рассказать, чтобы все знали, если б это только не было стыдно...

Валерия помотала головой, как опытный начетчик-старовер, которого хотят научить чему-нибудь новому по знакомым ему старым книгам.

— Тут дело не в том, что стыдно,— заметила она,— а нельзя метать бисер. Каждый любит по-своему, и другим не понять; значит, нечего и говорить им. Все равно не поймут.

— Ну, а он,— спросила Анна,— тот, которого любишь?

— Он должен знать об этом менее, чем кто-нибудь.

— Но тогда как же?

— А так, не должен. Пусть сам полюбит... Или нет. Этого не может быть...

— Отчего?

— Потому что тогда слишком большое счастье. Его не может быть на земле. Только в небе. Там, когда души встретятся, там все будет известно.

— Браки совершаются в небесах,— сказала Анна.

— Да, но не так, как это думают, то есть мы здесь, на земле, а в небесах браки... Нет, это тогда, когда мы перейдем туда...

— Как же, если, например, кто дожил до старости? Ну, вот хоть твоя тетка. Ей уже поздно, я думаю, даже в небесах думать о браке...

— Ах, милая, в небесах нет ни старых, ни молодых; там вечность.

— А для меня, Валерия, вечность — что-то такое далекое! Когда она еще будет?!. А пусть лучше хоть несколько годков, но на земле, пока мы молоды.

— Анна, я думаю, что даже грешно говорить так.

— Почему же грешно? Венчают же в церкви...

— Но так редко с тем, кто любим. На земле это — исключительное счастье. Нет, когда очень любишь, то этого не бывает, потому что это нездешнее и не может быть здесь...

— Неужели не может?

— А ты как думаешь? Ну, вот ты любишь...

— Люблю.

— Но ведь не здешнею, не человеческою любовью; ты любишь совсем идеально.

— Отчего же? Я люблю и здешней, как ты говоришь, любовью.

— Но постой, ведь такого человека нельзя... к нему нельзя относиться обыкновенно. Он не такой, как другие.

— Правда, он лучше всех. Но ты почем знаешь?

— Потому что я знаю, кого ты любишь и кто он.

Анна вдруг густо покраснела, так что ее большие, прекрасные черные глаза даже подернулись влагой.

— Откуда ж ты знаешь? — спросила она.

— Случайно,— восторженно ответила Валерия,— то есть не случайно, но, очевидно, тут перст судьбы... Анна, ты знаешь, я ведь тебе такой друг, такой друг, что если б я кому-нибудь сказала, что на душе у меня, то только одной тебе... И вот, как бы в награду за мою дружбу к тебе, судьба мне открыла твою тайну. Пойдем сюда... сюда!..— и она повлекла Анну вперед по дорожке и, быстро переведя ее через мостик по пруду на остров, где была скамейка под березой, показала ей свежевырезанные на белом стволе дерева буквы: «Павел».— Это ты вырезала,— сказала Валерия.

— Уверяю тебя, не я,— покачала головой Анна.

— Ты отнекиваешься?

— Нет. Но, право, я не вырезала.

— Ну хорошо! Но скажи только, что его не так зовут...

— Нет, так,— опуская голову, чуть слышно произнесла Анна и села на скамейку.

— Ну, вот видишь. А разве он — обыкновенный человек?

— Нет, он лучше всех.

— Не только лучше, но и выше.

— Как выше?

— По положению.

— По положению?

— Разумеется. Анна, голубушка, я так понимаю тебя. Ты не думай. У меня была подруга, так она влюбилась в священника. Это узнали. Все смеялись над ней, но я ее понимала и сочувствовала, потому что любовь ее была идеальная, безнадежная, такая, как твоя...

— Но почему, как моя? Я не влюблена в священника.

— Но в императора! — выговорила Валерия.— И я тебе

скажу, что это многие уже подозревают и говорят об этом...

— Как подозревают? Как говорят? — воскликнула Анна.— Вот вздор!..— и она рассмеялась весело и звонко.

— То есть что, по-твоему, тут вздор?

— Нет, мой друг, я не влюблена в императора,— серьезно проговорила Анна.

— Ты скрываешь от меня, твоего друга! — укоризненно сказала Валерия.— Как же это имя «Павел»?

— Павел, но не тот... вовсе не тот...

— А кто же?

Анна ответила не сразу.

— Хорошо, я скажу тебе,— протянула она наконец,— потому что действительно, видно, судьба... Или нет, не скажу — догадайся сама! — Она подняла валявшийся на земле прутик и вывела им на песке: «Павел», потом поставила букву «Г» и за нею семь точек...— Ну? — сказала она.— Прочти...

Валерия наклонилась, долго глядела на букву «Г» и точки и старалась вспомнить и подобрать все знакомые фамилии на Г. Но именно потому, что она старалась вспомнить и подобрать, у нее ничего не выходило.

— Не могу,— сказала она,— на меня словно затмение нашло. Ни одной даже подходящей фамилии не могу вспомнить

— Ну, это «и» и «ъ»,— показала Анна на две последние точки.

— Я прочла! — проговорила Валерия.— Неужели он?

Анна взглянула ей в лицо, стараясь по глазам ее узнать, догадалась она или нет.

— Это — какая буква? — спросила она, показывая на вторую точку.

— «А».

— А эта?

— Опять «г», а потом опять «а»...

— Отгадала, будет! Ну, теперь знаешь? — остановила ее Анна.

Валерия прочла и по проверке не ошиблась: написано было «Павел Гагарин».

Князь Павел Гаврилович Гагарин был один из офицеров, вращавшихся в московском обществе, бывавших в числе прочих молодых людей у Лопухиных и танцевавших с Анной на балах. Валерия знала, что он вместе с целым рядом своих сверстников был «без ума» от Анны, как говорили тогда, но и не подозревала, что сама Анна чувствует

к нему склонность и что он является счастливым соперником остальных и избранником ее сердца. Для Валерии до сих пор Гагарин был самым обыкновенным, земным существом и больше ничего.

— Но я думала, что для тебя... что ты...— силилась подобрать она нужное выражение,— что ты... изберешь более... что-нибудь... Ведь он — простой офицер...

— Ты его не знаешь! — возразила Анна.— Нет, он не простой. Это — удивительной души человек... Нас зовут, кажется? — и она прислушалась.

— В самом деле, зовут,— подтвердила и Валерия, до которой тоже донесся голос Екатерины Николаевны, кликавшей Анну.

— Ау, идем! — громко отозвалась Анна и побежала, а Валерия за ней.

Однако, выбежав на дорожку, они сразу остановились.

От дома навстречу им шла Екатерина Николаевна с приземистым, неловко передвигавшим ноги человеком в придворном мундире. По монгольскому с выдавшимися скулами лицу и по узким черным, как коринки, глазам Анна сейчас же узнала в нем Ивана Павловича Кутайсова, гардеробмейстера государя.

Она и Валерия направились степенным шагом и, поравнявшись с важным гостем, низко присели ему. Он, стараясь ответить им поклоном, как можно более изысканным, шаркнул по песку, что вовсе не надо было делать.

— Идите к Анне Петровне,— сказала барышням Екатерина Николаевна,— и побудьте с нею пока, а мне нужно поговорить с Иваном Павловичем.

Кутайсов каждый день бывал у Лопухиной, во все время пребывания императора Павла в Москве во вторичный его приезд сюда. Под Москвою после смотра происходили маневры, и государь присутствовал на них, а Кутайсов оставался в Москве. Все воображали и, не стесняясь, говорили потом, что «он был послан негоциатором и полномочным министром трактовать инициативно с супругою Петра Петровича Лопухина, Екатериною Николаевной, о приглашении Лопухина с его фамилией в Петербург. Негоциации продолжались во все время маневров, и прелиминарные пункты были не прежде подписаны, как за несколько минут до отъезда его величества в Казань».

Екатерина Николаевна, оглянувшись, проводила взором дочь и ее приятельницу и, когда они скрылись в доме, обернулась к Кутайсову.

— Конечно,— сказала она, продолжая только что начатый с ним разговор,— я буду во всем сообразоваться с вашими видами и, прямо скажу, вашею пользою.

— Я своей пользы не ищу,— заметил Кутайсов.

— Тем более причины искать ее для вас вашим друзьям,— подхватила Лопухина.— На меня вы можете положиться. Я думаю, князь достаточно рекомендовал вам меня.

Она говорила о князе Безбородко, который при восшествии императора Павла на престол передал ему все тайные бумаги, касавшиеся задуманного Екатериною II дела устранения своего сына от престола. Есть указания, что князь Зубов принимал также участие в передаче этих бумаг, открыв место, где они хранились. Этим поступком Безбородко вызвал доверие к себе императора и пользовался его милостями. Манифест о восшествии Павла на престол составлял тоже Безбородко. При воцарении Павла Петровича ему было пожаловано княжеское достоинство с титулом светлости, и он был назначен государственным канцлером.

Для упрочения своего влияния, в расчете окончательно завладеть императором Павлом, он вместе с Кутайсовым повел интригу относительно Анны Лопухиной. Поэтому немудрено было, что Екатерина Николаевна, бывшая с Безбородко прежде очень близка, упоминала о нем в своих переговорах с Кутайсовым.

— Мне свидетельства князя не нужно,— возразил Кутайсов,— я сам вижу...

— Конечно, с вашей проницательностью и знанием людей вы можете сами видеть,— в тон ему певуче сейчас же заговорила Екатерина Николаевна.— Да ведь и я-то вся тут пред вами... Я хитрить не умею, да и бесполезно это было бы с вами. Я прямо говорю: на меня вы можете понадеяться. Я желаю занять в Петербурге видное место; мне, как всякой женщине, еще не старой, разумеется, хочется этого, а остального мне не нужно.

— А ваш супруг? — спросил Кутайсов.

— О нем беспокоиться нечего. Он — слишком деловой человек и слишком занят своими делами. Назначение в Петербург он примет, как должное ему за его труды, которые, надо отдать ему справедливость, очень велики и сами по себе стоят быть замеченными и вознагражденными. Он занят день и ночь. То же будет и в Петербурге. Он и не заметит ничего среди своих занятий. Нет, он — кабинет-

ный человек, не обратит внимания и никогда не поймет сути действительной жизни. Будьте покойны!

Все это они уже обсуждали сначала намеками и недомолвками и, наконец, теперь перешли к прямой откровенности, так сказать, договариваясь по пунктам, потому что главное и существенное уже было сговорено у них.

— Ну, а сама она? — после некоторого молчания спросил Кутайсов.

— Кто? Анна? Вы знаете,— понизив голос, сказала Екатерина Николаевна,— ей предсказано еще в детстве, что она будет носить четыре ордена или знака отличия. Для простой женщины это немыслимо, и мы считали предсказание нелепым, однако вот всякое может случиться!..

— Я говорю о ней самой, о ее чувствах,— пояснил Кутайсов.

— О, в этом отношении она — еще дитя; ей шестнадцать лет...

— Двадцать один, насколько я знаю,— поправил Кутайсов, не считавший нужным скрывать, что ему-то известны годы Анны Петровны.

— Ну, положим, двадцать первый,— все-таки уменьшила Екатерина Николаевна,— но дело не в годах, а в ее душе. Я знаю ее душу, и из-под моего влияния она не выйдет. Конечно, это — самая трудная сторона дела, но я беру все на себя и не сомневаюсь в успехе. Ручаюсь вам, что к переезду в Петербург она будет достаточно подготовлена ко всему.

— Так ли, Екатерина Николаевна?

— Уверяю вас, Иван Павлович. Я достаточно знаю сердце девушки и могу руководить им. Да, я думаю, мне особенно даже не придется стараться — мы встретим благодарную почву...

Они как будто незаметно перешли мостик на островок на пруду и очутились у скамейки, где только что были Анна с Валерией.

— Да вот, смотрите,— показала Екатерина Николаевна на вырезанное имя на стволе березы,— прочтите!

— «Павел»,— прочел Кутайсов...

— А тут видите... на земле...

— Тоже «Павел»,— сказал Кутайсов,— но затем стоит буква «Г» и раз, два, три... семь точек,— сосчитал он.

Екатерина Николаевна сморщила брови, но сейчас же ее лицо снова прояснилось.

— Это значит,— с уверенностью заявила она,— «государь». Вот,— обрадовалась она, сама не ожидавшая, что дело с Анной идет так успешно,— вот видите подтверждение моим словам.

Кутайсов подумал и, как показалось Лопухиной, убедился.

Они сели на скамейку.

— Но все-таки это очень сложно,— начал рассуждать он.— Ведь в девицах ей оставаться не след, надо выдать замуж.

Он говорил без обиняков, не стесняясь, убедившись главным образом, что с такой женщиной, как Екатерина Николаевна, стесняться нечего.

— Я все знаю,— улыбнулась она,— поверьте, я думаю обо всем. И у меня уже есть на примете, я полагаю, человек... подходящий.— Она подождала, не скажет ли что-нибудь Кутайсов, но тот ничего не сказал.— Он — дворянин,— продолжала Екатерина Николаевна,— сын бывшего приближенного императора Петра Третьего, отца государя, человек не без состояния, не старый, на вид довольно презентабельный, служит в сенате и занимается там вроде моего мужа. Он весь ушел в дела и книги, а в жизни наивен и прост до глупости. С мальчишками в пряники играет на улице. Его считают немножко помешанным, но он тихий и вполне безобидный. Просто глупый человек. С ним можно будет сделать все, что угодно. Он ничего и подозревать не станет...

— Кто же это? — проговорил Кутайсов, как будто довольный сделанной Лопухиной характеристикой.

— Радович. Он вчера был у нас. Я его нарочно пригласила, чтобы показать его вам, но вы приехали вчера вечером и не могли видеть. Я ему велела сегодня приехать. Не знаю, отчего его нет.

— Радович? — повторил Кутайсов.— А у него есть мать, то есть жива она?

— Жива. Отец умер, а мать жива...

— Так это она, значит! — сообразил Кутайсов.

— Что она?

— Сегодня от нее было только что подано письмо государю. Она просит, как жена бывшего слуги императора Петра Третьего, чтобы государь принял ее и выслушал...

— И что же государь?

— Приказал известить, что примет ее вечером, когда вернется с маневров... Для него все, что касается его отца, окружено уважением, почти священно. На коронацию Ра-

дович ничего не получила. Верно, просить хочет чего-нибудь...

— Надо с ней быть осторожным,— предупредила Екатерина Николаевна.

— Я уже велел навести справки,— спокойно сказал Кутайсов.

XI

Трудно было предположить, чтобы Зиновий Яковлевич Корницкий, с его гордо закинутой головой, открытым, смелым видом и мужественной, сильной фигурой, не был храбр. В самом деле, он ходил на охоту на медведей, правда, когда возле него стоял опытный охотник с ружьем, якобы запасным. Он смело лез на каждого дворового с кулаками и часто собственноручно расправлялся с человеком, гораздо сильнее себя, но этот человек был крепостной, знавший, что на конюшне всегда готовы розги. На самом деле кажущаяся храбрость Зиновия Яковлевича была не чем иным, как нахальством или наглостью, столь свойственными натурам мелким, но лишь скрытыми личиною барственных, уверенных манер и выдержкою.

Никто из радовичской дворни и не подозревал, что всегда страшный для нее управляющий боится оставаться один в темной комнате и так суеверен, что не уступит в страхе пред сверхъестественным любой дворовой бабе...

Ему больших усилий стоило, чтобы заставить себя пойти наверх к Денису Ивановичу вместе с Яковом дворецким. Он решился на это лишь потому, что никому не мог поручить исполнение задуманного дела. Когда же он очутился на пороге комнаты, которую считал запертой и необитаемой, и увидел, что не только ожила эта комната и все в ней было совсем так, как ночью тридцать четыре года тому назад, но и на постели лежал человек с подстриженными черными волосами, то принял это, как и Яков, за видение, уронил подсвечник и в паническом ужасе убежал...

На лестнице он приостановился, подождал, не следует ли за ним Яков, и, вновь испуганный как бы зловещей, охватившей его тишиной, со всех ног кинулся к Лидии Алексеевне.

Она не ложилась спать и ждала его, чтобы узнать о результате его хлопот. Понадобились капли, уксус, холодный компресс на голову.

Придя в себя, Зиновий Яковлевич просидел с Лидией Алексеевной всю ночь, обсуждая, что делать и как быть.

Они вместе составили письмо к государю, и Корницкий в пять часов утра повез это письмо во дворец.

Когда он выезжал, в воротах прижался к столбу выходивший со двора человек, в страннической одежде, и проскользнул затем за каретой. Зиновий Яковлевич глянул на него и не узнал, что это был дворецкий Яков.

У того давно была приготовлена эта странническая одежда, он давно собирался бежать, чтобы замаливать свой грех, и решил, что сегодня настал час его покаяния. Он исчез, и к полудню стало известно, что Якова Михеевича нет нигде во всем доме.

О том же, что он с управляющим поднимался вчера наверх, и там произошло что-то страшное, разболтал еще раньше Степка, о котором забыли, что он был наверху. Однако Степка сам так перепугался, что ничего не слыхал и не мог разобрать ничего толком.

С исчезновением Якова Михеевича царившая до сих пор дисциплина страха пред старой барыней и управляющим пошатнулась, и каждый почувствовал, что «молодой барин» дал себя знать, и что управляющий что-то замышляет против него.

Как-то само собою, молчаливым согласием, в дворне образовалась охрана Дениса Ивановича, и уже к полудню раздались голоса: «Наш барин Денис Иванович, и мы его не выдадим!» У Степки в кармане лежал медный пестик от ступки, и у многих было готово за пазухой оружие: у кого — гиря, у кого — брусок железный. Самый смирный и угрюмый из всей дворни, сторож Антип, взял в руки лом и не расставался с ним.

Единственно, на что могла рассчитывать Лидия Алексеевна,— это на свой прием у государя, которому она хотела пожаловаться на непокорного сына и просить его, чтобы он своею властью укротил безумного. Корницкий привез из дворца благоприятный ответ: вечером, когда государь вернется с маневров, он примет Лидию Алексеевну.

Денис же Иванович, как ни в чем не бывало, утром отправился в сенат и приехал домой в обычное время.

На лестнице стоял казачок Васька, а наверху Денис Иванович наткнулся на Степку и выездного гайдука Федора. Они охраняли мезонин, а Васька был поставлен на лестнице для подачи сигнала к тревоге, если понадобится защита молодому барину.

— Что вы тут делаете? — удивился Денис Иванович, увидев Степку с Федором.

Последний замялся, а первый бойко ответил:

— Вы изволили приказать быть мне наверху.

— А он? — показал Денис на Федора.

— Ко мне зашел! — объяснил Степка.

Денис Иванович больше не расспрашивал и прошел к себе. Отцовская комната была у него заперта, и даже дверь в нее из его кабинета была заставлена, как обыкновенно, комодом.

Целый день Лидия Алексеевна была занята приготовлением к вечерней поездке во дворец. Нужно было хитро и подробно обдумать, во-первых, наряд, во-вторых, что говорить и как держать себя пред государем. Наряд должен был быть, конечно, отнюдь не праздничный, а, по возможности, скромный, приличный матери, убитой непослушанием дерзкого сына, но вместе с тем отнюдь не мрачный, потому что Павел Петрович не любил ничего мрачного. После долгих колебаний Лидия Алексеевна остановилась на темно-зеленом роброне.

Причесывать ее начали еще засветло. Горничные, под предводительством самой Василисы, суетились вокруг нее, возводя сложную пудреную прическу на голове.

Лидия Алексеевна, изжелта-бледная, кусала губы и, занятая своими мыслями, отрывочно приказывала, когда что-нибудь делалось не так. Трем девкам она, ни слова не говоря, дала по пощечине, две были сосланы в ткацкую.

Наконец, Лидия Алексеевна, разодетая, распудренная и раздушенная, вышла, чтобы садиться в карету. На крыльце ждал ее торжественно Зиновий Яковлевич.

— Королева, царица моя,— встретил он ее, целуя у нее руку и не столько желая польстить ей, сколько ободрить для «подвига», как он называл поездку ее во дворец, а когда она села в карету, он вдруг сам вскочил на козлы, вместо выездного, и крикнул кучеру:— Пошел!

Радович была тронута до слез его преданностью и всхлипнула от умиления, не подозревая, что Зиновий Яковлевич главным образом потому поехал с ней, что боялся оставаться один без нее в доме.

Лидия Алексеевна была принята государем отдельно от других, пробыла у него тридцать пять минут и вышла очень взволнованная, утирая слезы, но, по-видимому, довольная. Провожавший ее от внутренних до парадных апартаментов Кутайсов несколько раз внимательно пригляделся к ней, стараясь разгадать, зачем она была у государя.

Все справки относительно Радович были уже им собраны, и ему была известна вся ее подноготная. Она прош-

ла, не вступая с ним в разговор, и он ни о чем не спросил у нее. Он знал, что ему спрашивать не надо, потому что государь, вероятно, сам ему сейчас расскажет все. И действительно, только что он проводил Радович, раздался в кабинете государя удар звонка, призывавший его туда.

Когда вошел Кутайсов, Павел Петрович стоял у окна и, морщась, показал на дверь.

— Там есть еще кто-нибудь?

— Никого, ваше величество,— согнувшись, ответил Кутайсов и остановился, как бы в ожидании приказа.

Он, давно хорошо изучивший Павла I, видел, что разговор с Радович чем-то несколько раздражил его, но все же не настолько, чтобы изменить хорошее расположение духа государя, очень довольного приемом в Москве и шумным проявлением народного восторга.

Как бы в доказательство этого Павел Петрович поглядел на него и проговорил, по привычке своей иногда думать вслух при Кутайсове:

— Московский народ любит меня гораздо больше, чем петербургский. Мне кажется, что там меня, скорее, боятся, чем любят...

Кутайсов нагнулся еще ниже и как бы уронил чуть внятно:

— Это меня не удивляет...

Государь сдвинул брови и, думая, что ему послышалось, переспросил:

— Не удивляет? Почему же?

Кутайсов вздохнул и развел руками.

— Не смею объяснить...

— Ну, и не объясняй,— усмехнулся Павел,— все равно глупость скажешь...

Он подошел к столу и стал искать на нем. Кутайсов сделал шаг вперед и поспешно проговорил:

— Что угодно вашему величеству?

Павел Петрович нашел на столе карандаш, взял кусок бумаги и написал крупными буквами: «Радович».

— Мне угодно,— сказал он, поднимая голову,— чтобы меня поняли, чтобы поняли, что я только хочу блага и справедливости...

— Ваше величество,— начал было Кутайсов, но государь перебил его:

— Ты достаточно награжден и возвеличен, доволен ты?

— Я благодарю лишь...

— Ну, и будь доволен, и молчи, и молчи! — повторил

Павел I, как будто угадывая его мысли и прямо отвечая на них.— Ты о Радович знаешь что-нибудь?

Кутайсов живо и подробно доложил все, что успел узнать о Лидии Алексеевне. Эта предупредительная сметка была особенно ценна в нем, и он угождал государю всегда тем, что у него был готов ответ на каждый вопрос.

— А сын ее? — спросил Павел.

— Говорят, трудолюбивый молодой человек... О нем хорошие отзывы.

— Не совсем. Мать приезжала жаловаться на него. Впрочем, я это узнаю...

На другой день рано утром Петр Васильевич Лопухин явился с докладом по порученным ему императором сенатским делам. Государь, отправляясь на маневры, посадил его с собою в карету с тем, чтобы по дороге выслушать его. Между прочим он спросил у Лопухина о Радовиче. Тот знал Дениса Ивановича по его службе в сенате и дал о нем очень хороший отзыв.

XII

Лидия Алексеевна была очарована оказанным ей государем приемом.

Павел Петрович, рыцарски вежливый с дамами, произвел на нее впечатление необыкновенной сердечности и участия. Хотя он ничего особенного, в сущности, не сделал, а просто обошелся с нею по-человечески, выслушал ее и сказал, что образумит ее сына, на которого она приносила слезную жалобу, но Лидия Алексеевна почла эту простоту обхождения за особенное к ней расположение императора, как к жене бывшего слуги его отца.

Она не могла себе представить, чтобы император был со всеми таков, как с нею. По рассказам и по ходившим слухам, нелепым, неверным, преувеличенным и переиначенным, она составила себе совершенно иное, как и большинство ее современников, представление о Павле Петровиче. И вдруг он оказывается простым, добрым и отзывчивым человеком!

Конечно, приписала она это своей собственной добродетели, уменью говорить и разжалобить. Она была уверена, что так хорошо повела дело, что Павел Петрович всецело на ее стороне. Он, вероятно, поручит кому-нибудь переговорить с ее сыном. Тот, глупый, не сумеет и двух слов связать, и все увидят, что она права.

Она просила государя отдать ей тридцатичетырехлетнего Дениса Ивановича в опеку и не сомневалась теперь, что добьется своего. Ей страстно хотелось, чтобы это случилось, и, не имея другого выхода, она с таким ужасом думала о неудаче, что верила, потому что не верить в успех было бы слишком большим ударом для ее несокрушенной до сих пор гордыни.

Зиновий Яковлевич, хотя и не смотрел так уверенно в будущее, но все же приободрился и на всякий случай высматривал и замечал, кто из дворовых как ведет себя, и кого из них нужно подвергнуть впоследствии примерному наказанию.

О бежавшем дворецком Якове не было подано заявления для его розыска. Зиновий Яковлевич нашел это совершенно излишним.

Марья Львовна приехала за двумястами рублями к Лидии Алексеевне, и та вручила их ей, как обещала, получив взамен сведение, что билет на бал был послан Денису Ивановичу через посредство Екатерины Николаевны Лопухиной, по ее ходатайству.

— Вы знаете,— таинственно сообщала Марья Львовна,— Кутайсов нынче каждый день у Лопухиной. Говорят, он ведет переговоры...

— Правда, он каждый день там,— подтвердила Анна Петровна Оплаксина, привезшая от имени бедной старушки удивительного плетенья кружева Лидии Алексеевне для продажи,— он там, как это говорится,— антрепренер.

— Парламентер, ma tante,— по привычке поправила ее Валерия.

— Ну, да, ну, да,— подхватила Марья Львовна,— все дело уже налажено. Анна уже спит и видит себя у власти всемогущей.

«Ах, не знаете вы ее! — думала Валерия, смотря в небо.— Не знаете, а я знаю все про нее, но это — секрет, и я никому из вас не скажу!»

— Теперь, верно, жениха ей будут искать подходящего, такого, чтобы на все смотрел сквозь пальцы,— продолжала Марья Львовна и глянула на Лидию Алексеевну.

Та слушала довольно спокойно. Известие, что билет ее сыну был доставлен через Лопухину, сначала не показалось ей важным; она была уверена, что ей некого бояться теперь, даже Лопухиной. Она воображала, что Лопухина, возмечтав о себе, просто, чтобы досадить ей, Лидии Алексеевне, хочет возмутить против нее сына. Так она объяснила себе поведение Лопухиной. Слишком себялюбивая,

она всегда думала прежде всего о себе и считала, что и другие тоже думают только о ней.

Но вдруг намек, сделанный Марьей Львовной, словно открыл ей глаза.

«Так вот оно что! Жениха искать подходящего! Да, да, конечно, такой дурак — подходящий!» — сообразила Лидия Алексеевна.

И снова туча надвинулась на нее. Ведь если это — правда, то верх будет не на ее стороне. Пожалуй, Дениса успеют отстоять.

Одно оставалось утешение: успеют ли?

Лишь бы государь сказал свое слово, а там при помощи денег в опеке можно будет скоро повернуть.

«Нет, не успеют,— решила Лидия Алексеевна,— мы предупредили вовремя, а потом пусть делают, что хотят!»

— Что же кружева-то, Лидия Алексеевна? — спросила Анна Петровна, не рассчитав, что это было совсем некстати.

— Какие кружева? — очнувшись от своих соображений, переспросила Лидия Алексеевна.— Ах, оставьте меня, пожалуйста! — недовольно проговорила она, вспомнив.— Никаких кружев мне не надо, и покупать их я не буду...

— Как же так? Отчего же? — растерянно произнесла Оплаксина, так как Лидия Алексеевна только что смотрела кружева, и по всему казалось, что она их купит.

— Вы не знаете, когда уезжает государь? — обратилась Радович к Марье Львовне.— Отъезд его не отложен?

— Нет,— ответила та,— кажется, как сказано, шестнадцатого.

— Ну, тогда ничего! — вслух подумала Лидия Алексеевна.

— Что такое «ничего»? — сунулась Анна Петровна, опять, разумеется, не вовремя.

— Ничего и ничего! — сухо отрезала ей Радович.

Анна Петровна окончательно смутилась и раскисла.

Марья Львовна, которой не сиделось на месте с полученными деньгами и которая оставалась лишь для приличия, чтобы не сразу уехать после того, как получила их, найдя, должно быть, что побыла достаточно и что все уже сказано ею, поднялась и стала прощаться.

Лидия Алексеевна тоже поднялась, а за нею и Оплаксина с племянницей. Радович, чтобы спровадить их вместе с Марьей Львовной, пошла провожать ту до лестницы, и во-

лей-неволей Анна Петровна с Валерией последовали за ними.

На лестнице остановились, как всегда, и тут начался еще разговор о том, что последние моды, пришедшие из Парижа, «совсем в обтяжку», так что даже неприлично.

Вдруг наружная дверь внизу отворилась и хлопнула так, что даже вытянувшиеся навстречу господам лакеи вздрогнули.

— Что такое? — строго спросила Лидия Алексеевна.

— Курьер из дворца с пакетом,— послышался бравый басистый голос.

— Ко мне?

— Господину коллежскому секретарю Денису Радовичу,— громко отчеканил курьер.

Марья Львовна посмотрела выразительно на Лидию Алексеевну и расплылась в улыбку, как бы сказала: «Поздравляю».

XIII

Денис Иванович с утра сидел у себя наверху и не поехал в сенат, а послал туда сказать, что ему нездоровится.

Вчера он еще мог взять на себя и отправиться на службу, но сегодня слишком много новых мыслей нахлынуло на него и слишком сложный вопрос приходилось решать ему, чтобы показываться в таком состоянии на людях. Ему нужно было уединение, ему хотелось остаться одному, самому с собою, пока не придет он к какому-нибудь выводу. Но, чем больше думал он, тем больше усложнялось все, как заколдованный клубок, который путается сильнее по мере того, как пытаешься размотать его.

Будь тут дело в одном только управляющем Зиновии Яковлевиче,— Денис Иванович не сомневался бы ни в чем. Но тут была замешана мать.

Прежде всего он считал нужным относиться к ней так, как относился до сих пор, из уважения к самому себе, к своему роду, к своему имени. Он не считал себя вправе разбирать, какова она. Для него она была матерью, и этого казалось достаточно, чтобы никто не смел подумать о ней дурно, а тем более — сам он. Он не позволил бы никому судить ее и не судил сам. Этот вопрос был для него вопросом чести, и колебаний он не допускал.

Все это было, однако, хорошо и во всяком случае цельно, и он жил, руководствуясь этим, до тридцати четырех лет, пока дело касалось его самого. Но теперь он увидел,

что не один он являлся страдающим лицом. Он жил и терпел. Вместе с ним терпели и другие... И был еще один пострадавший, который был близок ему так же, как и мать.

XIV

Государь с утра уезжал на маневры и возвращался во дворец к вечеру.

К этому времени собирались сюда все имевшие доступ к приему и для представления. Большой зал был полон народом.

Бледный, затерянный среди блестящей толпы сановников, боясь, как бы не сделать какой-нибудь промах, Денис Иванович жался к стене, чтобы дать другим дорогу.

Стоял сдержанный, деловитый и почтительный гул. Ждали уже долго, но, видимо, никто не сетовал на это, не выражал нетерпения, и всякий был согласен ждать, сколько нужно, вполне довольный этим. Несколько раз поднималась тревога, весь зал вдруг, как муравейник, приходил в движение, но тревога оказывалась ложной, и все снова принимались терпеливо ждать.

Наконец, в дверях показался кто-то, сделал знак. Церемониймейстер, до сих пор сливавшийся с толпою, вдруг выделился и стал распоряжаться, выравнивая всех в ряд, потянувшийся вереницей вокруг всего зала.

— Как фамилия? — на ходу спросил он Дениса Ивановича и строго оглядел его.

— Коллежский секретарь Радович,— ответил тот, как ученик на перекличке.

— Вы по личному приказанию?

— Не знаю, вот бумага,— и Радович показал бумагу, полученную им сегодня утром через курьера.

Церемониймейстер взглянул, вдруг стал любезнее и вежливо произнес: «Пройдите сюда, вот тут»,— почему-то перевел на несколько шагов Дениса Ивановича.

Глаза всех были уставлены на дверь. Все подтянулись, откашлялись, оправились и замерли. Казалось, сию минуту отворится дверь, и весь этот съезд, все эти волнения, приготовления и ожидание получат смысл, и станет явным, зачем все это нужно. Но минута прошла, дверь не отворилась, и еще долго стояли в ряду и ждали, напрягая свое внимание и силясь сосредоточиться. Чуть кто осмеливался заговаривать, сейчас же раздавалось внушительное «ш-ш-ш» — и снова воцарялась почтительная, напряженная тишина.

Радовичу казалось, что он, не спуская взора, смотрит на дверь, чтобы не пропустить появления государя, но, как это случилось, он не знал, а все-таки пропустил. Государь был уже в зале, когда увидел его Денис Иванович.

Держась необыкновенно прямо, Павел Петрович медленно подвигался, переходя от одного к другому из представлявшихся. Пред иными он останавливался несколько дольше, делал вопросы и часто, выслушав только первые слова ответа, шел вперед. Мало-помалу все ближе и ближе он становился к Радовичу, и тот чувствовал, словно от соседа к соседу передавался электрический ток по мере приближения государя. Вот между ними всего трое, два, еще — и Денис Иванович как бы оказался один на один с императором. Во всем зале он уже никого и ничего не видел, кроме Павла Петровича, бывшего пред ним и глянувшего необыкновенно добрыми глазами прямо в глаза ему.

— Фамилия? — услыхал Денис Иванович и ответил:

— Коллежский секретарь Радович,— не узнав своего голоса, точно не он, а кто-то другой назвал его.

Государь прошел мимо. Радович увидел его спину с отделившейся косичкой парика и затем море голов, лиц и плеч. Все спуталось и смешалось.

«И только-то? Зачем же меня звали?» — разочарованно и как-то тоскливо отозвалось в душе Дениса Ивановича.

Он решительно не знал, что же ему делать теперь, очутившись в следовавшей за государем толпе, увеличивавшейся по мере того, как шел он. Кто-то толкнул его, другой задел шпагой; он хотел посторониться и сам толкнул, но на это не обращали внимания.

Денис Иванович по своему небольшому чину стоял из последних. Он силился подняться на цыпочки, чтобы поверх толпы взглянуть еще раз на государя, и поворачивал голову в ту сторону, куда ворочались остальные, но увидел только верх двери, как растворилась она и опять затворилась.

По залу сейчас же пошел раскат говора.

— Что он сказал? А? Что? Кого?.. Радович? Кто Радович, Радович, Радович, Радович...

И сотни голосов и уст повторили имя Дениса Ивановича.

Он больше по чутью, инстинктивно потянулся к двери и как-то общими усилиями непроизвольно очутился возле нее.

— Вы — Радович? — близко у его лица спросил церемониймейстер.

В это время из двери высунулась курчавая пудреная голова и тоже произнесла:

— Радович!

Дениса Ивановича как будто воздухом втянуло в дверь.

В гостиной, куда он попал, было прохладнее и темнее, чем в зале, и хотя она была гораздо меньше зала, но казалась просторнее, потому что была пуста. Курчавый пудреный Кутайсов, которого видел Радович на балу и узнал теперь, показал ему рукою следовать за ним и повел. Они миновали еще комнату и вошли в кабинет. Кутайсов остался за дверью.

Государь ходил по комнате и, повернувшись, приблизился к Денису Ивановичу. Глаза его теперь были строги, но лицо улыбалось.

— Вы, сударь, я слышал,— якобинец? — проговорил он, отчетливо отделяя каждый слог каждого слова.

Денис Иванович почувствовал, как словно что вспыхнуло у него в груди и затрепетало.

— Ваше величество,— вырвалось у него,— я — верноподданный моего государя и песчинка того народа, который любит и чтит его.

— Вы — дворянин?

— Пред русским царем нет ни дворян, ни крестьян, никого; все — один народ русский!

Глаза Павла Петровича вдруг прояснились. Он близко подошел и, взяв за отворот мундира Радовича, как бы с удивлением, пораженный, спросил:

— Ты понимаешь это?

— Я это чувствую вместе с миллионами русских людей, ваше величество.

— А там они не чувствуют и не понимают этого,— кивнул головой Павел I в сторону зала и, опустив руки, снова стал ходить по комнате.— Не понимают,— повторил он, как бы рассуждая сам с собою,— они кичатся своим дворянством и просят подачек, не понимают, что санкюлоты не против короля пошли, а против них и вместе с ними, из-за них погубили короля. А вот им пример — Кутайсов. Кто он был? А я захотел и дал ему и дворянство, и титул. А они не понимают, что это — пример им... Я свел уже барщину для крестьян на три дня и дал им праздничный отдых.— Государь остановился и опять подошел к Радовичу.— Я слышал, сударь,— сказал он, круто обрывая свою речь,— о вас хорошие отзывы, а между тем ваша матушка

иного мнения. Она жалуется на вас... Я ее видел вчера. Она говорит, что вы даже слуг возмутили против нее. Чем объясните это?

Денис Иванович хотел говорить, но запнулся и задохнулся от нахлынувших слов, которые просились наружу. Он слишком многое хотел сказать сразу, чтобы иметь возможность сказать что-нибудь. И, не зная, с чего начать, а вместе с тем чувствуя, что многословие ничему не поможет и ничего не объяснит, он желал одним бы словом передать все, что происходило в нем вчера и сегодня. Но это было, разумеется, невозможно, и пришлось говорить.

И вот — словно им руководила внешняя, посторонняя сила, хотя эта внешняя, посторонняя сила была в нем самом,— он заговорил то, что как бы само собою вышло у него:

— Ваше величество! Сегодня, тринадцатого мая, тридцать четвертая годовщина смерти моего отца. Тридцать четыре года тому назад — я тогда только что родился — он приехал по делам из деревни сюда, в Москву, с управляющим и лакеем. Они остановились в нашем доме. Отец не захотел отворять большие комнаты и поместился в мезонине, наверху. Здесь его нашли мертвым, и было решено, что он умер скоропостижно, ночью. Такое свидетельство было выдано врачом.

Павел Петрович повернул у стола кресло с высокою спинкой так, что яркая карсельская лампа, горевшая на столе, осталась сзади, опустился в кресло и, облокотившись на руку, наклонил голову, скрыв лицо.

— Продолжай! — сказал он.

— Что произошло в эту ночь в комнате,— продолжал Радович,— видели, конечно, одни только стены. Они лишь остались свидетелями, но они остались. Комната была заперта, и в нее никто не входил в продолжение многих лет. Весь мезонин у нас был необитаем. Впоследствии, когда я вышел из опеки, я переселился в этот мезонин и занял две смежные комнаты с запертою. Никто не знал, что я сделал ключ и отпер эту комнату. Я прибрал ее, очистил пыль, привел ее в порядок, но тщательно сохранил в ней все, как было. Я стал изучать ее. Осторожно, из расспросов старых слуг, узнал я, какое было одеяло у отца, какая постель и какие вещи, и все потихоньку возобновил, даже дорожную шкатулку отца поставил на место, как могла она стоять при нем. Вместе с тем я внимательно оглядел все. Над постелью на стене, на бумажках, которыми она была обита, я заметил царапины и изъяны, как бы следы

борьбы. Это было первым указанием, подтверждавшим то, что смутно чувствовалось мною. Но это указание долгие годы оставалось единственным. Я искал доктора, выдавшего свидетельство, и не мог найти его. Я наблюдал за управляющим и лакеем, который был сделан дворецким, и не мог заметить в них ничего подозрительного. Они держали себя с замечательной выдержкой и самообладанием. Странно было только, что комната была заперта наверху и ее боялись, и что лакей, бывший с управляющим при отце в Москве, попал в дворецкие. Управляющий завладел всем домом и стал полным хозяином. Ребенком меня заставляли целовать его руку...

— Довольно, дальше! — перебил государь.

— Дальше? Потеряв всякую надежду найти какие-нибудь новые факты, я решил как-нибудь случайно, ночью, при свете лампадки ввести в возобновленную мною комнату управляющего вместе с лакеем и посмотреть, какое на них произведет это впечатление. Нужно это было сделать неожиданно, а для этого необходим был случай. Я стал ждать. И вот третьего дня случилось все как бы само собою... Видит Бог, государь, я был почтительным и покорным сыном. Моя мать управляла домом, ей угодно было, чтобы распоряжался всем управляющий,— я не препятствовал. Я жил в своем мезонине и целые дни проводил либо в сенате, на службе, либо за книгами, дома... Третьего дня произошло у меня первое и единственное столкновение с управляющим из-за того, что я узнал, что он хотел наказать без вины человека. Столкновение было при матери. Он был поражен, удивлен и сильно обеспокоен происшедшей во мне переменой, то есть тем, что я, тихий, робкий и глупый, каким я казался им, заговорил. Когда я поднялся к себе наверх, какой-то голос стал шептать мне, что они придут, придут ночью за мною. Было ли это предчувствие, откровение — не знаю, но только я почему-то не сомневался в этом. Я отворил отцовскую комнату, затеплил в ней лампадку и лег в постель. Мне казалось, что именно так надо было поступить. И они пришли. Впечатление, произведенное на них обстановкой, сейчас же выдало их: управляющий уронил свечу и бросился прочь, а лакей остался в перепуге и сознался во всем. Весь ужас теперь для меня в том, что я не знаю, что известно моей матери о смерти отца и каково ее участие в этом деле.

Павел Петрович в продолжение рассказа несколько раз утирал лоб платком.

— И не смей узнавать, не смей разбирать! —螺прогово-

рил он вдруг, когда Радович сказал о матери.— Не тебе судить ее. Не твое дело. Это — дело Божье. Ты тут — не следователь и не судья. Если тебе откроется — хорошо, а нет — сам не старайся... Терпеть надо, терпеть. Ты — сын и терпи. Знаю, в одном доме — тяжело. Все оставь ей, все! Оставь дом,— тебе будет, чем прожить. Я возьму тебя к себе в Гатчину.— Государь замолчал и задумался.— Не в Гатчину уже, а в Петербург,— поправил он медленно после некоторого молчания и вздохнул.— Завтра же сделаю о тебе распоряжение, поезжай!.. В Петербурге увидимся... А теперь ступай, ступай! — показал Павел Петрович на дверь.

Словно в чаду, вышел Радович из кабинета государя и вернулся в зал.

Толпа там сильно поредела, но все-таки еще оставалось много народа, как будто занятого разговором, а на самом деле каждый тут в тайнике души надеялся, а не позовут ли его вдруг в кабинет на отдельную аудиенцию. Все, дескать, может случиться.

Один отставной генерал-поручик Вавилов, также представлявшийся сегодня в числе прочих в своем екатерининском мундире, с которым был отставлен и при виде которого поморщился государь и прошел мимо Вавилова, не остановившись,— не ждал, что его позовут, но оставался, чтобы увидеть Дениса Ивановича, когда тот выйдет из кабинета. Он счел своею обязанностью сделать это, то есть опекнуть молодого человека, в доме матери которого он бывал запросто.

— Прекрасно, прекрасно! — пробасил он, встретив Радовича.— Ну, что... прекрасно?..

— Назначен в Петербург, перевожусь,— выговорил Денис Иванович, захваченный врасплох, сам не зная, как вырвались у него слова.

— Прекрасно! — одобрил Вавилов и хотел было послушать дальше рассказ Дениса Ивановича, но тому пришло сейчас же в голову, что какое дело до него генерал-поручику и остальным, и что не надо нарушать какими бы то ни было рассказами то благостное, возвышенное впечатление, которое произвел на него разговор с государем, и он, откланявшись Вавилову, пошел к выходу.

Однако Радович не скоро еще добрался до него. Его останавливали на каждом шагу, пожимали руку, напоминали о своем знакомстве с ним, и даже старики забегали вперед его, дружелюбно кивали ему и заговаривали с ним.

Вавилов прямо с представления, как был в парадном

мундире, отправился к Марье Львовне Курослеповой, которая, чтобы истратить часть взятых взаймы у Радович денег, давала сегодня вечер и взяла с генерал-поручика слово, что он приедет к ней прямо из дворца.

— Ну, батюшка, рассказывайте, садитесь и рассказывайте! — встретила его Марья Львовна.— Ну, что было?

Генерал-поручик расселся важно в креслах и сказал:

— Прекрасно!..

— Да вы рассказывайте, батюшка, что же прекрасного-то?

И сама Курослепова, и все ее гости жаждали, разумеется, поскорее узнать, что происходило на приеме. Около Вавилова все составили круг и приготовились слушать в молчании.

— Прекрасно, это того... знаете... прекрасно... вообще... так сказать... прекрасно, и все,— рассказывал Вавилов, размахами руки стараясь помочь себе и воображая, что красноречив и образен, как оратор в английском парламенте.

— Ну, государь-то что?

— Э-э-э... и государь... тоже... прекрасно...

— Говорил с вами?

— Вообще... того... прекрасно!

— Много народа было?

— Прекрасно... Денис Радович того...

— Что Денис Радович? И он был?

— О, да!.. Прекрасно!..

— Что ж он?

— Того... в Петербург... прекрасно...

— Денис Радович получает назначение в Петербург! — воскликнула Марья Львовна.— Вот так новость! Да не может быть!

— Отчего же... того... прекрасно! — возразил Вавилов.

— Ну, ловко Екатерина Лопухина дела ведет! — всплеснула руками Курослепова.

У нее были только свои, то есть принадлежащие к старой, екатерининской, «недовольной» партии, и потому она не стеснялась.

— А почему же Екатерина Лопухина? Она тут при чем относительно Радовича? — стали спрашивать кругом.

— А она... того... прекрасно,— стал было объяснять Вавилов, чувствовавший себя, так сказать, на трибуне и потому считавший, что должен отвечать на всякие вопросы, хотя и сам тоже не знал, при чем тут была Екатерина Лопухина.

Марья Львовна перебила его и объяснила, в чем, по ее мнению, заключалась суть дела.

А на другой день бывшие у нее гости разносили по всей Москве известие, почему «идиот» Радович получает блестящее и неожиданное назначение в Петербург.

Майор Бубнов и штабс-капитан Ваницкий, списывавшие стишки в альбомы и ведшие дневники, записали этот «неопровержимый» факт и, искренне веря ему, засвидетельствовали о нем, как современники, пред потомством.

XV

На другой день в сенате Радовича призвал к себе Петр Васильевич Лопухин и объявил ему, что он пожалован в камер-юнкеры, переводится в Петербург за обер-прокурорский стол и, кроме того, ему назначено по три тысячи ежегодно за службу его отца при покойном государе Петре III. Распоряжение объявить о том Радовичу Петр Васильевич получил лично от императора на утреннем докладе. Он поздравил Дениса Ивановича и потом добавил:

— Кстати, жена о вас спрашивала; приезжайте к ней сегодня.

«Отчего мне и не поехать?» — подумал Денис Иванович, выходя из сената и вспоминая, что в первое посещение у Лопухиных ему было не только очень приятно, но даже что-то очень хорошо.

И он поехал.

Екатерина Николаевна сидела в гостиной и разговаривала с Кутайсовым, когда явился Радович. Она очень мило приняла Дениса Ивановича, Кутайсов тоже очень любезно раскланялся с ним.

«Вот Кутайсов — это пример им!» — вспомнил Радович и улыбнулся.

— Веселитесь, веселитесь, молодой человек,— одобрил его Кутайсов,— вам прилично теперь быть веселым.

— Поздравляю вас с царскою милостью,— сказала Лопухина, уже знавшая от Кутайсова о назначении Радовича.— Ну, идите в сад,— обернулась она к Денису Ивановичу.— Там Анна Петровна с молодежью. Вам там будет веселее... Идите! — и, кивнув головою, она отпустила Радовича в сад, как будто он был маленький, порученный ей, баловливый ребенок.— Ну, право же, он — вполне подходящий для нас человек! — сказала она Кутайсову, когда Денис Иванович ушел.

— Может быть. Я поэтому сделал для него все, что мог! — скромно заявил Кутайсов, пожав плечами, как будто Радович был ему обязан царскою милостью.

— Благодарю вас,— с чувством сказала Лопухина.

— Все, что от меня зависит, я сделаю,— продолжал Кутайсов.— Третьего дня я прямо сказал государю... Он мне заметил, что народ в Москве более любит его, чем петербургский, а я вставил, что это меня не удивляет. «Почему же?» — спросил он. «Не смею сказать...» — Кутайсов запнулся, но сейчас стал рассказывать дальше: — «Но я тебе приказываю»,— сказал мне государь. Он так и сказал: «Я тебе приказываю...» — «Ваше величество, обещайте, что вы не передадите никому, что я скажу».— «Обещаю».— «Ваше величество,— заговорил я,— дело в том, что здесь вас видят таким, каким вы изволите быть в действительности,— благим, великодушным и чувствительным, а в Петербурге, если вы оказываете милость, все говорят, что ее величество или госпожа Нелидова, или Куракины выпросили ее, так что, когда вы делаете добро, то это — они; если же кого покарают, то это вы караете». Государь сейчас сдвинул брови и спросил меня: «Значит, говорят, что я даю управлять собою?» — «Так точно, государь».— «Ну, хорошо же, я покажу, как управлять мною». Ну, вы знаете государя,— он в гневе подошел к столу и хотел писать, я бросился к его ногам и умолил на время сдержать себя.

Из всего этого было правдою только то, что «государь подошел к столу», но Кутайсов так долго готовил в своем воображении эту сцену, что не мог отказать себе в удовольствии пережить ее хотя в рассказе.

А Екатерина Николаевна слушала и радовалась, что их дело находится в опытных, хитрых и сильных руках.

Денис Иванович нашел в саду Анну, Валерию, ее тетку и молодого офицера, князя Павла Гавриловича Гагарина. Оплаксина сидела на скамейке, а молодые люди ходили взад и вперед по аллее.

Радович присоединился к ним. Сначала они прогуливались вчетвером, разговаривая все вместе, но мало-помалу Анна с Гагариным отстали, и Денис Иванович остался с Валерией. Они шли некоторое время рядом, молча.

— Скажите мне, Денис Иванович,— спросила Валерия,— у вас есть враги?

Не было ничего удивительного, что она спросила его, потому что разговоры на отвлеченные, чувствительные темы были тогда особенно в моде; но Радовича поразил

ее вопрос. Последний слишком разительно подходил к его настроению и к его мыслям, охватывавшим его. Он был согласен на то, чтобы «терпеть», как приказывал ему государь вчера, но не знал и не мог решить, как это сделать относительно внутреннего своего «я».

— Да, у меня есть враги или, вернее, один враг,— ответил он.

— Неужели?

— Вас это удивляет? Отчего?

— Потому что вы мне кажетесь таким добрым, таким добрым, что другого я, кажется, не знаю.

— Благодарю вас за хорошее мнение!

— Ах, это — не мнение и не просто так, а я от всей души, искренне!

Валерия не глядела теперь на небо, а глаза ее были устремлены на него, Дениса Ивановича.

И вдруг ему стало как будто очень весело идти так с нею рядом и разговаривать.

Как ни странно это было, но он впервые в жизни был один на один не только с девушкой, но вообще с существом женского пола. И ему это было и смешно, и вместе с тем боязно, но все-таки как будто весело.

— Позвольте мне спросить у вас,— начал он, погодя,— отчего вы задали мне именно этот вопрос?

— Про врагов?

— Да.

— А вот почему. Вы мне показались сегодня как будто грустны, озабочены чем-то или задумчивы. Ну, я и думаю, что если вас может что-нибудь заботить или тревожить, так это... как бы вам сказать? — если вы не можете всех любить, а остальное все для вас ясно и об остальном вы не печалитесь... Мне кажется, вы — такой человек...

«Да, я — такой человек!» — мысленно согласился Денис Иванович, удивляясь, что Валерия разгадала его и понимает его совсем так, как и он себя понимает.

Он был уверен,— не будь Зиновия Яковлевича, все бы было ясно в его жизни!

— Конечно, не вы ему, а он вам сделал зло,— продолжала Валерия.— Он должен быть очень злой человек...

«Рассказать разве ей все?» — мелькнуло у Дениса Ивановича.

— Я вас не допытываю и вовсе не хочу выведать вашу тайну,— пояснила Валерия.

«Нет, нельзя рассказывать, неловко»,— подумал сейчас же Радович и спросил:

— Ведь мы говорим вообще?

— Да, вообще!

«Ну, конечно, неловко!» — решил он.

— Я хочу только сказать,— опять продолжала Валерия,— что если вам сделали зло, то это легко уничтожить, и так, что будет совсем, как не было.

— Как же это?

— Простить.

— Хорошо. Я могу простить, если зло сделано только мне. Ну, а если не мне одному, а другому еще?

— Пусть и он простит.

— Ну, а если он умер, и я остался тут и за него, и за себя?

— Тогда все-таки все зависит от вас. Тот, который пострадал, как вы говорите,— пострадал невинно и умер?

— Да.

— Значит, он в небесах.— Валерия рассуждала с такой убежденностью, точно ей была дана исключительная привилегия знать и объяснять, что делается в небесах.— А если он на небесах,— поспешила она сделать вывод, и голос ее зазвучал торжественно,—то он, наверное, простил, потому что там все добрые. Вы не беспокойтесь... Вы только о себе постарайтесь... постарайтесь простить, примириться...

— Если бы это легко было! — вздохнул Денис Иванович.

— Тогда не было бы заслуги с вашей стороны.

— А для чего мне эта заслуга?

— Как для чего? Чтобы сделать добрым того злого, вашего врага... Если вы примиритесь с ним, то и он не будет питать против вас злобы и станет добрым.

Денис Иванович испытывал странное ощущение, точно у него по мере того, как говорила Валерия, вырастали крылья, и он, отделяясь от земли, поднимался на воздух. Он не соображал, что в этом воздухе стояла весна, и он, дыша этим воздухом, гулял впервые в жизни с девушкой, да еще перезрелой и не только желавшей понравиться вообще мужчине, но понравиться именно ему, Денису Ивановичу.

«Да, она права, она права,— повторял он себе,— и как хорошо говорит она!»

Екатерина Николаевна, проводив Кутайсова и выйдя на террасу, чтобы спуститься в сад, очень удивилась, увидев Дениса Ивановича в паре с Валерией гуляющим по дорожке, и Оплаксину, которая сидела на скамейке и дремала. Анны и Гагарина не было.

Екатерина Николаевна осторожно сошла с террасы и, обогнув кусты сирени, направилась, крадучись, по боковой аллее, закрытой кустами. Она дошла почти до самого пруда, где был островок со скамейкой, обсаженной, как беседкой, акацией. Там, за этой акацией, она услыхала голоса.

— Что бы ни было,— сказал голос Анны,— клянусь тебе, что я твоя и никому другому принадлежать не буду.

Екатерина Николаевна остановилась, как будто у ее ног неожиданно разверзлась пропасть, в которую боялась упасть она. Она сейчас же сообразила, что, если сделать еще шаг и застать Анну с молодым князем наедине,— не избежать огласки, потому что близко посторонние. Огласка же может испортить, разрушить весь задуманный план и погубить все дело. Придется сейчас же выгнать вон этого офицера, которого Екатерина Николаевна «проглядела», не заметив, что между ним и Анной было какое-нибудь чувство. К тому же она знала Анну и то, что с нею нужно было действовать осторожно, так как иначе она, дочь, была способна на безумную, пожалуй, выходку. Поэтому Екатерина Николаевна тише и осторожнее, чем подкралась, отошла подальше и подала голос, как будто ища все общество и не находя его. Затем она снова обогнула сирень, и, в то время как выходила на дорожку, с другой стороны показались Анна с Гагариным.

— Что вы тут делали, чем занимались? — спросила Екатерина Николаевна, подходя к Оплаксиной, возле которой были уже обе молодые пары.

— Да ничего, все тут сидели, разговаривали,— ответила Анна Петровна, только что проснувшаяся и испугавшаяся, что ее уличат в этом.— Так как же, Екатерина Николаевна, вы берете кружево? — пристала она к Лопухиной, идя в дом рядом с нею.

Она привезла кружево, которое не удалось ей продать вчера Радович.

Екатерина Николаевна рассчитывала в это время, вспомнив букву и точки, которые видела с Кутайсовым, сколько букв в фамилии Гагарина? «Семь»,— сосчитала она и убедилась, что «Г» с точками значило вовсе не «государь», как с апломбом, не обинуясь, объяснила она Кутайсову, а «Гагарин».

— Так как же кружево-то, Екатерина Николаевна? — не унималась Оплаксина.

— Ах, Анна Петровна! Я сказала вам, что беру, и возьму,— успокоила ее Лопухина.— Не беспокойтесь!

— Да ведь пуганая ворона на молоко дует. Вот вчера тоже Лидия Алексеевна хотела взять, а потом назад,— деловито рассуждала Оплаксина, конечно, перепутав пословицы.

Но Екатерина Николаевна уже не слушала ее.

«Залетела ворона не в свои хоромы,— думала она про Гагарина.— Нет, дружок, тут тебя не надо, и мы с тобой справимся!»

XVI

На утро шестнадцатого мая был назначен отъезд императора из Москвы. Экипажи были поданы. Весь генералитет и весь штаб и обер-офицеры московского гарнизона толпились у подъезда дворца.

На верхней площадке крыльца ходил человек с портфелем под мышкою, погруженный в задумчивость. Это был статс-секретарь его величества Петр Алексеевич Обрезков. Он сопутствовал государю и должен был сидеть в карете возле царя и докладывать ему дела, в производстве состоящие.

— Отчего он такой мрачный? — спрашивали внизу, глядя на Обрезкова.— Смотрите, глаза у него сверкают, как у волка в ночное время.

— Весьма понятно! — заявил юркий адъютантик при главнокомандующем фельдмаршале Салтыкове, считая себя обязанным по «своему положению» все знать.

— Отчего же понятно? — строго проговорил один из армейских генералов, чувствовавший некоторую зависть к адъютантику, которому действительно, вероятно, известно было больше, чем ему, генералу.

— Да, прекрасно! — пробасил бывший тут же Вавилов.

— Как же,— стал объяснять адъютантик, довольный тем, что он вот говорит, а генералы его слушают.— Ведь «негоциатор» отправился сейчас к Лопухиным за решительным ответом.

— Какой негоциатор?

— Да Кутайсов же,— укоризненно ответил уже генерал, как бы даже удивленный, что спросивший не знает таких простых вещей.

— Прекрасно! — одобрил Вавилов.

— Ну, решительный ответ Лопухиных и тревожит спокойствие души господина Обрезкова,— продолжал адъютантик.— А что, если негоциатор привезет не «да», а «нет»! Ведь тогда ему докладывать дела разгневанному

отказом государю — все равно, что идти по ножевому лезвию.

— А разве Кутайсов поехал к Лопухиным?

— Да, я сам слышал, как он приказал кучеру ехать туда,— сказал адъютантик.

Он действительно слышал, как Кутайсов, выйдя и сев в карету, приказал ехать к Лопухиным. Но все дальнейшие выводы, вплоть до осведомленности о состоянии души Обрезкова, были, разумеется, плодом его собственного воображения.

Кутайсов действительно, воспользовавшись тем, что государь был занят с фельдмаршалом Салтыковым, отправился к Лопухиным потому, что получил от Екатерины Николаевны записку, что ей во что бы то ни стало нужно видеть его пред отъездом. Государь и не знал, куда поехал его гардеробмейстер.

Пока еще говорил адъютантик, к крыльцу подскакала карета. Кутайсов выскочил из нее, быстро поднялся по ступенькам на верхнюю площадку и громко сказал Обрезкову:

— Все уладил, наша взяла!..

Император вышел, продолжая разговор с Салтыковым, и, пред тем как сесть в карету, обнял его и сказал:

— Иван Петрович, я совершенно вами доволен. Благодарю вас и не забуду вашей службы и усердия.

За государем сел в карету Обрезков, и поскакали...

Ясно было, что император, довольный произведенными маневрами, все время до кареты разговаривал на прощанье с главнокомандующим, и ни Кутайсов, ни какой иной «негоциатор» не имел времени делать ему таинственные доклады о «да» или «нет», но на канве, сымпровизированной в рассказе адъютантика, Москва сейчас же стала вышивать различные хитрые и путаные узоры.

«При всех дворах,— пишет один из наблюдательных современников того общества,— есть известный разряд людей, безнравственность коих столь же велика, сколько опасна. Эти низкие натуры питают неодолимую ненависть ко всем, не разделяющим их образа мыслей. Понятие о добродетели они не могут иметь, потому что оно связано с понятием об уважении к закону, столь страшному для них. Сильные своею злобою, они считают коварство за ум, дерзость в преступлении — за мужество, презрение ко всему на свете — за умственное превосходство. Опираясь на эти воображаемые достоинства, они, вопреки своему ничтожеству, добиваются званий, которые должны были бы служить наградою истинных заслуг государству. Вокруг

Павла сошлось несколько подобного закала господ, выдвинувшихся еще в предыдущее царствование. Они сблизились без взаимного уважения, разгадали друг друга, не объясняясь, и стали общими силами работать над устранением людей, которые явились им помехою».

Только после отъезда государя всколыхнулась Москва по-настоящему, как потревоженный пчелиный улей, и загудела уже вовсю теми сплетнями и пересудами, которые во время пребывания Павла Петровича лишь намечались словоохотливостью какой-нибудь Марьи Львовны или самодовольною хвастливостью всезнания какого-нибудь адъютантика.

Лидия Алексеевна оставалась некоторое время в стороне от этого жужжания, потому что заболела, слегла и никого не видела. У нее разлилась желчь. Ее сажали в горячую ванну и тем только отходили. Припадок желчной колики прошел у нее, опасность миновала, но ей было предписано полное спокойствие. Дениса Ивановича к матери не пускали. Никто, кроме Зиновия Яковлевича, не имел к ней доступа.

Денис Иванович в сенате сдавал теперь дела, готовясь к переезду в Петербург, согласно новому своему назначению. Работы у него было меньше, потому что он был занят главным образом тем, что знакомил с делами своего заместителя, назначенного на его должность.

Дома он отправлялся прямо к себе наверх и оставался там, даже не спускаясь в сад на прогулку, а довольствуясь для этого своею вышкой, по маленькому пространству которой он ходил теперь особенно много. Он ходил, беспрестанно поворачиваясь, и в мыслях у него вертелось постоянно одно и то же: «Терпеть и простить. Простить и терпеть».

«Каждому человеку дано свое испытание, каждому положен свой крест,— думал Денис Иванович,— и мое испытание, мой крест — терпеть и простить! Много горя на земле, но одно и то же горе для каждой души будет различно по форме, как вода, принимающая форму сосуда, в который она налита. Кто таит и помнит в себе зло, тот поступает неправедно. И Христос, научивший нас прощать, открыл нам в прощении одно из божественных свойств и дал возможность этим путем приблизиться к Себе людям!»

Денис Иванович однажды вошел к себе в комнату, приблизился к столу и открыл толстую, лежавшую у него на столе книгу Четьи-Минеи, открыл наугад, где откроется. Не раз случалось ему загадывать так, и всегда его поража-

ло, что открывшееся место сходилось с его душевным настроением.

«Рассказывал Исаак чернец,— стал читать он с того места, куда случайно глянул.— «Была у меня некогда распря с братом, и затаил я против него гнев. Во время работы опомнился я и скорбел, что допустил соблазн в себе. Вывалилась работа из рук, и целый день не знал я, что делать. Тогда вошел в дверь ко мне юноша и, не сотворив молитвы, сказал: «Соблазнился ты, но доверься мне, я исправлю тебя». Я же отвечал ему: «Уйди отсюда и не приходи никогда, потому что ты не от Бога». И сказал мне: «Жаль мне тебя — ты губишь работу, а меж тем мой уж ты!» Я же ответил ему опять: «Божий я, а не твой, дьявол!» И сказал мне: «По справедливости дал нам Бог держащих гнев и злопамятных. Ты же три недели продолжаешь гневаться». Я же сказал ему: «Лжешь»,— а он мне опять: «Распаленная гиена не имеет памяти. У тебя зло к нему. Я же к помнящим зло приставлен, и ты уже мой». Когда я услышал это, пошел к брату и поклонился ему во имя любви, вернувшись, нашел сожженными работу свою и рогожницу, на которой поклоны клал».

Денис Иванович закрыл книгу. После этого он еще долго ходил по вышке, наконец решительно остановился, пошел к лестнице и спустился, не торопясь...

Лакеи вскочили и вытянулись при его появлении.

— Зиновий Яковлевич у себя? — спросил Радович.

Лакеи не выдержали и переглянулись между собою.

— У себя,— ответил Адриан, поставленный за старшего после исчезновения дворецкого Якова.

— Поди, доложи, что я хочу видеть их! — и Денис Иванович в собственном доме остался ждать, как проситель на лестнице, пока Адриан ходил докладывать.

— Просят,— сказал Адриан, вернувшись.

Корницкий занимал несколько комнат отдельной квартиры в нижнем этаже дома с ходом на общую парадную лестницу. Денис Иванович давно, ребенком, бывал тут у него и, когда вошел, не узнал комнат. Они казались ему по воспоминаниям гораздо больше, но некоторые вещи он сейчас не узнал: аквариум у окна с золотыми, дорогими рыбками, огромный кусок малахита, лежавший на столе, и подвешенные к люстре часы в виде шара с музыкой, особенно занимавшие его в детстве. В комнате никого не было, но по движению тяжелой портьеры Денису Ивановичу показалось, что за нею стоит Корницкий, выжидает и смотрит на него потихоньку.

Прошла долгая, тихая минута, пока портьера колыхнулась, и вошел Зиновий Яковлевич. Он остановился пред Денисом Ивановичем, закинув голову и дерзко и вызывающе смотря на него. Он не спросил, но вся фигура его говорила:

«Что вам угодно?»

Денис Иванович, чувствуя, что ему неприятно глядеть на этого человека, отвернулся было, но сейчас же заставил себя обратиться к Зиновию Корницкому.

— Я примириться с вами пришел,— проговорил он.

Зиновий Яковлевич быстрым взглядом оглядел его с головы до ног.

— Да. Примириться... совсем,— повторил Денис Иванович, не понимая, что с таким, каков был Корницкий, никак не могла произойти чувствительная сцена примирения.— Я простить пришел.

— Я не просил у вас прощения,— мотнув головою, пожал плечами Зиновий Яковлевич.

— И все-таки я пришел простить. Если вам когда-нибудь нужно это будет,— вспомните, что я вас простил... И отец простил...

У Радовича от умиления стояли слезы в глазах, он махнул рукою, закрыл ею лицо, повернулся и вышел, всхлипнув.

Корницкий поглядел ему вслед и, когда он ушел, громко сказал:

— Вот идиот!

XVII

Хотя из свидания с Корницким вышло вовсе не то, чего ожидал Денис Иванович, то есть вовсе не произошло того полного примирения, которого он искал, но все-таки он испытывал умиленное, тихое, радостное ощущение, и ему было очень хорошо.

И это хорошее связывалось с воспоминанием о Валерии. Она была несомненно причастна тут, и Денис Иванович чувствовал это.

Он нарочно отправился к Лопухиным, чтобы встретиться опять с ней, и встретился и, улучив время, успел ей рассказать о том, что по ее совету простил врага своего, и что ему, то есть самому Денису, очень легко теперь. По этому поводу они даже взялись за руки и поглядели в глаза друг другу. Потом Валерия сказала:

— Я не сомневалась в вас. Мне всегда кажется, когда я смотрю в ваши глаза, что я смотрю в небо!..

Она была уверена, что прикосновение их «чисто и непорочно», но Денис Иванович, когда взял ее руки, испытал незнакомое ему до сих пор волнение — ему захотелось поцеловать ее руку, но он не осмелился на это.

Дальше Радович зачастил к Лопухиным, где всегда встречал Валерию, которая аккуратно привозила сюда с собою тетку, уверяя Анну Петровну, что это было необходимо по самым разнообразным причинам. Последние всегда находились у нее, и она в отношении их выказывала необыкновенную изобретательность.

Екатерина Николаевна, прозевавшая увлечение падчерицы Гагариным, не замечала и того, для кого, собственно, ездит к ней Денис Иванович. Она была слишком занята высшими соображениями и планами будущего, не видела, что делается близко возле нее, и поощряла посещения Дениса Ивановича.

Впрочем, едва ли кому-нибудь могло в голову прийти, что Радович предпочтет красавице Анне «старое диво» Оплаксину. Но физическая страстная красота черноволосой Анны не прельщала его; он оставался холоден к ней и с каждым днем находил в Валерии все новые и новые духовные красоты.

Наконец однажды Анна Петровна пригласила его к себе, сказав:

— Не забывайте наш «pomme de terre» [1].

— «Pied-à-terre» [2],— поправила ее племянница.

И Денис Иванович был у них, но в четырех стенах маленького домика, занимаемого Оплаксиными, ему было далеко не так свободно, как в большом доме и саду у Лопухиных. Валерия тоже понимала это, и потому они чаще встречались под гостеприимным кровом Лопухиной.

Однажды, когда Денис Иванович вернулся со службы, ему доложили, что князь Павел Гаврилович Гагарин ждет его и желает видеть.

— Где же он ждет? — спросил Радович, смущенный неожиданностью происшествия не менее лакея, докладывавшего ему.

Появление князя, который спросил Дениса Ивановича и заявил, что он будет ждать его, показалось всем необычайным в доме, куда до сих пор езжали только к Лидии Алексеевне и где никогда никто не спрашивал «молодого барина».

---

[1] Яблоко.
[2] Уголок (квартирку).

— Они ждут в большой гостиной,— ответил лакей.

Гостя догадались провести в парадную гостиную, но Денис Иванович не захотел идти туда.

— Просите ко мне наверх,— приказал он и направился к себе.

Гагарин, войдя, отвесил церемонный поклон и, когда Денис Иванович попросил его садиться, сел, не снимая перчаток и держа свою офицерскую шляпу под мышкой.

— Могу я говорить с вами как с дворянином? — откашлявшись, начал он.

— Что ж,— улыбнулся Денис Иванович, светло глядя на него,— можно и как с дворянином. Только я больше люблю говорить просто, по-человечески.

— Тем лучше,— согласился Гагарин, принимая уже тон, который мог годиться только с человеком недалеким. О «глупости» Дениса Ивановича он слышал много, потому что о Радовиче говорили теперь все, но сам Гагарин видел его лишь раз у Лопухиных, во время своего свидания с Анной, подсмотрённого Екатериной Николаевной, и то мельком, и не мог судить, каков был Денис Иванович. Поэтому он заговорил с ним серьезно.

Однако Радович своим ответом как-то сразу показал свою простоту, и князь решил изменить тон.

— Тогда скажите,— стал прямо спрашивать он,— отчего вы так часто бываете у Лопухиных?

— Оттого,— ответил Денис Иванович опять совсем просто,— что мне нравится бывать там.

— Понимаю! Вы хотите этим сказать, что я не имею права требовать у вас отчета, и что вы не желаете, чтобы кто-нибудь стеснял вашу свободу действий?

— Да нет же,— перебил Радович,— ничего этого я сказать не хочу, а говорю прямо, что есть. Мне, право, очень нравится бывать там.

«Да он совсем глуп»,— подумал Гагарин и продолжал:

— Хорошо. Значит, у вас есть причины, почему вам это нравится?

Денис Иванович густо покраснел и потупился.

— Прав я или нет? — испытующе глядя на него, переспросил Гагарин.

Денис Иванович склонил голову, непроизвольно взял перо со стола и стал вертеть его, как пойманный на месте преступления школьник.

— Тогда, если вы молчите, сударь,— опять сказал Гагарин,— я доложу вам, зачем вы бываете там: вам нравится Анна Петровна.

— Тетка? — ужаснулся Радович.
— Какая тетка?
— Старуха Оплаксина.
— Вы изволите шутить. Я говорю про Анну Петровну Лопухину.
— Ах, нет,— обрадовался Денис Иванович,— нет, вовсе не нравится, то есть она мне нравится, я дурного про нее ничего не знаю, но не так... Нет, право, не так...
— Тогда выходит еще хуже. Зачем же вы бываете, зачем собираетесь жениться?
— Я собираюсь жениться?
— Да.
— На Анне Петровне Лопухиной?
— Да, об этом все говорят.
— Так ведь мало ли что говорят, но кто же, посудите, может знать на самом деле о таких вещах?
— Вот я желаю знать.
— Ну, так я вам говорю, что нет, и не думаю я об этом... честное слово, не думаю...
«Или он — совсем дурак, или прикидывается и хитрит»,— мелькнуло у Гагарина.
— Но в таком случае, что же означают ваши постоянные посещения?
— Да вы постойте, вы сами-то отчего волнуетесь?
— Я не волнуюсь, сударь...
— Нет, нет, милый,— жалобно сморщив брови, остановил его Денис Иванович.— Я не хочу вас сердить или обижать, я хочу помочь вам, чтобы вам было легче... Я вижу, что-то у вас есть... Постойте!.. Вы сами... как это?.. Ну, словом, вам самому нравится Анна Петровна... Так ведь? а?
— На этот счет я не нахожу нужным посвящать вас в какие-нибудь подробности, но только прямо говорю, что тот, кто осмелится мечтать об Анне Петровне, будет иметь дело со мною.
— Какое дело?
— Как полагается между дворянами — поединок.
— Зачем поединок? Не надо этого... Нехорошо... Так вы вот отчего беспокоитесь?.. Ну, так поверьте, я не буду мешать вам...
Ему очень хотелось, чтобы Гагарин почувствовал себя совсем хорошо, и чтобы его лицо прояснилось. Но тот сидел угрюмый и строгий.
— Так вы любите? — протянул Денис Иванович.— Это очень хорошо... Я понимаю...

— Ничего вы, как я вижу, не понимаете,— вдруг рассердился Гагарин.

— Нет, понимаю,— подхватил Денис Иванович.— Вот, видите ли, вы открыли мне свою тайну, и вы мне нравитесь. Вы мне и тогда у Лопухиных очень понравились... Хотите, будемте друзьями?.. Если бы у меня была тайна, я открыл бы вам ее, но у меня еще нет тайны. Однако я все скажу. Понимаете, я бываю у Лопухиных потому, что там бывает... Анна Петровна Оплаксина...

— Ну, так что ж?..

— Не понимаете?

— Ничего не понимаю.

— И ее племянница,— краснея опять до слез, выговорил едва слышно Радович.

Если бы Гагарин, услышавший теперь такое признание Дениса Ивановича, не видел его при первой своей встрече с ним, в саду у Лопухиных вместе с Валерией, то подумал бы, что тот желает, издеваясь, морочить его. Но теперь он вспомнил эту пару и сразу чутьем влюбленного уверился, что Радович говорит правду. Он просиял, и невольная широкая улыбка осветила его лицо. Конечно, для него был смешон Денис Иванович, влюбляющийся в Оплаксину, когда пред его глазами была — чудо красоты — Анна Лопухина.

— Я вам верю,— сказал он.

— Ну, вот и отлично! Значит, вы не тревожитесь больше?

— Послушайте, Радович,— заговорил Гагарин, откладывая шляпу и снимая перчатки.— Если бы, когда я ехал к вам, кто-нибудь стал пророчить мне, что мы сделаемся друзьями и не разведемся поединком, я посмеялся бы тому в лицо. Но вышло вовсе не так, как я предполагал, и вместо того, чтобы видеть в вас себе помеху, я вижу, что вы можете оказать мне некоторую помощь...

— Отчего же? С удовольствием, с большим удовольствием! — охотно согласился Денис Иванович.

— Дело в том, что я нежданно-негаданно назначен в корпус генерала Розенберга, который мобилизуется на австрийской границе для борьбы с французским консулом Бонапарте. Вероятно, мы пойдем на помощь австрийским войскам.

— Неужели? — сочувственно удивился Радович. Значит, вам уезжать надо?

— Конечно. Я, как офицер, не могу отказаться от назначения в корпус, который готов отправиться в дейст-

вие. Я должен ехать. Но мало того — меня отправляют туда курьером с пакетом с тем, чтобы я остался уже там, и отправляют спешно. Завтра утром я обязан выехать... Сегодня я узнал это. Я заезжал к Лопухиным, чтобы проститься, но меня не приняли.

— Как не приняли? — воскликнул Денис Иванович.— Не может быть!

— Сказали, что уехали с утра.

— Позвольте,— вспомнил Радович,— правда, вчера говорили,— они собирались в подмосковную к Безбородко; да, правда, они должны были уехать.

— Значит, это верно? — с некоторым облегчением произнес Гагарин.— А я думал, что именно меня не хотели принять...

На самом деле так и было. Екатерина Ивановна, знавшая о готовившемся Гагарину приказе, который был устроен ею, нарочно увезла сегодня ничего не подозревавшую Анну в подмосковную к Безбородко.

— А вам остаться еще на день нельзя? — попробовал спросить Денис Иванович.

— Немыслимо.

— Тогда знаете что? Напишите письмо, а я передам его так, что никто не узнает. Будьте покойны!..

Гагарин вдруг радостно взглянул на него и протянул ему обе руки, восклицая:

— Неужели вы это сделаете?

— Конечно, сделаю. Разве это трудно? И я вот что предложу вам. Я попрошу, чтобы она написала ответ, и я вам пошлю его, куда вы скажете. А потом вы опять напишете ко мне, и я передам, и так вы будете в переписке. Лопухины уезжают в Петербург, но и я перевожусь туда же...

— Никак не ожидал, никак не ожидал,— повторил несколько раз Гагарин.— Спасибо вам!

XVIII

Через три недели после отъезда государя в «Московских ведомостях» было напечатано в числе прочих назначений известие о переводе коллежского секретаря Радовича в Петербург за обер-прокурорский стол правительствующего сената, о пожаловании ему камер-юнкерского звания и даровании трех тысяч ежегодно.

Это было значительно меньше того, во что выросли в городских сплетнях посыпавшиеся на Радовича блага. Говорили, что он назначается статс-секретарем, обер-цере-

монниймейстером, а из трех тысяч было сделано уже тридцать.

Тем не менее и того, что выяснилось, казалось достаточным. Явилось официальное подтверждение, что «идиот» Радович, бывающий ежедневно у Лопухиных, переводится в Петербург. Значит, ясно, и не подлежит никакому уже сомнению, что он идет на сделку брака с Анной Лопухиной.

Людмила Даниловна, маменька двух толстых дочек, единственным достоинством которых была их невинность, прочла известие в «Ведомостях», как и все остальные, но взволновалась им гораздо больше остальных. Она с такою уверенностью наметила Дениса Ивановича в женихи одной из своих дочек,— все равно, которой,— и так упорно возила их и сама ездила к Лидии Алексеевне, что постигшее ее вдруг разочарование превзошло всякие границы. Она знала о ходивших слухах, но твердо надеялась, что Лидия Алексеевна не допустит, чтобы свершилась такая комбинация. И вдруг в самом деле назначение в Петербург, и камер-юнкер, и три тысячи!..

Людмила Даниловна надела парадный роброн и отправилась к Радович, одна, без дочерей, с деловым визитом. Она мнила до сих пор, что сама Лидия Алексеевна угадывает ее намерения и благосклонно поощряет их, и теперь желала объясниться по этому поводу.

Лидия Алексеевна, давно вставшая после болезни с постели, но медленно поправлявшаяся, первый день принимала сегодня посторонних, чувствуя себя достаточно уже окрепшей.

Ходившие по городу слухи не достигали до нее, потому что она никого не видела, а Зиновий Яковлевич, чтобы не беспокоить ее, ничего не рассказывал. Лидия Алексеевна ждала со дня на день указа об отдаче ей сына в опеку, надеясь на свое свидание с государем и на разговор с ним. Зиновий Яковлевич, чтобы ободрить ее и дать силы для выздоровления, поддерживал в ней ожидание указа, который, впрочем, и ему казался возможным ввиду поступка Дениса Ивановича, явившегося к нему. Он рассчитал, что, может быть, Денис Иванович — не такой уж круглый идиот, как это показалось ему в первую минуту, и приходил мириться с ним, проведав, что ему несдобровать. Корницкий ездил часто в опеку, чтобы наводить справки, как идет дело, и там мелкие чиновники, чтобы не упускать щедрых подачек, получаемых от него, водили его за нос и обнадеживали, хотя жалобная просьба Лидии Алексеевны на сына была давно положена под сукно.

Людмила Даниловна застала Лидию Алексеевну сидящею в креслах на балконе за пасьянсом. Радович была одета в свое обыкновенное платье — молдаван, введенный в моду для дома императрицей Екатериной II, и в чепчике с пышными лентами. Ее лицо было совсем коричневое, а белки глаз ярко-желтые. Она очень похудела и изменилась.

Людмила Даниловна влетела шумно и шумно заговорила сразу, в своем волнении пренебрегая тем, что Радович по своему болезненному виду была сама на себя не похожа.

— Лидия Алексеевна, что же это? — заговорила она, всплеснув руками.— Вы читали?

— Здравствуйте, очень рада вас видеть. Садитесь! Что я читала? — степенно, с расстановкой проговорила Радович.

— Да сегодня в «Московских ведомостях»?

— Что в «Ведомостях»?

— Сын ваш, Денис Иванович, назначен...

«Под опеку! — подумала Лидия Алексеевна.— Наконец-то!»

— Камер-юнкером,— договорила Людмила Даниловна,— и в Петербург переводится...

— Как камер-юнкером?

— Да, говорили — статс-секретарем, я и тому не верила, но камер-юнкером.

«Московские ведомости», получавшиеся у Радович, подавались непосредственно Зиновию Яковлевичу, и тот, когда нужно, рассказывал новости, а сама Лидия Алексеевна не читала газеты, считая это мужским, служебным делом.

— Я номер привезла,— продолжала Людмила Даниловна, доставая из ридикюля тетрадку и подавая ее хозяйке дома.— Вот, взгляните сами...

Радович взяла газету, повертела ее пред глазами, перелистала и протянула назад:

— Без очков не вижу, прочтите сами,— сказала она.

Она, бегло читая по-французски, разбирала по-русски почти по складам, но скрывала это.

Людмила Даниловна прочла.

Лидия Алексеевна долго сидела молча, соображая.

— Ну, так что ж? Милость государя,— пожала она плечами.— Сын Ивана Степановича Радовича, слуги отца императора, может получить царскую милость.

Как ни неожидан, как ни значителен был удар, нанесенный ей, гордая Лидия Алексеевна, несмотря на свою

болезнь, совладала с собой, чтобы не выказать при посторонней, что сын явно пошел против нее, и верх остался за ним.

— Да ведь он не за заслуги отца,— наивно бухнула прямо Людмила Даниловна,— он за то, что женится на Лопухиной.

— Как женится? — вспыхнула Лидия Алексеевна, почувствовавшая, что нашелся исход для забушевавшего в ней гнева.— Как женится? Я слышала об этих разговорах, но могу вам сказать, что мой сын, Радович, никогда не пойдет ни на какую сделку со своею совестью, а если что,— добавила она на всякий случай,— то я не допущу этого...

— Да как же не допустите, когда это уже случилось, Лидия Алексеевна?

— Вздор, ничего не случилось! — вставая с места, крикнула Радович.— Вздор! Сплетница! Вон, и чтоб духу твоего не было!

Людмила Даниловна знала, что Радович — женщина сердитая, но в первый раз увидела, что это значит. Она съежилась, задрожала и испуганно залепетала:

— Да ведь я, Лидия Алексеевна...

— Вон! — кричала Радович.— Или я не хозяйка у себя в доме? Я думаю, что, слава Богу, еще хозяйка... А, не хозяйка я по-вашему?

— Хозяйка.

— Ну, так вон! — и Радович, подступив к Людмиле Даниловне, с силой вытянутою рукою показывала ей на дверь.

«Батюшки, побьет!» — решила перепуганная маменька «невинностей» и кинулась действительно вон.

Радович упала в кресло, схватила звонок и со всей мочи затрясла им. Адриан, Василиса, дежурная горничная сбежались на этот отчаянный призыв.

— Проводить...— приказала Лидия Алексеевна,— проводить эту барыню, вымести двор за нею и чтоб никогда не пускать.

Она опять поднялась.

«Так-то, Екатерина Николаевна! Вы полагаете людей обводить? — закипело все ключом в ней.— Ну, погодите! Он все-таки мой сын, и я сделаю с ним то, что я хочу».

И она с небывалою еще после болезни у нее бодростью пошла.

Василиса было сунулась к барыне, чтобы поддержать ее под руку, но та оттолкнула ее и пошла одна.

Она поднялась по лестнице и отворила дверь в комнату сына.

Денис Иванович у своего стола чертил на бумаге что-то вроде плана квартиры, которую он мечтал нанять в Петербурге. На этом плане была гостиная и рядом с нею нетвердыми штрихами обозначался дамский будуар.

— Маменька! — воскликнул он, вскакивая при ее появлении.— Да как вы изменились! Что с вами?

— Со мной — то, что родной сын в гроб меня вколачивает,— начала Лидия Алексеевна, с трудом шагнув к стулу и упав на него. У нее хватило подъема сил только чтобы дойти до его двери, дольше держаться на ногах она не могла.— В гроб,— повторила она и, чувствуя, что не сможет говорить долго, прямо перешла к делу.— Сегодня в «Ведомостях» пропечатано о твоем назначении в Петербург и о прочих к тебе царских милостях.

— Да, так пожелал государь.

— Один ли государь?

— Кто же еще, маменька?

— А ты не знаешь?

Денис Иванович стоял пред матерью и испытывал одно лишь мучительное чувство жалости к ее болезненному, изменившемуся виду. Он знал, что для того, чтобы не раздражать ее еще, нужно было коротко и ясно отвечать на ее вопросы, и старался делать это.

— Не знаю, маменька! — произнес он.

— Послушай, Денис, ты затеял подлую штуку. Ты пошел против матери и, чтобы добиться своего, не пожелал разобрать средства. А знаешь ли ты, зачем тебя женят на Лопухиной? Я пришла, чтобы открыть тебе глаза. Ты по простоте не понимаешь... Не будет тебе моего благословения на этот брак. А если ты думаешь обойтись без моего благословения, так знай, что тебя женят...

— Да меня вовсе не женят, маменька!..

— Как не женят?

— Так! Я не хочу жениться на Лопухиной, уверяю вас.

— Лжешь! Лжешь пред своею матерью!.. Вот до чего дошло! — Лидия Алексеевна взялась за виски и с неподдельною скорбью протянула, закачав головою: — Радович, мой сын, и лжет! Не было еще лгунов среди Радовичей!

— Маменька, клянусь вам, я не лгу... Я могу доказать это.

— Как же ты докажешь, когда все явно говорит против тебя? Или ты уж так прост, что сам ничего не видишь и

позволяешь одурачивать себя? Но тогда зачем же ездишь к Лопухиным, зачем?

— Маменька, уверитесь вы, если я вам открою один секрет? Но только вам... и поклянусь?..

— В чем?

— В том, что если бы я женился на ком-нибудь, так это была бы не Анна Петровна, а другая... совсем другая...

— Другая?

— Довольно вам?

— Нет. Кто она, эта другая?

— Маменька, не заставляйте!

— Говори!

— Оплаксина Валерия, племянница Анны Петровны,— поспешно выговорил Денис Иванович, видя, что мать пошатнулась и с трудом втянула в себя воздух, задыхаясь.

— «Старое диво»? — вырвалось у Лидии Алексеевны.

— Маменька, если бы вы знали, какая у нее душа!.. Но только я никогда не женюсь, потому что это невозможно. Она говорит, что браки совершаются в небесах.

Лидия Алексеевна глубоко и легко вздохнула.

— И ты говоришь все это искренне?

— Клянусь вам.

— Что ты ни на ком, кроме девицы Оплаксиной, не женишься?

— Клянусь вам!

— Ну, хорошо, Денис Иванович, не отрекайся и сдержи свою клятву!

XIX

Анна Петровна Оплаксина сидела с Валерией, окруженная своими дворовыми, крепостными девками, в большой, светлой, выходившей окнами во двор последней комнате занимаемого ею домика. Все были заняты — и сама Анна Петровна, и Валерия, и девицы усердно постукивали коклюшками, плетя кружева.

Особенно ловко и споро ходили руки углубленной в свое занятие Валерии. Изредка к ней обращалась с вопросом какая-нибудь девушка; Валерия вставала, кротко и терпеливо показывала и объясняла, потом возвращалась на свое место и с прежним рвением принималась за работу.

Никто не знал, что кружева, которые постоянно продавала в пользу бедной старушки Анна Петровна своим знакомым, то есть всей Москве, были сработаны здесь, у нее, под ее и Валерии руководством. Анна Петровна не лгала: деньги шли действительно в пользу бедной старуш-

ки, но этой бедною старушкой была она сама, Анна Петровна.

Никто не знал, какова была жизнь Оплаксиной, и никто из так называемого «общества» не подозревал, что она недоедала куска, чтобы были сыты ее «детки», как называла она своих крепостных. Даже Валерию часто обделяла она, говоря, что «ты своя, родная, а они (то есть крепостные) Богом мне поручены и за них я Ему ответ должна дать!» И Валерия вполне соглашалась с нею и охотно переносила лишения.

У Анны Петровны под Клином была деревенька в пятьдесят две души мужского пола, и доходы, получаемые ею оттуда, оказывались крайне скудными, потому что оплаксинские крестьяне не знали, что такое барщина, и платили или, вернее, никогда полностью недоплачивали положенного на них до смешного малого оброка. Зато, правда, все они жили в избах под тесовыми крышами, и сердце Анны Петровны радовалось, когда она после утомительного пути на своих, на долгих, подъезжала к своему Яльцову, и издалека показывались эти блестящие на солнце, новые, как золото, и старые, как серебро, крыши. Одно, что делали аккуратно мужики Анны Петровны,— праздновали день ее рождения, приходившийся на десятое июля. Тут они являлись с приношениями яиц, огурцов, творога, масла и деревянных ложек, и Оплаксина, до слез тронутая этими подарками, отдавала последнее на их угощение.

Дворовых в городе из мужчин было у нее всего трое — кучер, ходивший за парой ее курчавых низкорослых деревенских лошадок, выездной и старик дворецкий. Остальной штат ее составляли девушки, которых она поила, кормила, выдавала замуж и у всех у них крестила потом и лечила детей; впрочем, последнее больше было делом Валерии.

Домик, занимаемый Анной Петровной в Москве, хотя очень небольшой, но все-таки приличный, нанимала она сверх своих средств, и вела достойную по внешности жизнь для поддержания имени Оплаксиных, отказывая на самом деле себе во всем и целыми днями работая вместе с Валерией над кружевом, продажа которого позволяла ей коекак сводить концы с концами.

Екатерина Николаевна Лопухина оставила у себя кружево, но денег не заплатила, и это беспокоило Анну Петровну.

— Валерия,— проговорила она, отрываясь от работы, которая шла у нее по-старчески, уже не так, как прежде,— что ж это Екатерина Николаевна насчет денег-то?

— Ну, что ж, отдаст! — успокоила ее Валерия, быстро перебирая коклюшки своими тонкими, бескровными пальцами.

— То-то отдаст! Ведь яичко дорого в Юрьев день!..

Несколько работниц, не стесняясь, фыркнули.

Анна Петровна обернулась.

— Ты чего? — сама улыбнувшись, спросила она у востроглазой, краснощекой Дуняши, особённо смешливой.

— Не в Юрьев, а в Христов день,— бойко ответила Дуняша, не могшая никак привыкнуть к вечным обмолвкам барыни.

— Ну, в Христов день... Вам бы все смешки надо мной! Ну, да ничего! Когда же вам и смеяться, как не теперь? Теперь для вас все — копеечная индюшка!

Дуняша опять не выдержала и расхохоталась.

— Иль опять не так? — удивилась Анна Петровна, вообразившая, что на этот раз она не сделала никакой ошибки.

— Чудно! — сказала Дуняша.

Она заметила, что барыня что-то снова перепутала, но не поняла, что Анна Петровна своей «копеечной индюшкой» хотела сказать, что молодым «жизнь — копейка, а судьба — индейка», потому они и смеются.

В дверь всунулась голова выездного, но сейчас же исчезла, и показался отстранивший его дворецкий.

— Госпожа Радович. Прикажете принять? — доложил он, как будто Анна Петровна по крайней мере сидела в дипломатической гостиной, а не в девичьей, где плели кружево.

— Радович?.. Господи помилуй! — удивилась Оплаксина, у которой Лидия Алексеевна бывала раз в год, да и то всегда по особому приглашению.— Проси, проси! — засуетилась она.— Валерия, слышишь? Радович приехала...

— Они просят кресло подать и чтобы в креслах их из кареты вынести, потому нездоровы,— доложил дворецкий.

— Ну, хорошо, вынеси... из гостиной возьми. Что ж это, Валерия? — обратилась Анна Петровна уже растерянно к племяннице,— больна, в креслах — и вдруг к нам!.. Пойдем, надо встретить...

— Идите, ma tante, я сейчас,— могла выговорить только Валерия.

Сердце у нее замерло. Ясно было, что приезд Радович означал что-то необыкновенное, важное, от чего жизнь зависит, но только что — хорошее или дурное?

Валерия вместо того, чтобы идти за теткой, бросилась в спальню и там, сжав у груди руки, бледная, с выступившим холодным потом на лбу опустилась на колени перед киотом. Она не могла сосредоточиться на словах какого-нибудь определенного моления, жадно, почти дерзко, неистово и исступленно смотрела на любимый свой старинный образ Богоматери и как бы ждала в своем трепете, что он явит ей.

— Барышня, вас тетушка спрашивает,— услыхала она голос горничной, присланной за нею.

Валерия встала, перекрестилась и пошла.

Посреди гостиной, в креслах, в которых внесли ее сюда, сидела Лидия Алексеевна Радович. Пред нею стояла Анна Петровна и утирала платком слезы на глазах.

— Валерия,— сказала тетка,— Лидия Алексеевна делает нам честь,— она всхлипнула,— просит твоей руки для сына ее, Дениса Ивановича.

Валерия со всего маху грохнулась на пол в обморок.

Лидия Алексеевна немедленно после объяснения с сыном, сойдя вниз, велела заложить карету и отправилась к Оплаксиным.

«Если Екатерина Лопухина желает обвести моего глупого Дениса,— рассчитала она,— то я ей устрою сюрприз, какого она не ожидает!»

И она уже заранее представляла себе, какое сделает лицо Екатерина Николаевна, когда Денис Иванович, которому она, как думала Радович, выхлопотала царскую милость в надежде, что он женится на ее дочери, будет объявлен женихом «старого дива», Оплаксиной!

А уж если необходимо было выбирать ей невестку, то лучше тихой, скромной и тоже недалекой, какою все считали ее, Валерию, и найти было трудно.

«Они — два сапога пара»,— решила Лидия Алексеевна и, собрав последние силы, поехала к Анне Петровне, поймав, так сказать, сына на слове с тем, чтобы, когда официальное предложение будет сделано, отрезать ему путь к отступлению.

Валерию привели в чувство. Отказа, разумеется, не последовало, и Лидия Алексеевна, вернувшись домой, призвала к себе сына.

— Я сейчас от Анны Петровны Оплаксиной,— сказала она ему.— Она согласна на твой брак с ее племянницей Валерией.

— Маменька, да как же вы это так? — всплеснул руками Денис Иванович.— Да ведь я только в будущем...

— Зачем откладывать в будущее то, что можно сделать в настоящем?

— Да как же? Да разве возможно это?

Через полчаса Денис Иванович входил, сияя своим новым мундиром, к Оплаксиным. Он был очень смущен и сконфужен.

Валерия встретила его одна в гостиной. Радович подошел к ней, взял ее за руку и не знал, что ему делать с этой рукой. Она сочла нужным томно вздохнуть, потому что читала в романе, что в таких случаях девицы вздыхают томно. Но вдруг она не выдержала. Радость, переполнившая ее душу, просившаяся наружу, преодолела ее, она вскинула руки, взяла Дениса Ивановича за щеки и, глянув на него счастливыми, прекрасными в своем счастье глазами, просто проговорила: «Милый мой, да как же любить тебя буду!..» — и прижала его к себе, а он заплакал от никогда еще в жизни не испытанной ласки.

XX

Свадьба Дениса Радовича с Валерией была отпразднована скоро, сейчас же, как кончился Петровский пост.

Молодые уехали после свадьбы в Петербург, куда Денис Иванович отправлялся по новому своему назначению. С ними поехала Анна Петровна, которую они уговорили не оставлять их.

Петр Васильевич Лопухин в августе месяце перешел из Москвы в Петербург, где занял должность генерал-прокурора. С ним переехала его семья. Зародившаяся в Москве сплетня потянулась в Петербург за Анной и дошла до того, что говорили, будто бы Павел Петрович учредил в ее честь Анненский орден, хотя этот орден был учрежден его дедом, герцогом Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским, в 1735 году, в память своей супруги Анны Петровны, дочери Петра Великого, а Павлом I лишь принят в день его коронования в число российских орденов.

Сплетне должен был быть положен конец, когда Анна Петровна сама рассказала о своей любви к Гагарину императору Павлу.

Гагарин находился тогда в действующей армии за границей, под начальством Суворова. Павел Петрович послал немедленно личное предписание, чтобы Гагарин был прислан курьером в Петербург при первом же счастливом событии. Суворову нетрудно было исполнить это. Победы следовали за победами. Одиннадцатого июля 1799 года Га-

гарин привез известие о двукратном поражении Макдональда на Требии. Он был щедро награжден, но лучшей наградой ему была любимая им и любящая его Анна.

Денис Иванович счастливо служил в Петербурге, и многие не понимали, каким образом он удержался там же, женившись не на Анне Лопухиной, а на Оплаксиной? И общий голос был — «дуракам счастье!».

Радович был вполне счастлив своею женою и даже тетушкой Анной Петровной, которая с годами стала путать еще больше «однодворца» с «вольтерьянцем» и была известна этим всему Петербургу.

Лидия Алексеевна осталась жить с Корницким в московском доме, по-прежнему полной хозяйкой всего имения, но недолго. Она умерла от припадка желчной колики, рассердившись, что ей была подана простокваша не по ее вкусу, недостаточно холодная.

Смерть ее была почти скоропостижная, так что когда приехал Денис Иванович, вызванный из Петербурга, он не застал ее.

Он не застал не только ее, но и московского своего дома, который сгорел, пока еще покойница лежала в гробу.

Вместе с нею, мертвой, сгорел заживо Зиновий Яковлевич Корницкий. В последнее время он жил под вечным страхом, что на него нападут и покончат с ним. Этот страх сделался у него как бы болезненным. Он сделал на свои окна железные ставни и запирал дверь несколькими болтами. Единственно, кого допускал он к себе — своего вольнонаемного кучера-татарина. Однако именно то, что, по его мнению, должно было спасти его, то есть болты и ставни, послужило ему погибелью. Когда вспыхнул дом, он второпях не мог отпереть дверь и задохнулся в дыму, а потом сгорел.

Василиса передала Денису Ивановичу спасенную от огня шкатулку Лидии Алексеевны, и там он нашел пожелтевшую от времени записку, написанную почерком Корницкого:

«Клянусь всемогущим Богом, что ни я, ни кто другой не причастен к смерти Ивана Степановича Радовича, умершего своею смертью, как указано в свидетельстве доктора».

Видно было, что Лидия Алексеевна тоже подозревала Корницкого, и он дал ей письменную клятву, что муж ее не был убит.

Прочтя эту записку, Денис Иванович перекрестился и проговорил:

— Слава Богу, мать моя не была убийцею!..

СОДЕРЖАНИЕ

Волконский М. Н.

В 68 Сочинения: В 4 т. Том 4. Мальтийская цепь. Гамлет XVIII века / Сост. Т. Ф. Прокопова.— М.: Пресса, 1992.— 336 с.

ISBN 5—253—00591—9

В заключительный том Сочинений М. Н. Волконского включены два романа. «Мальтийская цепь» повествует о приключениях рыцаря Мальтийского ордена, оказавшегося на военной службе в России. «Гамлет XVIII века» — история молодого человека, волей судьбы вовлеченного в дворцовые интриги и с честью вышедшего из этого испытания.

В $\frac{4702010101-2779}{080(02)-92}$ 2779—92 **84 Р 1**

Литературно-художественное издание

ВОЛКОНСКИЙ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Сочинения в четырех томах

Том IV

МАЛЬТИЙСКАЯ ЦЕПЬ
ГАМЛЕТ XVIII ВЕКА

Составитель
ПРОКОПОВ ТИМОФЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Редактор Е. М. КОСТРОВА

Художественный редактор И. С. ЗАХАРОВ
Технический редактор В. Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ
Младший редактор Э. Н. ПЛЫШЕВСКАЯ

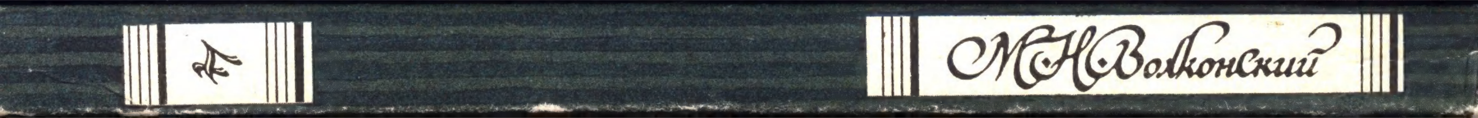
ИБ 2779

Сдано в набор 09.10.91. Подписано к печати 12.11.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага газетная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 18,06. Уч.-изд. л: 19,43:
Тираж 660 000 экз. (2-й завод: 220 001—440 000 экз.).
Заказ № 3210. Цена 10 руб.

Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 48. ул. Немировича-Данченко 104.


Исторический роман
в трех частях
Роман из времен
Павла I


М.Н. Волконский